1848 — 1925

К 75-летию революции 48 года

Сборник статей

Изд. „Красная новь“
Главполитпросвет
Москва
1925

Сергей Чехонин

1848—1923

К 75-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г.

СБОРНИК СТАТЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ НОВЬ“
ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТ. ◇ МОСКВА. ◇ 1923

СОДЕРЖАНИЕ.

И. СТЕПАНОВ

1848—1898—1923

I.

Буржуазия давно отреклась от своих, от буржуазных революций. 1848 год давно стал для нее не только «безумным», но и «бешеным» годом («das tolle Jahr»). Она давно «поумнела» и «перебесилась», она давно, с самого этого года, охватывается маразмом политической старости: ее взор потух, ее лицо стало дряблым и покрылось морщинами, едва лишь она вышла из своего юношеского возраста.

По случаю 50-летия 48 года сыновья либералов той революционной эпохи, вспомнив о ней, обрисовывали ее в выражениях, казалось, заимствованных из полицейских донесений о баррикадной борьбе в Вене или Берлине. Только «наемные личности», «подонки» общества и «отбросы всех наций» способны производить революции. «Народ» в своем здоровом ядре чужд и останется чуждым таким недопустимым, преступным, антиобщественным методам воздействия на политические отношения.

Знаменательно, что защиту буржуазной революции 48 года взяли на себя представители рабочего класса. Социал-демократы устраивали многочисленные собрания, посвященные той эпохе, вносили предложения о постановке памятника павшим революционным борцам, давали отпор искажениям и лжи, которыми буржуазия окружила то время.

Я не знаю, как теперь, четверть века спустя, отметит социал-демократия 75-летний юбилей 48 года. Что касается РКП и вообще Коммунистической партии, у нас есть все основания почтить память действительно революционных борцов той эпохи.

Конечно, революция 1848 года развернулась на низком уровне капиталистического развития всего мира, и в особенности тех стран, которые были непосредственно захвачены ею. Но не даром «революции — локомотивы истории». В наэлектризованной атмосфере быстро, в течение немногих недель, развертываются и обостряются те противоречия, на созревание которых в эволюционных условиях требуются многие годы, если не десятилетия.

Конечно, общественные классы и основные их взаимоотношения складываются в эволюционных процессах: революция не творит их, а только обнаруживает и вскрывает. Но вскрывает в процессе многократно ускоренного брожения, действенного противопоставления, острых столкновений, повышенной и повышающейся активности. А потому революции не просто вскрывают, но и обнажают анатомию общества. Всякое общество, охваченное революцией,—больной организм для тех революционных сил, которые приступают к нему, как хирург со своим скальпелем, и тем безжалостнее вскрывают пораженные болезнью места, что они хотят дать простор исцеляющему действию сил организма.

Конечно, революции в основном подводят итоги тому, что сделано будничной, повседневной работой экономических сил за предыдущие десятилетия. Но даже половинчатые революции обычно подводят эти итоги таким образом, что всегда получается нечто большее, нечто более широкое, обобщенное и нечто принципиально иное, чем простая сумма слагаемых, унаследованных от дореволюционной истории. Революция не только подводит итог, но и толкает вперед, она не только автоматический счетчик, но и творец новых данных.

Поэтому, с какой бы неустанностью ни работали молекулярные процессы в органические эпохи, периоды революции, насильственных взрывов, всегда будут представляться эпохами динамики и, как таковые, противопоставляются органическим эпохам, которые по контрасту с ними будут казаться эпохами статики.

Но кто сам наблюдал человеческое общество в его бурном движении, в его «скачке» из одной фазы развития в другую, или хотя бы только в неудавшейся попытке сделать скачок, того уже не обманет кажущаяся «органическая» неподвижность общества, хотя бы она приобретала затяжной характер и длилась десятилетиями. Он превосходно знает анатомию общества, потому что он наблюдал, как все его ткани вскрывались скальпелем революции, и сам участвовал в этом вскрытии. Но он видел организм и в его бурном движении. Поэтому его глаз критически изощрен. От него не скрывается, как в органические эпохи назревают условия резкого кризиса, скачка из одной фазы в другую. Он понимает, что сильные, упругие ткани, которые формируются в эволюционном процессе, делают неизбежным этот скачок: как лопается скорлупа, окружающая растущий росток или сформировавшегося цыпленка.

Маркс и Энгельс с небывалой глубиной постигли движение, динамику, диалектику капиталистического общества не только потому, что на плечах у них были гениальные головы, но и потому,

что они жили в эпоху, редкостно благоприятную для познания человеческой истории. На их глазах континентальное общество проделывало свое мучительное превращение из феодального в буржуазное. Великая французская революция подвела политические итоги предшествующей истории. Промышленная революция, развернувшаяся в Англии последней четверти XVIII столетия, стала захватывать континент только в XIX веке. Она создавала мощную опору для господства буржуазии, но она же создавала прочную опору и для сплочения и организации боевых сил рабочего класса. Еще не были разрешены противоречия феодализма и капитализма, еще ремесленно-цеховые формы судорожно цеплялись за жизнь, еще не изжиты были формы классовой борьбы, порожденные торгово-капиталистической эпохой, —а полуразрушенное и разложенное феодальное общество, которое было в то же время и капиталистическим обществом, хотя капиталистическим всего лишь в смутных, расплывчатых и ублюдочных сочетаниях, уже было чревато новыми классовыми противоречиями и новой классовой борьбой, которая прорывалась то в чартистском движении, то в лионском восстании, то в восстании силезских ткачей.

Еще недавно замолкли отзвуки буржуазной революции во Франции, грозовые тучи буржуазной же революции зловеще надвигались на остальной континент,—а уже чуткое ухо, изощренное опытами прошлых мощных столкновений общественных сил, ловило глухие подземные раскаты, которые возвещали эпоху, когда зарождающееся буржуазное общество, развившись, само превратится в такой же об'ект революционного отрицания, каким для него было феодальное общество.

«Коммунистический манифест», это—гениальный подсчет всей предшествующей истории человечества, выступившей с небывалой рельефностью в освещении революционными грозами. Но это—не только подсчет прошлого. Написанный накануне 1848 г., «Коммунистический манифест» с поразительной остротой учитывает условия надвигающейся борьбы. Мало неожиданного могла дать революция 48 года для Маркса и Энгельса. Вчитываясь в «Манифест», мы открываем, что уже в нем отчетливо выяснен тот сложный переплет классовых отношений, из которого неизбежно вытекали измены буржуазии и мелкой буржуазии и половинчатость, незавершенность революции.

Но тот же «Коммунистический манифест» уже ясно видел основную силу действительных, победоносных революций новой эпохи. Слова, которыми он заканчивается: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»!—это уже совсем не итоги прошлого, а программа будущего.

Тем не менее революции 48 года обогатили опыты Маркса и Энгельса. Они ясней увидали, что «мелкий буржуа делает то, что по-настоящему должен был бы делать промышленный буржуа; рабочий делает то, что по-настоящему должно было составлять задачу мелкого буржуа». Но они увидали и больше того: они убедились, что собственно буржуазные революции отошли в прошлое, что «пар, электричество и сельфакторы» ставят на очередь пролетарскую революцию,—потому-то буржуазные революции и сделались невозможными.

В 1856 г. Маркс писал: «Так называемые революции 1848 г. представляли всего лишь маленькие инциденты, ничтожные разрывы и трещины в твердой коре буржуазного общества. Но они вскрыли пропасть. Под твердой по видимости поверхностью обнаружился чудовищный океан, которому надо было только распространиться для того, чтобы целые континенты разнести вдребезги. Шумно и спутанно возвестили они освобождение пролетариата, т.-е. тайну XIX века и его революции».

Из признания этого факта, этой «тайны XIX века», раскрытой революциями 48 года, вытекала вся их дальнейшая тактика,— главные основы той тактики, которая вела к победам РКП, и которая поведет пролетариат всего мира к окончательному торжеству.

II.

Экономический кризис 1847 г., послуживший непосредственным толчком тому взрыву противоречий, который разразился в следующем году, был первым типичным промышленно-капиталистическим кризисом. Но он захватил не только Англию, которая уже сделалась современной капиталистической страной, но и Францию, которая была еще в начале своего промышленно-капиталистического развития. Однако не только во Франции почувствовались его отраженные волны, но и в таких совершенно отсталых странах, как Германия и в особенности Австрия или Италия.

Исходя из единого очага, из Англии, этого не только промышленного гегемона, но и самодержца для того времени, единый по своему источнику экономический кризис преломился в специфических отношениях каждой страны и выразился в различно окрашенных политических революциях.

В Англии в основных чертах уже были разрешены те объективные задачи, которые составляют содержание буржуазных революций. Буржуазные революции отошли для нее в прошлое. К 1848 году в ней сложилось положение, которое на континенте

Европы предстояло создать революциям: февральской во Франции мартовской в германских странах. Буржуазия получила вполне удовлетворявшую ее долю участия в политической власти. Она могла диктовать и уже продиктовала в виде свободы торговли— законы, которые были необходимы для расширения и величайшего размаха крупно-капиталистической промышленности. Поэтому промышленный кризис с величайшей остротой вскрыл в Англии лишь основное противоречие капиталистического общества, выражающееся в противоположности буржуазии и рабочего класса. При таких обстоятельствах, как превосходно выясняет тов. Ротштейн в своей статье, раскрывающей по первоисточникам страницу из истории, успешно вытравленную буржуазными историками, в Англии был возможен не «февраль» и не «март», а только «июнь» 1848 года: было возможно только восстание против капиталистического общества.

Но если революционное движение в Англии, порожденное промышленным кризисомъ, разразившимся въ 1847 году, с самого начала было пролетарским движением, то против него, как в июньские дни в Париже, разом мобилизовалось и выступило все буржуазное общество, и уже в первой половине апреля расправилось с «социалистической опасностью». Расправилось без такого пролития крови, как в Париже, сравнительно бесшумно, но не менее действительно, не менее прочно. И, расправившись с «социалистической опасностью» у себя дома, дало сигнал обще-европейской реакции. Французский июнь последовал за английским апрелем. Уже три четверти века тому назадъ Англия оказалась во главе капиталистической «Антанты» того времени,—не оформленной, но едва ли менее дееспособной, чем в настоящее время. Во всяком случае совершенно достаточной, принимая во внимание задачи того времени и в особенности тогдашнюю слабость рабочего класса.

Во Франции уже июльская (1830 г.) революция поставила буржуазию у власти,— но только небольшую часть буржуазии. Поэтому февральская революция глубоко отлична от остальных континентальныхъ революций. Она представляет сдвиг не от каких-либо до-буржуазных политических форм к буржуазным, а скорее лишь перемещение от господства одной фракции буржуазии к господству буржуазного класса. Июльская монархия превратилась в своего рода теплицу биржевой буржуазии и была разбита, как теплица биржевой буржуазии. В восстании против нее временно объединились не только пролетарии, которые еще смешивали биржевую буржуазию с буржуазией вообще, но и кре-

стьянство, мелкая буржуазия и широкие группы собственно буржуазии.

Февральская революция выводила к демократической республике, в которой буржуазия, как класс, осуществляет свое господство не менее действительно, чем в плутократической монархии,—но осуществляет таким образом, что устраняет наиболее провокационные поводы для политическихъ конфликтов между различными буржуазными группами, прикрывает формально одинаковыми правами и свободами цепи капиталистического рабства, придает капиталистическому господству такой вид, как будто оно является выражением «всенародной воли»—и тем успешнее при случае мобилизует «весь народ» для подавления рабочего класса.

Но уже такова судьба капиталистического общества, хотя бы еще столь мало развившегося, как тогдашнее французское общество: еще не улеглось возбуждение борьбы против второстепенной и подчиненной формы капитала, против биржевого капитала, какъ из-за нее уже выдвинулась,—правда, в смутных и затуманенных очертаниях,—борьба рабочего класса против капиталистического общества. Февральская революция, представлявшаяся делом «общенационального», «всеклассового» подъема, в котором на общей, «национальной» задаче объединились все классы, эта «красивая» революция быстро стала приобретать классовую определенность. Начались выступления и демонстрации, зазвучали лозунги, в которых находили себе выражение и развертывались особенные требования различных классов, разделенных противоположными интересами.

Хотя временное правительство, создавшееся в результате февральской революции, представляло блок различных партий, в той или иной мере участвовавших в борьбе против июльской монархии, однако решительный перевес и определяющая роль принадлежали буржуазии. И, как показал тов. М. Н. Покровский на основании архивных данных, раскрытых нашей революцией, это временное правительство с первых же дней своего существования начало деятельно готовиться к столкновению с рабочим классом. При этом у него разом нашелся общий язык с правительством Николая I. Стал налаживаться обще-европейский союз реакции против революции.

Учет опыта революций в Германии и в Австрии сыграл большую роль в старых тактических спорах между большевиками и социал-соглашателями. Последние рассуждали так: революция, перед которой стоит Россия,—буржуазная революция. Она должна устранить помехи капиталистическому развитию А если так, то

буржуазия заинтересована в успешности революции и является революционным классом. Поэтому основные задачи пролетариата сводятся к тому, чтобы толкать ее «влево» и «поддерживать» ее борьбу за разрешение объективных задач революции.

В германских странах борьба началась на крайне низком уровне. Все политические учреждения представляли варварский пережиток феодализма среди экономических отношений, которые рвались из неподатливых феодальных рамок. Буржуазия была исключительно объектом управления для классов и групп, совершенно слепых к требованиям капиталистического развития, неприкровенно враждебных новой промышленности, готовых во всякий момент искусственными мерами задавить поступательное движение новых экономических форм. Отсутствовали такие элементарные предпосылки для развития промышленного капитала, как объединение хозяйственной территории, которое в других странах осуществлялось еще в торгово-капиталистическую эпоху, когда сламывалась феодальная обособленность областей и уничтожались внутренние таможни. Строй деревенских отношений соединял в себе все самое гнусное, что только есть в расшатанном, разложенном, подточенном и изъеденном феодализме и в примитивных формах капиталистической эксплоатации. Феодальная оболочка превратилась в смирительную рубашку, которая связывала, стискивала и еще до рождения уродовала мучительно нарождающееся буржуазное общество. Феодальное общество насильственно поддерживалось в своем превращении в буржуазное общество. Где же еще могла бы с большею яркостью проявиться революционность буржуазии, если только она свойственна последней в эпохи кризисов феодального общества?

Однако и в германских странах либерализм сыграл роль могильщика едва развернувшейся, едва даже начавшейся революции. Как только феодально-полицейскому государству наносился первый удар, как только господствовавшие до того времени классы давали бумажные обещания уступок, ближайший характер которых оставался неопределенным, буржуазия охватывалась величайшей тревогой. Крушение феодального порядка рисовалось ей крушением всякого общественного порядка, т.-е. того порядка, который сохранил бы за эксплоататорскими «классами» эксплоататорское положение. Из-за борьбы против феодальной собственности для нее уже выдвигалась борьба против капиталистической собственности. Собственническим инстинктом она улавливала наступление нового революционного класса, своего классового врага, прежде чем этот враг успевал начать выдержанное, планомерное наступление,—и даже прежде чем он приходил в сознание полной особ-

ности своих классовых интересов. Буржуазия трепетала от страха при мысли, что своими силами не в состоянии укрепить свое господство и остановить буржуазную революцию на самой низшей, начальной ступени. Она поворачивала фронт против того самого народа, который только что сама же посылала на баррикады, и защищала прежних властителей от дальнейшихъ ударов. Буржуазия не просто заключала блок с феодализмом: она покаянно склоняла перед ним голову.

Тот «народ», который фактически был единственным революционным борцом в революциях 1848 года,—так как собственно буржуазия в решительные моменты опасливо сидела по домам, выжидая, «чем все это кончится»,—этот «народ» в своей массе не был пролетариатом в современном значении этого слова. Крупно-промышленный пролетариат—машиностроительные рабочие в Берлине, прядильщики, ткачи и машиностроительные рабочие из венских предместий,—могли составить лишь небольшую часть баррикадных борцов. Главные силы революционной армии составляли работники ремесла, подточенного, разрушенного и разложенного торговым капиталом и фактически представлявшего так называемую домашнюю систему капиталистической промышленности.

При своей относительной сплоченности, крупно-промышленные рабочие сыграли организующую роль в баррикадной борьбе. Но и здесь, и в особенности в дальнейших событиях революции на видное место выдвинулась также учащаяся молодежь, которая почти всей массой бросилась в движение: несомненнейший симптом, что борьба шла на низком уровне, стремилась к устранению грубейших помех поступательному движению общества, не успела вскрыть тех глубоких противоречий, которыми чреват всякий капитализм,—даже капитализм, еще заключенный в феодальной скорлупе.

В Лондоне в мартовские-апрельские дни учащаяся молодежь составляла единый фронт со всем «обществом» против рабочего класса.

В Париже в дни февраля студенты со «всем народом» сражались против монархии Орлеанов. В июльские дни они,—как массы русской учащейся молодежи в октябрьской революции 1917 года, — были в рядах тех,. кто беспощадно подавлял восстание рабов капитала.

В Германии и Австрии с их зародышевой крупной промышленностью, с колоссальным преобладанием ремесленных форм движение эксплоатируемых не успело обособиться до такой степени, как в Англии и во Франции. Конечно, буржуазия видела надвигающуюся красную .революцию уже в требовании некоторого уве-

личения заработной платы или в требовании общественных работ, хотя бы оно и не заострялось в принципиальную форму «права на труд», как в Париже. Но в действительности от предъявления частичных требований к капиталистам остается еще очень большой путь до отрицания всех эксплоататорских отношений.

В Берлине учащаяся молодежь сражалась на баррикадах в дни марта. Но и в следующие месяцы, ошеломленная, спутанная, бестолково мечущаяся из стороны в сторону, растерянная, как и подобает ее межеумочному классовому положению, она тем не менее в общем не позволила использовать себя против пролетариата. Студенты оказывали посильную помощь рабочим, когда они бастовали. Студенты, особенно некоторая их часть, выходили на демократические демонстрации. И охранная стража буржуазии,—гражданская или национальная гвардия,—видела главных врагов порядка одинаково в рабочих и учащейся молодежи и почти с одинаковой охотой выступала для усмирения тех и других.

В Вене участие учащейся молодежи в революционной борьбе было еще более энергичным и прочным. Возникший с первых дней революции «Академический легион» учащейся молодежи пользовался совершенно исключительным авторитетом в глазах не только мелкой буржуазии, но и рабочего класса. В некоторые моменты революции,—в мае, когда реакция, считая себя достаточно подготовленной, так как ей уже удалось приковать к себе буржуазию, решила перейти в наступление, и отчасти в октябре, когда она начала систематическое наступление,—на долю «Академического легиона» выпадала руководящая роль.

«Академический легион» в некоторых случаях становился на сторону рабочих,—но и рабочие в опасные для легиона моменты быстро вторгались из пригородов в Вену и своей революционной решительностью заставляли контр-революцию прекращать наступление. И, конечно, тем самым увеличивали тревоги буржуазии, которая видела, что реальная сила революции не ждет взмахов ее дирижерской палочки, а идет своими путями. Венский «Академический легион» по некоторым своим функциям напоминал наши советы рабочих депутатов в мартовские дни 1917 года: новый симптом, насколько не развернулось и вместе с тем внутренно не расслоилось революционное движение и на каком низком уровне, по сравнению с Лондоном и Парижем, шла борьба.

Если политическая близость учащейся молодежи к пролетариату увеличивала силы демократии, то она же замедляла классовое самоопределение пролетариата. Демократическое студенчество было мелко-буржуазным и по своему происхождению и по тому положе-

нию, какое оно занимало в обществе. В этом положении было много напоминающего русскую учащуюся молодежь последних десятилетий прошлого века: пролетарский быт, неприкрытая бедность,—но перед глазами многих носились уже перспективы благополучного буржуазного существования. И, действительно, целый ряд участников студенческого движения 40-х годов, даже некоторые из виднейших участников, впоследствие превратились в министров Габсбургов и Гогенцоллернов, в столпов того либерализма, под ферулой которого развертывалась самая бесшабашная спекуляция, процветала самая грязная продажность и шло самое бесцеременное расхищение общественных средств.

Но хотя бы и искренно-демократическое по своим порываниям, студенчество 40-х годов не могло внести в рабочее движение идейной ясности, так как ее не было и в его собственных головах. И хотя бы оно далеко еще не было ассимилировано буржуазией, однако уже тогда не могло избежать буржуазных влияний. Пусть оно отвергало и осмеивало излюбленную буржуазией лицемерную формулу: «через единство к свободе Германии»; пусть оно чувствовало, что без свободы и единство окажется обманчивым миражем. Это не мешало тому, что в своей национальной политике оно беспомощно плелось за буржуазией, и что, например, венские студенты добровольцами вступали в ту армию, которая должна была раздавить Италию, поднявшую восстание за национальное объединение и против чужеземного ига. Еще в ту эпоху, когда было бесконечно далеко до действительного разрешения немецкого национального вопроса, немцы умели соединять стремление к освобождению своей собственной национальности с грубым, беспощадным подавлением таких же стремлений в подчиненных им нациях. При своем первом широком размахе, национализм обнаружил тот же тупой, узкий, злобный, шовинистический характер, который он проявляет теперь, при окончательном развале буржуазного общества. Уже тогда национализм был всего лишь орудием в руках буржуазии, которым она пользовалась для того, чтобы, укрепившись внутри, расширить подчиненный ее эксплоатации материал далеко за национальные рамки. Итальянское, венгерское и польское национальное движение не успели в полной мере вскрыть это свое существо просто потому, что они быстро были раздавлены.

Уже революции 1848 года показали, что ни мадьяр, ни поляк, ни итальянец не может быть свободен, пока рабочий остается рабом.

Контр-революция съ большим искусством использовала ограниченность, эгоизм и близорукость национальных движений, а

также их жажду легальности, несмотря ни на что. Она сумела сплавить часть революционных элементов Вены на расправу с Италией, она предотвратила согласованность действий между революционными силами Австрии и Венгрии, она натравила славян на мадьяр, русин на поляков, она возродила армию и восстановила свою власть над нею в расправах с Прагой, в войне из-за Шлезвиг-Голштинии. Те самые национальные движения, которые при минимальном революционном контакте между собою могли бы взорвать и разрушить феодальное общество, в действительности дали контр-революции возможность оправиться, организоваться собраться с силами и затем враздробь бить революцию, направляя удары то в одну, то в другую сторону.

III.

Контр-революция без особого труда использовала для своих целей крестьянство.

Утопический социализм в своих построениях мало интересовался деревней в том виде, как она существовала. Правда, сельскохозяйственное производство с его низким органическим составом капитала играло значительную роль в его практических экспериментах. Но человеческий материал для них утописты почерпали в городе, среди тех же ремесленников, полуремесленников и пролетариев, из которых организовались производственные кооперативы. «Новый мир» строился в деревне, но не из крестьянства.

Не только социализм, но и мелко-буржуазная демократия Франции опиралась преимущественно на городские слои. Она,—«чистая» демократия, наивная в экономических вопросах, по своим воззрениям и по влиятельнейшим кадрам преобладающе интеллигентская, — еще меньше, чем утопический социализм, могла бы привлечь на свою сторону крестьянство, а своими действиями, напр., своей налоговой политикой, способна была только оттолкнуть его. Самая черная реакция, не опасаясь никаких помех, могла обрабатывать деревню, а вместе с тем превращать в свое послушное оружие и армию.

В Германии, Австрии, Венгрии, Польше крестьянство могло бы до известного пункта итти рука об руку с развертывающейся революцией, и оно, действительно, в течение некоторого времени было революционною силой. В городе помехи развитию не выступали с такой провокационной остротой, как в деревне, где они принимали вид самых возмутительных, самых наглых, самых грабительских феодальных повинностей и самого полного закаба-

ления крестьянина помещику, в руках которого были и необходимые условия производства, и суд, и полицейская власть.

Союз Коммунистов, руководимый Марксом и Энгельсом, отчетливо видел, какую роль должно сыграть крестьянство в начавшейся революции, и не менее ясно представлял себе, какие меры способны превратить его в союзника революции. В том наброске, который можно назвать первой программой Коммунистической партии и который был составлен уже в марте 1848 года (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Собрание сочинений. т. III. М. 1921, стр. 415—417 и 517—518), имеются такие пункты:

«6. Все феодальные повинности, все оброки, бенефиции, десятины и т. д., до сих пор тяготеющие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа.

«7. Имения государей и прочие феодальные имения, все рудники, копи и т. д. обращаются в собственность государства. На этих землях в интересах всего общества ведется хозяйство в крупном масштабе и при помощи наиболее современных вспомогательных средств, даваемых казной.

«8. Ипотеки на крестьянские земли объявляются государственной собственностью. Проценты по этим ипотекам крестьяне уплачивают государству.

«9. В тех областях, где развита аренда, земельная рента или арендная плата уплачивается государству в виде налога.

«Все эти меры, указанные под 6, 7, 8 и 9, проводятся с той целью, чтобы уменьшить общественные и прочие повинности крестьян и мелких арендаторов».

Программа не ограничивается уничтожением, без всякого выкупа, феодальных повинностей. Пункт 7 говорит об обращении в собственность государства не только «имений государей», но «и прочих феодальных имений». А пункт 9 заканчивается следующими строками: «собственно земельный собственник, не являющийся ни крестьянином, ни арендатором, не принимает никакого участия в производстве. Потому его потребление—просто злоупотребление».

Эти строки вместе с пунктами 7 и началом 9 дают вполне ясную «аграрную программу» того времени: национализацию крупного землевладения. Она формулирована в таких выражениях, что с самого начала отнимает у реакции возможность запугивать крестьян перспективой «дележа» или «обезземеления», которое будто бы несут с собою коммунисты.

Политический смысл этой программы ясен. Надо найти силы, которые уничтожили бы экономический базис реакции. Надо окон-

чательно выбить дворянство из деревни. А для этого надо уничтожить не только феодальные повинности, но и самое феодальную собственность, хотя бы она была уже в значительной степени ассимилирована и претворена капиталистическими отношениями, т.-е. надо уничтожить частную земельную собственность. Это для данной ступени развития наиболее надежная гарантия от реставрации старого строя и в то же время безусловно необходимая мѐра для устранения в деревне помех дальнейшему развитию общества. Крестьянство надолго останется боевым союзником в революции, которая ставит перед собою такие задачи.

Со времени 1848 года этот документ перепечатывали только в извлечениях, в которых отсутствовали некоторые характернейшие места. В немецкой печати он воспроизведен полностью только года четыре тому назад. Но большевистская партия уже в конце 1905 г. в газетных статьях товарища Ленина совершенно отчетливо формулировала такую же аграрную программу для развертывающейся российской рволюции, а на Стокгольмском Съезде (апрель 1906 г.) тов. Ленин развил ее в своем блестящем докладе. С того времени национализация земли сделалась программным пунктом большевиков. Какую колоссальную роль играл он в 1917 году, какую действенную революционную мощь обнаружил, на этом можно не останавливаться: еще у всех на памяти, что он отнял у буржуазии и у ее мелко-буржуазных союзников возможность опираться на армию и на деревню.

Только что упомянутая «программа» Союза Коммунистов и ее «аграрные» пункты оказались заветом будущему, а не действенной программой: в эпоху ее формулировки не было партии, не было пролетариата, сознательно сформировавшегося в самостоятельный класс, не было реальной силы, которая только и могла бы претворить революционную мысль в революционное дело.

В Венгрии и Польше носителем революции, получившей ярко выраженный национальный характер, было землевладельческое дворянство, которое при всем своем энтузиазме, порожденном отчаянной борьбой, никогда не отрицало в себе ни дворянина, ни помещика. Жажда «соглашения» с силами прошлого, жажда «легализма», т.-е. освящения нового порядка вещей «законно установленным правительством», много раз парализовала руку венгерских магнатов и в существенном осуждала их на пассивную оборону. В ограничении, в отречении от феодальных повинностей они не пошли—и по своему классовому существу не могли пойти—дальше того, что было безусловно необходимо для прекращения жакерии, которая,

развертываясь в тылу, с самого начала сделала бы невозможной даже пассивную самооборону венгерской революции.

Но помещики — как и буржуа—могут быть очень щедры за чужой счет, в особенности когда такая дешевая щедрость укрепляет их собственное положение. Они охотно содействуют освобождению крестьян в чужих землях,—с наибольшей охотой в тех случаях, когда это помогает им удержать эти земли в политическом подчинении себе. Таким образом то обстоятельство, что помещики шли во главе венгерской и польской революции, составляли его главную руководящую и организующую силу, открывало перед усмирителями широкий простор для самой беззастенчивой демагогии, которая сыграла свою роль уже в 1848 году, но наиболее пышным цветом расцвела 15 лет спустя, при восстании русской Польши. Реакция успешно использовала классовую—в сущности еще и сословно-окрашенную—ограниченность дворянских революций.

В Германии и Австрии слабые зародыши коммунистической партии, еще не связывавшейся с массами, были только в Рейнской провинции. Рабочий класс в своей революционной борьбе шел с мелко-буржуазной демократией, представляя ее крайнее левое крыло—наиболее решительное, единственное действительно революционное крыло. Но его революционная решительность выражалась более в энергии его выступлений, в постоянной готовности к бою, в преимущественном использовании внепарламентских методов, а не в революционной ясности и четкости его идей. Беспомощный в формулировке собственных требований, он был далек от такой всеохватывающей программы глубокого, радикального переворота, которая, обеспечивая прочную «смычку» революционных сил города и деревни, превращала бы крестьянство в одну из сил революции и во всяком случае лишила бы реакцию возможности обработать его в своих интересах.

Еще менее способна была на это мелко-буржуазная демократия. Ее политические лозунги последовательно отстаивались пролетарскими массами, а сама она быстро скатывалась к буржуазному либерализму. «Мелкий буржуа делал то, что по-настоящему должен был бы делать промышленный буржуа; рабочий делал то, что по-настоящему должно было бы составлять задачу мелкого буржуа».

«Чистая демократия» за политикой не видала классов, движущей силы всякой политики. Все классы она растворяла в едином внутреннем недиференцированном «народе» и упорно отмахивалась от всего, что «разделяет». Следовательно, она была абсолютно слепа к экономическим вопросам, если это не были «общенациональные вопросы», т.-е. если они ближайшим, непосредственным

образом не касались общих, элементарных политических и юридических предпосылок капиталистического развития страны.

Понятно, что такая мелко-буржуазная демократия не могла поставить с достаточной энергией и последовательностью даже вопрос об уничтожении самых грубых, грабительских, обнаженно-паразитических феодальных повинностей. За исключением немногих своих представителей, как, напр., Кудлих в Австрии, она спасовала даже в вопросе о выкупе и, страшась вынести борьбу за стены парламентов, в первую очередь руководилась стремлением поскорее выторговать у феодалов такие уступки, которые помогли бы «успокоить» крестьян и водворить в деревне «порядок». Этот результат был достигнут достаточно быстро, и «успокоенное», «удовлетворенное», обманутое и ограбленное крестьянство не просто ушло от революции: оно сделалось доступным для обработки контр-революцией,—его, одетого в солдатские мундиры, можно было смело повести на восстановление полного «порядка» в бунтующем городе. Связь между «освобождением» и революцией осталась темной для крестьянства. Реакция вновь превратила армию в свое послушное оружие.

Революции 1848 года остались половинчатыми революциями, потому что они были быстро раздавлены. А раздавила их деревня, потому что не было революционных партий, которые сумели бы прочно втянуть крестьянство в борьбу за развитие и завершение революции.

IV.

«С буржуазией» или «с революционным крестьянством» пойдет и должен итти пролетариат в революции?—вот основной вопрос, который уже в эпоху 1905 года провел глубокую пропасть между меньшевиками и большевистской партией,—эс-эры, чистые обыватели в политике, каждый раз увлекаемые приливами и особенно отливами революционных волн, неспособные теоретически обосновать ни одного положения, не шли в расчет в тактических спорах.

От ответа на основной вопрос зависело решение и других громадных вопросов: «с выкупом» или «без выкупа», «национализация» или «муниципализация», фактически оставляющая безграничный простор укреплению мелкой крестьянской собственности.

А за всеми этими вопросами начинал обрисовываться, сначала неясно схватываемый нами, глубокий вопрос, который в отчетливых очертаниях выступил только в 1917 году: просто ли «буржуазная революция», по образцу прошлых революций,—французской революции XVIII века и в особенности германской и австрийской ре-

волюций XIX века,—или же какая-то новая революция, революция двадцатого века: революция, не только освобождающая буржуазное общество от феодальной скорлупы, но и тут же непосредственно двигающая его за буржуазные рамки; революция, которая разом раскрывает «тайну» нашего времени, «освобождение пролетариата».

Сознательный, продуманный, ясный и полный ответ дал опять-таки товарищ Ленин в апреле 1917 года. Но в несколько смутных не вполне осознанных формах этот ответ чувствовался нами уже в эпоху революции 1905 года,—после ее поражения, может быть, даже сильнее, чем в период ее под'ема.

Уже почти 20 лет тому назад большевистская партия ясно сказала: не с буржуазией, которой всем ее классовым положением суждено быстро завязнуть в болоте «соглашения» с силами старого общества и которая потопит в этом болоте всех, кто пойдет за нею и с нею, а вместе с тем убьет революцию в самом зародыше, расслабит и усыпит ее парламентской болтовней в те моменты, когда вопросы решаются на улице, непосредственным столкновением и соизмерением сил, пушками и ружьями, прямой борьбой крестьянства за землю и против всякого выкупа, разложением армии, осуществляемым при посредстве социалистической поддержки и расширения крестьянских требований, вооруженным восстанием, успешность которого стоит в прямой связи с революционным разложением армии.

С точки зрения меньшевиков это была «анархистская» тактика, это были тяжелые тактические промахи, которые «запугивали», «отталкивали» буржуазию, «искусственно» и «преждевременно» бросали ее в объятия реакции, ослабляли революцию, вели к ее неизбежному поражению.

С точки зрения меньшевиков это был чистейшей воды анархизм, так как мы отпугивали от борьбы за власть буржуазию,—этот класс, который революция должна возвести к власти, и который, получив политическое господство, только и способен создать материальные предпосылки для дальнейшего движения общества.

Гегемония буржуазии в буржуазной революции—единственно возможной революции для России: такова была основная идея меньшевиков, не всегда откровенно ими высказываемая, но всегда, и в 1905 и в 1907 и следующих годах, направлявшая их действия.

А мы,—учитывая между прочим и опыт революций 1848 года, взвешенный, продуманный и объясненный в работах Маркса и Энгельса,—говорили, что, до какого бы минимализма ни опускался

рабочий класс, одно уже его напоминание о своем существовании приводило и будет приводить к тому, что не на второй, а в первый же день революции буржуазия предает и предаст революцию. Конституция для нее с самого начала—средство составить единый фронт с запуганными, пошедшими на маленькие уступки феодалами и привлечь все умеренные элементы к борьбе за остановку революции на самом низком уровне.

Мы говорили: «не запугивать буржуазию», это значит добиваться такого чуда, чтобы рабочий класс, своими жертвами и своей кровью расчищая арену для враждебного ему класса, с самого начала обнаружил невероятное самоотречение и отказался бы от мысли получить хотя некоторую свободу для развертывания своих собственных сил и хотя бы некоторую возможность укрепить свою собственную позицию.

Твердо ответив: не с буржуазией, а с революционным крестьянством, и сохранив неуклонную верность этому лозунгу, большевистская партия сделала возможной, сделала неизбежной ту широкую мобилизацию действительно революционных сил, которая довершила то, что осталось незавершенным, едва лишь начатым в революции 1905 года. Только эта революционная мобилизация, революционно связавшая город с деревней, пролетарскую борьбу против капиталиста с крестьянской борьбой против помещика, и могла ниспровергнуть трон Романовых.

Только гегемония пролетариата в российской революции и борьба за эту гегемонию, борьба за влияние на деревню, и сделала возможной все завоевания революции и ее превращение в революцию XX века.

Только большевистский ответ давал принципиальную возможность непосредственного продолжения и углубления революции, превращения ее в борьбу против капиталистической собственности, развития февральского переворота в октябрьскую революцию. РКП услыхала завет, заключающийся в относящемся к марту 1848 года наброске программы Союза Коммунистов. Услыхала и, найдя реальную опору в крупно-промышленном пролетариате, созданном новейшим капиталистическим развитием, выполнила этот завет.

На континенте Европы пролетариат вступил в революции 1848 года, как радикальнейший придаток, как крайний левый фланг мелко-буржуазной демократии. Он выделялся своим мужеством, решительностью, готовностью к самопожертвованию, но не своими воззрениями. Не произошло еще слияния социализма, который обособленно существовал в головах отдельных людей, составлявших маленькие группы и кружки, с массовым движением, которое шло

само по себе, от одного сурового урока к другому, медленно освобождаясь от иллюзий на мучительных уроках тяжелой борьбы.

Во Франции быстро назрел фактический разрыв между рабочим классом и всем буржуазным обществом, между рабочим движением и демократами, республиканцами и т. д. Июньские дни— Коммуна, в которой момент беспощадного подавления непосредственно, без всяких промежутков, наступил за моментом восстания,— кровью рабочих запечатлели этот разрыв. Но он остался более фактическим разрывом; он не был теоретически осмыслен и понят во всей глубокой его неизбежности. Поэтому он не помешал возникновению так называемой социалистической демократии, к которой мелко-буржуазные демократы, охваченные мимолетным раскаянием при виде результатов их подлых измен рабочему классу, сумели опять привлечь к себе часть пролетариата. Пролетарское движение опять не только переплелось, но в значительной мере и слилось с обще-национальным движением.

В германских странах не было июньского восстания, но это не помешало тому, что буржуазные партии с озлоблением страха и нечистой совести устраивали мелкие, но по своей показательности и вразумительности не менее красноречивые «июньские» расправы с пролетариатом, едва лишь он начинал шевелиться как класс со своими особенными интересами и требованиями. Повторилась, в особенности после июньских дней, которые послужили громким сигналом для решительного наступления обще-европейской реакции, все та же история: демократы не препятствовали, местами содействовали подавлению одной из главных боевых сил революции. А либерализм, скрутив при содействии демократов рабочий класс, принимался за демократию и вместе с феодалами делал новый шаг к восстановлению «порядка», который уже на этой ступени до подозрительности близко напоминал дореволюционный порядок. Но едва лишь укрепив феодалов своими изменами революции, либерализм в свою очередь становился объектом ударов реакции, которой таким образом доставалась окончательная победа благодаря изменам и предательству буржуазных партий.

Маркс и Энгельс сделали практические выводы из уроков 1848 года. В «Обращении Центрального Комитета к Союзу Коммунистов» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Собрание сочинений. Т. III. М. 1921, стр. 497 и сл.), написанном в марте 1848 года, говорится: «Вместо того, чтобы еще раз опуститься до роли хора, одобрительно рукоплескающего буржуазным демократам, рабочие, и прежде всего Союз, должны работать в том направлении, чтобы на ряду с офи-

циальными демократами создать самостоятельную тайную и открытую организацию рабочей партии».

В этом изумительном документе, с невероятной ясностью прозревающем условия новой революции, в которой пролетариат должен выступить, как самостоятельная классовая сила, уже совершенно прямо указано, что эта сила должна повести борьбу за власть и с самого начала должна создать органы власти. «Обращение» говорит: «Опьянение победой (которая возведет демократию к власти) и радость по поводу нового положения вещей, наступающие после всякой победоносной уличной борьбы, они (рабочие) вообще должны, насколько это возможно, сдерживать спокойным и хладнокровным пониманием событий и нескрываемым недоверием к новому правительству. На ряду с новыми официальными правительствами они должны учреждать собственные, революционные рабочие правительства, в виде ли правлений общин (т.-е. отделений партии. И. С.), общинных советов, в виде ли рабочих клубов и рабочих комитетов, так, чтобы буржуазно-демократические правительства не только немедленно утратили опору в рабочих, но и увидали бы себя с самого начала под наблюдением и угрозой властей, за которыми стоит вся масса рабочих».

Что это иное, если не наши советы рабочих депутатов, как органы власти, с такой твердостью выдвинутые тов. Лениным в апреле 1917 года—и еще раньше, в 1905 году, охарактеризованные им, как органы борьбы за власть?

«Но,—продолжает то же Обращение,—чтобы можно было энергично и угрожающе выступить против этой (буржуазно-демократической) партии, которая начнет предавать рабочих с первого же часа победы, они должны быть вооружены и организованы. Вооружение всего пролетариата ружьями, винтовками, орудиями и аммуницией должно быть проведено немедленно; надо противодействовать возрождению старого гражданского ополчения, направленного против рабочих. Но там, где осуществление этого окажется невозможным, рабочие должны сделать попытку организоваться в виде самостоятельной пролетарской гвардии, с ими же избранным командиром и генеральным штабом, и поступить в распоряжение не государственной власти, а созданных рабочими революционных общинных советов. Там, где рабочие работают за счет государства, они должны добиться вооружения и организации в отдельный корпус с избранными ими командирами или же организации в виде части пролетарской гвардии. Оружие и боевые припасы ни под каким предлогом не должны сдаваться,

всякая попытка разоружения должна быть в случае необходимости расстроена силой».

Здесь гениально предугадана вся борьба, как она должна развернуться при развитии и для развития революции, с гениальной ясностью обрисована и наша борьба в течение 1917 года с российской мелко-буржуазной демократией, воплотившейся в меньшевиках и эс-эрах.

В настоящие дни, в дни 25-летнего юбилея нашей партии, нельзя без глубокого волнения читать эти строки.

Да, РКП сделала то, что должна была сделать революционная рабочая партия.

В том же 1850 году, когда появилось «Обращение», Маркс написал «Борьбу классов во Франции 1848—1850 года», тоже представляющую учет уроков половинчатой, незавершившейся революции, закончившейся в самом начале. Здесь он пришел к выводу, что глубокая, действительная революция возможна лишь в том случае, когда «современный революционный класс (т.-е. для современности единственный носитель действительно глубокого переворота), промышленный пролетариат, властно выдвигается в ней на первый план».

Задачи пролетариата, который порывает с мелко-буржуазной демократией, перестает быть ее придатком, каковым он фактически был в революциях 1848 года, а властно выдвигается на первый план,—уже не демократические задачи. «Понесенное пролетариатом поражение впервые убедило его в той истине, что даже самое ничтожное улучшение его положения в рамках буржуазной республики (речь в цитируемой работе ближайшим образом идет о французском пролетариате, но вывод имеет общий характер, нисколько не ослабляемый, напр. монархической формою германских государств. Н. С.) остается утопией,—утопией, которая превращается в преступление при первой же попытке претвориться в действительность. На место его высокопарных по форме, но мелких и все еще буржуазных по содержанию требований, к удовлетворению которых он хотел принудить февральскую республику, выступает смелый революционный боевой пароль: Низвержение буржуазии! Диктатура рабочего класса!»

И, как Центральный Комитет призывал рабочий класс Германии к организации в самостоятельную партию, так, казалось Марксу—в этом он ошибался,—рабочий класс Франции уже объединяется в партию «революционного социализма, коммунизма». Последний же характеризуется у Маркса в следующих строках: «Этот социализм есть провозглашение непрерывной революции, классовая диктатура революции, классовая дик-

татура пролетариата, как необходимый переходный пункт к уничтожению классовых различий вообще, к уничтожению всех производственных отношений, на которых основаны эти различия, к уничтожению всех общественных связей, соответствующих этим производственным отношениям, к перевороту во всем мире идей, возникающих из этих общественных отношений».

Но хотя Маркс—как и Энгельс—ошибался в учете времени, отделяющего от новой, от действительной революции, в которой борьба пойдет за диктатуру пролетариата, он мужественно смотрел в глаза действительности и не скрывал от себя, в какой грандиозной и длительной борьбе эта революция найдет свое завершение. Он писал: «Теперешнее поколение похоже на евреев, ведомых Моисеем через пустыню. Оно не только должно завоевать новый мир: оно должно сойти со сцены, чтобы дать место людям, достаточно выросшим для нового мира» («Собрание сочинений», т. III. М. 1921).

Только что приведенные выписки дают в своей совокупности основные черты научного коммунизма, представляющего слияние, сращение революционной теории с рабочим движением в революционной партии рабочего класса.

Но еще долго пришлось ждать того времени, когда это сращение произошло на практике. Капитализм еще должен был произвести громадную подготовительную работу, должен был сплотить многомиллионные массы рабочего класса, должен был глубже отмежевать их от остальных классов. И много еще иллюзий должен был изжить сформировавшийся и выросший в численно громадную силу пролетариат, долго, долго должен был блуждать по пустыням, пока не пришел к пределам обетованной земли, от которых его отводила и собственная слепота, и ловкость его классовых противников. Много времени прошло и с той поры, когда он сказал, что хочет организоваться в свою собственную революционную партию, и до той поры, когда эта партия стала действительно самостоятельной, а вместе с тем действительно революционной партией рабочего класса. Еще долго буржуазия и мелкая буржуазия умели— да и теперь умеют—вести его на поводу за собой и отклонять от путей, ведущих к освобождению.

Да, умели вести и теперь еще ведут за собой рабочий класс через его социал-демократию и его профсоюзы: при посредстве лидеров этих организаций, искалеченных, развращенных, подкупленных и ослепленных буржуазным обществом и его идолами «всеклассовых задач» и «общенациональных интересов».

Формально и по имени самостоятельные, рабочие организации

фактически впрягаются в колесницу капитализма и вместо того, чтобы разбить ее вдребезги, заставляют рабочий класс изнемогать в муках, гибнуть под ее колесами, истекать кровью для того, чтобы вытащить ее из трясины, в которой она безнадежно засела и утопает все глубже, угрожая погубить с собою и тех, кто к ней прикован цепями.

Для Шейдеманов, Носке, Турати, Гомперсов, Макдональдов и как еще они там называются, не существует заветов революций 1848 года и ее кровавого опыта, купленного тысячами жертв. Они забыли тягостную расплату, которую европейское человечество десятилетия несло после того за половинчатость, недоделанность революций, убитых изменами и предательствами буржуазных и мелкобуржуазных партий.

Действуя в совершенно иной исторической обстановке, выдвинутые рабочим классом, выступая от его имени, эти вожаки на наших глазах повторяют историю презренной памяти соглашателей 1848 года, либеральных и демократических.

Верные клевреты буржуазии, они бросили рабочий класс в кошмарную бойню за буржуазные интересы.

А когда рабочий класс начал раскрывать глаза, лакеи буржуазии отвели готовившиеся для нее удары.

Во что бы то ни стало, ценой неописуемых страданий рабочего класса, ценой глубочайшей и всесторонней разрухи, они, точная копия политиков 1848 года, опять и опять «соглашают» пролетарские интересы с буржуазными интересами: опять и опять предают и продают рабочий класс.

Во многих странах: в Грузии, Латвии, Финляндии, Польше, Венгрии, Австрии, Италии, Германии, они уже приложили свою руку к восстановлению буржуазного порядка, к подавлению пролетарских восстаний, к беспощадным расправам с передовым революционным отрядом рабочего класса.

Они уже руководили многочисленными карательными экспедициями и заговорами, которые должны были раздавить Россию, страну пролетарской диктатуры, очаг развертывающейся мировой революции.

Везде и повсюду, и в особенности в странах, передовых по своему капиталистическому развитию, в решающих странах современного мира, буржуазный порядок держится, буржуазия еще восседает на троне единственно милостию социал-соглашателей: как соглашатели же 1848 года спасли тогдашние троны от народного натиска.

И награду современные соглашатели получили такую же, как их политические предки три четверти столетия тому назад: они

были отставлены, им дали презрительного пинка, как только миновала опасность, как только они выполнили свое единственное предназначение в глазах буржуазии, придя к ней на помощь в час смертной опасности.

Но с их банкротством революция не кончилась: с их банкротством она начинается.

Не на такой зачаточной стадии стоит современно-капиталистическое развитие, как оно было в 1848 году.

И не такой слабый организационный центр, каким фактически был Союз Коммунистов, небольшой пропагандистский кружок, имеет пролетарская революция в настоящее время.

В немногие годы борьбы РКП превратилась в мощную, внутренно сплоченную, целостную организацию, и по мере того, как везде и повсюду происходит крах соглашательских партий, во всех капиталистических странах крепнут, сплачиваются и растут братские партии.

Крах соглашателей, обрекающих рабочий класс на бессилие, пока он следовал за соглашательскими вождями, превращает пролетариат в грозную силу, когда он становится в боевые ряды Коммунистического Интернационала.

Буржуазии уже не удастся раздавить пролетарскую революцию деревенскими силами. Чем сильнее охватывается капиталистический мир конвульсиями, чем с большею жаждою он ищет крови, которая помогла бы ему продлить свое существование вампира, тем больше отсталые страны земного шара, страны «деревенской культуры», толкаются к боевому союзу с пролетариатом против чудовища, угрожающего весь мир увлечь за собою к общей гибели.

РКП с удовлетворением может оглянуться на пройденные ею четвертьвековой путь революционной борьбы. Она с самого начала осуществила слияние научного коммунизма, обобщенного выражения пролетарской борьбы, с развивающимся рабочим движением, которое таким образом быстро превратилось в научно-направляемое и организуемое движение. Она, во-время отбросив меньшевиков, мелко-буржуазных временных попутчиков рабочего класса уверенно руководила рабочим классом в борьбе против пережитков феодальной эпохи и сумела объединить его революционные интересы с революционными крестьянскими интересами. Она без шатаний и колебаний повела его от февраля 1917 года, который представлял завершенную буржуазную революцию, к октябрю семнадцатого года, который был уже вступлением в «обетованную землю» рабочего класса. И в этой борьбе и в ее продолжении она сумела соединить революционное дело пролетариата с революционным делом крестьянства. И следом

затем она сделалась тем камнем, который лежит в основании Коммунистического Интернационала, развертывающего ту же борьбу во всем мире.

Но мы должны помнить: великое преимущество РКП в том, что она, по всем условиям общественно-экономического развития России, поздно явилась на свет, и явилась в стране, в которой капитализм еще не успел подчинить себе всех отношений, но в которой он с самого начала возникал в новейших крупно-промышленных формах.

Великое преимущество РКП в том, что ей не пришлось блуждать, не пришлось биться в долгих поисках истинного пути, не пришлось проделывать многих ошибок, так как многое было уже проделано в других странах, на более низком уровне в развитии капитализма и пролетариата.

Ее великое преимущество в том, что время для ее деятельности наступило после революций 1848 года, после Парижской Коммуны 1871 года,—и после гениального учета этих неудавшихся революций.

Нашим быстрым ростом, нашими успехами, нашими победами мы в огромной мере обязаны тому, что сотни и тысячи самоотверженных борцов легли на баррикадах Парижа, Лиона, Неаполя, Рима, Берлина и Вены.

Вечная память славным борцам!

Коммунистический Интернационал—достойный памятник им, великое свидетельство о том, что в революционной борьбе рабочего класса ничто не гибнет бесследно, ничто не преходит, что в нем даже поражение превращается в источник грядущих побед.

Ю. СТЕКЛОВ

РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА ВО ФРАНЦИИ

Революция 1848 г. была явлением общеевропейского характера. Да и вызвана она была—в смысле последнего толчка—явлением тоже общеевропейского, чтобы не сказать, общемирового характера, а именно экономическим кризисом 1847 года. Началась она в Италии, но приняла общеевропейский характер только после того, как разразилась революция в Париже. В те времена Париж был законодателем революционной моды не только для Франции, но и для всей Европы. Успех парижской революции дал толчок к революции в других европейских государствах (кроме, впрочем, крепостной России, о границы которой разбился революционный вал). Поражение революции в Париже послужило сигналом к началу общеевропейской реакции.

Мы не намерены здесь подробно рассказывать про все перипетии столь сложного исторического явления, как революция 1848 г. во Франции. Нам придется остановиться только на самых существенных и основных ее моментах, придающих ей ее специфический характер и выясняющих ее значение в общем процессе исторического развития современного общества. Подробности читатель, интересующийся этим вопросом, найдет в многочисленных работах, посвященных этой революции. Список главных из этих сочинений имеется в приложении к моей брошюре «Революция 1848 года во Франции», четвертое издание которой выпускается на-днях Госиздатом.

I.

Последнею чисто буржуазною революциею во Франции была июльская революция 1830 года. В «славные дни» 27 и 29 июля был положен конец легитимной монархии Бурбонов, этому осколку «Священного Союза», пытавшемуся восстановить во Франции монархию «божиею милостью». Июльская революция произошла по замыслу и под руководством нескольких кружков богатых либеральных капиталистов. Рабочие же сыграли в ней только роль бессознательной физической силы. Француз-

ский пролетариат находился тогда еще на той ступени развития, на которой, по словам «Манифеста Коммунистической Партии», его объединение является лишь следствием объединения буржуазии, которая, для достижения своих собственных политических целей, вынуждена и пока еще в состоянии приводить в движение пролетариат,—словом, на той ступени, на какой пролетарий поражает не своих врагов, а врагов своих врагов, т.-е. абсолютную монархию и господство помещиков.

Парижские рабочие совместно с учащейся молодежью и частью мелкой парижской буржуазии разбили королевские войска, но не сумели воспользоваться победой в своих интересах и даже мало думали о таком использовании своей победы. Таким образом их победа оказалась победой буржуазии. Представителям последней, Тьеру и Лафайету, нетрудно было убедить победоносный народ не провозглашать республики, имевшей в то время мало сторонников, а признать королем герцога Орлеанского, выходца из либеральной ветви династии, примкнувшей к новой Франции еще во времена первой революции. Таким образом возникла июльская монархия, иначе называемая «мещанской монархией».

Во Франции воцарилось господство буржуазного парламентаризма. Избирательный ценз понижен был с 300 франков прямых налогов до 200, число избирателей увеличилось со 100 тысяч до 250 тысяч, но масса населения — крестьяне, рабочие и мелкая буржуазия — попрежнему лишена была избирательных прав. Восстановлена была национальная гвардия, уничтоженная в 1827 году. В состав ее входили представители мелкой и средней буржуазии, а высшие офицеры назначались королем. Это была охранная гвардия мещанской монархии, грудью отстаивавшая ее от покушений республиканцев и от выступлений рабочих.

В первые годы царствования Луи Филиппа Франция не могла притти в состояние политического равновесия. Произошел ряд республиканских восстаний, организованных тайными обществами, в которых руководящую роль играла партия «бланкистов». Последнее из этих восстаний имело место 12 мая 1839 года под руководством Бланки и Барбеса. С его подавлением июльская монархия могла считать себя окончательно упроченной.

Но это была ошибка. На самом деле с этого момента в глубинах народной жизни начинает назревать движение, которое через несколько лет привело к революции.

Июльская монархия была эпохой господства крупного финансового капитала. Хозяйничанье финансо-

вых клик бросило в оппозицию не только рабочий класс и разоряемую мелкую буржуазию, но даже промышленную крупную буржуазию, обделенную экономически и политически. Эта группа оппозиционной буржуазии составила так называемую «династическую оппозицию», руководимую Одилоном Барро, и «левый центр», руководимый Тьером. Требования этой группы не шли, впрочем, дальше некоторых частичных реформ, которые должны были явиться уступками общественному мнению и помешать переходу мелкой и средней буржуазии в революционный лагерь. Более серьезный характер среди буржуазной оппозиции играла группа умеренных республиканцев, органом которой была газета «Насиональ», выходившая под редакцией Армана Марра. Эта группа впоследствии получила название «трехцветных» республиканцев, т.-е. сторонников трехцветного национального знамени в отличие от «красных», т.-е. социалистов, сторонников красного знамени. Состоя из представителей средней и частью крупной торгово-промышленной буржуазии, она готова была итти вплоть до требования всеобщего избирательного права, но с нескрываемой враждой относилась к классовым требованиям пролетариата, а в особенности к коммунистам. Еще левее стояла группа демократических республиканцев, органом которых была газета «Реформа», а вождем Ледрю-Роллен. Эта группа представляла интересы мелкой буржуазии и готова была итти на соглашение с рабочим классом, хотя и решительно отвергала коммунистические тенденции. Партия демократических республиканцев была живым носителем буржуазно-демократических иллюзий, еще не изжитых и большинством рабочего класса. Она высказывалась за народоправство («народное самодержавие»), за введение всеобщего избирательного права, за широкие реформы в пользу низших классов и т. п. Самым крайним крылом оппозиции были революционные коммунисты, во главе которых стояли различные тайные общества, руководимые по преимуществу бланкистами.

За коммунистами шел только авангард рабочего класса. Широкие массы рабочих, хотя и были настроены революционно, но не обладали достаточно развитым классовым сознанием и находились еще под властью буржуазно-демократических иллюзий. Они верили в революционное значение всеобщего избирательного права, они увлекались республикой, как политической формой, которая должна принести им освобождение от экономической эксплоатации. Они стояли за «организацию труда» и за «право на труд», которые, по их мнению, могли

быть осуществлены в рамках буржуазной республики. Но если рабочий класс в целом не пришел еще к полному сознанию своего особого положения и своих специфических задач, тем не менее между трудом и капиталом уже началась борьба, носившая чисто социальный характер. В этом отношении характерны были два лионских восстания в 1831 и 1834 годах. Во время первого восстания лионские рабочие выставили знаменитый лозунг: «жить работая, или умереть в бою», и выкинули черное знамя инсуррекции. Это было первое крупное историческое проявление классовой борьбы современного общества, борьбы между буржуазией и пролетариатом. Восстание было подавлено, но уже позволяло судить о тех грозных конфликтах, которые нес с собою XIX век с его развитием промышленности и капитализма. Оно произвело сильнейшее впечатление на современников, понявших, что на историческую сцену выступает новая общественная сила, которая должна придать невиданный доныне характер политической борьбе.

Последние годы июльской монархии были эпохой глубокого брожения в рядах французского и особенно парижского пролетариата. В тайных обществах буржуазная молодежь все больше вытеснялась рабочими, так что под конец эти общества приняли чисто пролетарский характер и начали выдвигать коммунистическую программу. Хотя и смутно, рабочие начали стремиться к такому перевороту, при котором труд освободился бы от эксплоатации капитала. Они выставили лозунг республики «демократической и социальной», т.-е. такой республики, которая осуществила бы классовые интересы пролетариата. Они начали требовать «права на труд», т.-е. признания того, что государство обязано доставить работу всем, кто желает трудиться. В противоположность буржуазному принципу свободной конкуренции рабочие выдвинули принципы «ассоциации» (товарищества) и «организации труда», при которых производство было бы построено по известному плану в общих интересах. Эти смутно бродившие в рабочих массах стремления сумел удачно выразить молодой журналист Луи Блан в своей брошюре «Организация труда», вышедшей в 1839 году и доставившей ее автору широкую популярность.

На растущую оппозицию широких рабочих и буржуазных масс правительство Луи Филиппа ответило усилением репрессий. Оно не только ничего не хотело слышать о всеобщем избирательном праве, но и решительно отвергло всякие предложения, направленные к какому бы то ни было понижению избирательного ценза. Оно решило опереться на «легальную страну», т.-е. ничтожную кучку бо-

гатых людей (240 тысяч человек), пользовавшихся избирательными правами. Разгул правящей клики достиг необычайных размеров. Подкуп, в том числе и избирателаный, стяжание, нажива, спекуляция проникли во все поры господствующих классов. Продажность охватила министров, депутатов, избирателей и т. д. Все правительство превратилось в акционерную компанию, в комитет для устройства дел кучки финансистов, банкиров, денежных и железнодорожных тузов. «Обогащайтесь!»—таков был лозунг этой своекорыстной компании, возбуждавшей негодование подавляющего большинства французского общества. Министр Гизо, который был воплощением этой политики, снискал горячую ненависть всех классов, начиная от рабочих и кончая крупными фабрикантами. К несчастью для мещанской монархии, мелкая буржуазия, которая вначале была ее верной защитницей, мало-по-малу тоже начала отходить от нее и проникаться оппозиционным настроением После того как в сороковых годах из рядов национальной гвардии при проезде короля раздались крики: «долой Гизо!», Луи Филипп уже не устраивал ей парадов и одновременно усилил состав парижского гарнизона. Но и в солдатскую среду начали проникать революционные настроения.

Боевым лозунгом оппозиции была **избирательная реформа**. В виду отказа правительства пойти в этой области на какие-либо уступки оппозиция решилась привести в движение массы для того, чтобы оказать давление на министерство и послушный ему парламент. Средством для воздействия на общественное мнение избрано было устроение политических **банкетов**, первый из которых состоялся 9 июля 1847 года в Париже. На открытии последней сессии парламента июльской монархии король в тронной речи решительно высказался против избирательной реформы. А когда оппозиция захотела снова обратиться к массе, то префект полиции запретил устройство банкета, который предполагалось организовать в Париже 19 января 1848 года.

Банкет был отложен на 22-е февраля. Устроители пригласили национальных гвардейцев явиться в мундирах к церкви Мадлен, куда должны были притти также студенты и рабочие, чтобы составить кортеж оппозиционным депутатам, отправлявшимся на банкет. Учащаяся молодежь, возмущенная репрессиями правительства по отношению к университету, снова начала волноваться и высказываться за крайние меры. Из департаментов приходили адреса, подстрекавшие оппозицию к решительному сопротивлению правительственному произволу. Но когда правительство запретило банкет и манифестацию под угрозой применения вооруженной силы, то испу

гавшиеся оппозиционные депутаты постановили отказаться от затеянного предприятия. Правительство торжествовало.

Но все эти господа, игравшие в парламентскую оппозицию, забыли о парижских рабочих. Они не хотели допускать рабочих на свои банкеты, опасаясь их не меньше, чем правительства. Они наивно думали, что буржуазия может попрежнему приводить рабочих в движение, когда это ей угодно, и останавливать их по своему произволу. Но рабочий класс шел уже гораздо дальше, чем думали об этом представители династической оппозиции и даже трехцветные республиканцы. Взволнованные шумом банкетной кампании, рабочие не захотели остановиться на полдороге. Развернутый правительством военно-полицейский аппарат их не устрашал, ибо они помнили, как они не раз до этого разбивали эти вооруженные силы. Тайные общества, работавшие в их среде, толкали их на решительное выступление. Требования пролетариата шли гораздо дальше учреждения буржуазной республики и введения всеобщего избирательного права. Хотя и в смутной форме, рабочие стремились к установлению такого общественного строя, при котором трудящиеся не были бы обречены на рабство, на безработицу и на голодовку, свирепствовавшие в их среде последние два года и вызывавшие даже голодные бунты, заканчивавшиеся смертными казнями. И когда буржуазия готова была малодушно отказаться от ею же начатого дела, пролетариат в союзе с крайней частью буржуазной демократии в лице учащейся молодежи собственными силами повел его дальше.

II.

22 февраля рабочие не пошли на работу. С семи часов утра бульвары, площадь Согласия (перед зданием парламента) и площадь Мадлен, где назначен был сбор, покрываются толпою, пока еще нерешительною. По присоединении колонны студентов толпа направляется к Бурбонскому дворцу, где заседала палата депутатов. Драгунский полк, охранявший палату, при виде толпы вкладывает сабли в ножны и этим показывает, что гарнизон тоже заражен крамольным духом. Оттиснутая от здания парламента отрядом муниципальной гвардии (жандармерии), толпа расходится и начинает громить ружейные магазины. В городе появляются баррикады, правда, вначале не защищаемые толпой. Начинаются нападения на отдельные посты и патрули. Национальная гвардия не обнаруживает охоты защищать правительство, напротив, из ее рядов раздаются крики: «да здравствует реформа!» Национальные гвардейцы

становятся между толпой и правительственными войсками, мешая последним пускать в ход оружие. *Явное сочувствие мелкой буржуазии революционному движению вносит смуту в ряды сторонников правительства и солдат.* Рабочие братаются с солдатами.

Правительство, испуганное ростом движения, готово идти на уступки. Возникают проекты создания вместо министерства Гизо, ненавистного для всех, нового кабинета под председательством то Моле, то Одилона Барро. Но вечером у здания министерства иностранных дел на бульваре Капуцинов происходит столкновение между толпой демонстрантов и караульной ротой, стреляющей в толпу. С этого момента начинается настоящее восстание. Восточные предместья города, где сосредоточена главная часть пролетарского населения, покрываются баррикадами. *Движение приобретает чисто республиканский характер.* Войска в большинстве случаев отказываются от сопротивления мятежу. Король принужден бежать. Еще раньше бежит Гизо, переодетый в женское платье. Попытка сохранить монархию путем передачи престола малолетнему внуку короля с назначением его матери, герцогини Орлеанской, регентшей не удается. Королевский дворец взят приступом; королевский трон сожжен. Рабочие упоены своей победой.

Но торжество рабочих преждевременно. Хотя и в несколько измененной обстановке, февральская революция, совершенная в значительной степени рабочими, снова грозит выродиться в движение, в котором буржуазия использует пролетариат как орудие для ее собственных классовых целей. Противодействовать такому результату можно было бы только при двух условиях. Необходимо было, во-первых, чтобы более или менее широкие массы рабочего класса вполне сознательно отделяли свои задачи от задач буржуазии, имели свою определенную программу действий, а во-вторых, чтобы они были организованы, чтобы во главе их стояла своя собственная рабочая политическая партия, способная руководить движением масс и направлять их к определенной политической цели. *Оба эти условия отсутствовали в момент февральской революции.*

Более или менее ясное сознание непримиримой противоположности между интересами пролетариата и буржуазии присуще было только немногочисленному рабочему авангарду. *Широкая же масса далеко еще не освободилась от демократических иллюзий.* Она придавала огромное значение формальной демократии, республике, всеобщему избирательному праву, учредительному собранию; она верила еще в старинные буржуазные фе-

тиши «свободы, равенства и братства». Правда, она вносила поправки в старые демократические формулы, требуя республики не просто демократической, но и «социальной». Правда, она добивалась торжества принципа «ассоциации» перед принципом свободной конкуренции, мечтала о «праве на труд» и т. п. Но широкие массы не отдавали себе отчета в том, что для осуществления этих требований необходимо предварительное завоевание политической власти пролетариатом, необходима политическая и экономическая экспроприация буржуазии. Рабочий класс считал тогда возможным свое сотрудничество с буржуазией в деле управления государством, более того, он даже добивался этого сотрудничества, признавая допущение представителя пролетариата в состав правительства крупным завоеванием рабочего класса. Как мы увидим, победоносные рабочие навязали буржуазии участие двух социалистов во Временном Правительстве. Один из них был журналист Луи Блан, а другой — подлинный рабочий Альбер (Мартэн), член тайных обществ, который работал в мастерской, когда ему пришли сказать, что он избран в члены Временного Правительства. И хотя рабочим впоследствии пришлось за свое временное торжество заплатить дорогой ценой, хотя вхождение первого рабочего в состав правительства принесло пролетариату в конечном счете только громадный вред, тем не менее факт вступления первого рабочего в состав правительства имел несомненно историческое значение, поскольку он был признанием всей серьезности социального вопроса и вместе с тем признанием силы, уже достигнутой пролетариатом даже на первых ступенях своего развития.

Еще хуже обстояло дело с вопросом о рабочей организации. Немногочисленные тайные общества не могли руководить рабочей массой в процессе революции. Они не могли заменить собой партию, построенную на програмном единомыслии и революционной дисциплине. Отдельные тайные общества и члены их держались самых различных политических взглядов, действовали, вразброд, зачастую вступали во взаимную борьбу и соперничали друг с другом. Так, например, Барбес, человек с крайне путаными взглядами, далеко не оторвавшийся вполне от буржуазии, выступал против Бланки, который был тогда самой светлой головой в революционном движении, одним из немногих, понимавших происходившие перед ним события, но бессильным провести свою точку зрения в виду отсутствия передаточного аппарата между руководящим штабом и массами в лице партии. Пришлось в разгар революции наспех формировать суррогат партии в лице клубов. Но, разумеется, клубы так же мало могли заменить партию, как и тайные общества.

В результате рабочий класс во время февральской революции действовал стихийно, без общей цели, без планомерного руководства и неизбежно шел навстречу поражению.

Это обнаружилось с первого же момента. Пока народ сражался на баррикадах, за его спиной уже начались интриги и споры о дележе добычи. Не рабочая партия, а редакции «Насионаля» и «Реформы» составили список Временного Правительства. Это означало, что революционное правительство было составлено буржуазными партиями. В этот список вошли представители различных буржуазных политических тенденций. Крупная буржуазия была представлена там Гарнье Пажесом, Мари, Кремье и Дюпоном; средняя — Марра, Ламартином и Ф. Араго; мелкая — Ледрю-Ролленом и Флоконом; наконец, рабочий класс был представлен Луи Бланом. Пока те группы буржуазии, которые вызвали или содействовали февральской революции, составляли свой список, в палате депутатов, этом храме финансовой буржуазии, делались попытки сохранить монархию в виде регентства герцогини Орлеанской. Но ворвавшаяся в палату толпа инсургентов заставила бежать регентшу и рассеяла призрак монархии. Ледрю-Роллен с трибуны читает список членов Временного Правительства, при чем пропускает имена Флокона, Луи Блана и рабочего Альбера (внесения которых в список требовали рабочие) под тем предлогом, что они—не депутаты! Список утверждается в этой дикой сумятице; после чего Ледрю-Роллен спешит с ним в ратушу, куда еще раньше ушел с частью толпы Ламартин, чтобы провозгласить там временное правительство. По старой революционной традиции победа одерживается народом на баррикадах, но освящается в парижской Думе. Толпа выходит из палаты с криками: «да здравствует Республика», «в ратушу», «мы не позволим обмануть себя, как в 1830 году!» Рабочие не замечали, что они уже были обмануты самим способом назначения Временного Правительства, что они уже проиграли в политическом торге вторую ставку после того, как победоносно выиграли на баррикадах первую.

В ратуше, которая находилась уже в руках победившего народа, собрались старые революционеры, участники прежних республиканских восстаний и члены тайных обществ. Прибытие буржуазных политиканов с готовыми списками Временного Правительства вызывает ропот в собравшейся толпе. Собравшиеся в отдельной комнате буржуазные интриганы во главе с Ламартином и Ледрю-Ролленом, под давлением вооруженной рабочей толпы, принуждены допустить в свой состав—правда, только с титулом секре-

тарей — названных выше трех лиц, навязанных им баррикадными бойцами. В защиту Временного Правительства, носившего в целом явно буржуазный и антипролетарский характер, сразу выступила значительная часть национальной гвардии и учащейся молодежи. Буржуазия признала правительство своим.

Оно и было по существу буржуазным, ибо оно должно было обеспечить господство буржуазии в стране, охваченной революционной лихорадкой, и подготовить условия для прочного установления буржуазного господства. Будучи по своему составу результатом классовой борьбы, оно вскоре увидело эту борьбу и в самой своей среде. Рознь между консервативным большинством Временного Правительства и его демократическим меньшинством сказалась с первых же шагов его деятельности. Временное Правительство уклонялось даже от непосредственного провозглашения Республики под предлогом нежелания предвосхищать будущее выражение народной воли в Учредительном Собрании. Но давление вооруженных масс заставило его признать республику, хотя и в двухсмысленной форме.

Аналогичное столкновение произошло по вопросу о национальном знамени. Мы уже видели, что пролетариат добивался установления не только демократической, но и социальной республики. Символом новой эры для парижских рабочих было красное знамя, развивавшееся на их баррикадах. С этого момента красный цвет делается популярным среди рабочих. Появляются красные пояса, жетоны, кокарды и банты. 25 февраля вооруженные рабочие требуют от Временного Правительства замены трехцветного национального знамени красным знаменем социальной революции. За исключением Луи Блана все Временное Правительство решительно протестует против этого. Оно понимает, что красное знамя есть символ пролетарской революции и уничтожения буржуазного господства. Но и здесь перед лицом вооруженного пролетариата, не имея пока собственных организованных сил, Временное Правительство вынуждено пойти на компромисс. Оно постановляет, что к древку трехцветного национального знамени будет прикреплена красная розетка, которую, кроме того, будут носить члены Временного Правительства и остальные представители власти.

Первые дни февральской революции не могли быть ничем иным, как периодом компромиссов между двумя главными классами современного общества, между буржуазией и пролетариатом. Пролетариат сыграл в февральской революции огромную роль, но не единственную. Успеху революции способствовала также мелкая и средняя буржуа-

зия в лице национальной гвардии и учащейся молодежи. Эти буржуазные группы, более слабые на улице и на баррикадах, были гораздо сильнее в мирной повседневной обстановке, так как опирались на широкие круги экономически господствующего класса, располагали огромными связями в армии, в бюрократии и вообще в государственном аппарате, стояли гораздо ближе, а следовательно, могли легче добиться влияния на многомиллионное крестьянство, составлявшее главную массу французского населения и призванное теперь, с введением всеобщего избирательного права, к решающей роли в политической жизни страны.

Пролетариат составлял меньшинство населения. Широкие массы мелкой буржуазии, в том числе и крестьянство, не только не шли еще за пролетариатом, но, напротив, относились враждебно к его чисто классовым требованиям. Поэтому было ясно, что чем больше будут оформляться эти классовые требования пролетариата, чем в более резкой форме он будет выступать и добиваться их осуществления, тем более решительное сопротивление он встретит со стороны широчайших мелкобуржуазных кругов французской нации. Побороть буржуазное общество при таких условиях пролетариат мог только с захватом власти и установлением диктатуры рабочего класса. Но к этому он не был еще подготовлен ни материально, ни психологически. А поэтому его конечное поражение в первой решительной схватке с буржуазным обществом было неминуемо. Но пока он был вооружен, пока он был опьянен своей победой, пока буржуазные силы были рассеяны и не успели сконцентрироваться, до тех пор он, если и не господствовал целиком в Париже, то мог еще навязывать Временному Правительству те или иные частичные требования своей программы.

Так было с вопросом о «праве на труд». В тот же день 25 февраля, когда мостовые еще не остыли от баррикадного боя, непосредственно после манифестации в честь красного знамени, на Гревскую площадь перед ратушей снова направилась вооруженная толпа, потребовавшая от правительства провозглашения «права на труд». Правительство вынуждено было это сделать, несмотря на попытку к сопротивлению. Через три дня, 28-го февраля, демонстрация парижских цехов снова двинулась на Гревскую площадь со знаменами, на которых было написано «министерство прогресса», «организация труда», «уничтожение эксплоатации человека человеком». Рабочие явно стремились к установлению такого строя общества, при котором общественный труд был бы организован, а эксплоатация класса классом уничтожена. Но их требования были реши-

тельно неосуществимы в рамках буржуазного общества. Осуществление их предполагало новую, на этот раз определенно социальную, революцию. Временное Правительство прекрасно понимало это. Но оно снова принуждено было пойти на компромисс для выигрыша времени. Правда, оно не соглашалось на учреждение министерства прогресса или труда, но предложило учредить комиссию для разработки вопросов, касающихся материального и морального положения рабочих. Местопребыванием этой комиссии назначен был Люксембургский дворец, Луи Блан назначен был ее председателем, а рабочий Альбер—вице-председателем. Таким образом, как правильно указал Маркс, вся эта демонстрация свелась к тому, что единственные представители пролетариата во Временном Правительстве были отстранены от государственных дел, что буржуазные члены Временното Правительства развязали себе руки и получили возможность спокойно подготовлять контр-революцию. Рабочему же классу сознательно втирали очки организацией «рабочего парламента» в Люксембурге, участники которого препирались о наилучших способах освобождения пролетариата в то время, как буржуазия во Временном Правительстве укрепляла свои позиции и подготовляла разгром пролетарских сил.

Таким образом под давлением вооруженного пролетариата Временное Правительство принуждено было дать ряд невыполнимых обещаний. Совершенно ясно было, что до тех пор, пока существует капиталистический строй, совершенно невозможно было провести ни организацию труда в том смысле, как это понимали рабочие, ни обеспечить всем гражданам право на труд и т. п. Буржуазия в лице Временного Правительства давала рабочим эти заведомо невыполнимые обещания для того, чтобы отсрочить момент решительного боя и всесторонне подготовиться к неизбежной схватке между обоими классами. Проницательные представители буржуазии в роде Токвиля прекрасно это понимали. Они знали, что «нет возможности урегулировать развитие февральской революции постепенно и мирным путем и что оно может быть остановлено не иначе, как посредством решительной битвы на парижских улицах... Такая битва не только была неизбежна, но она должна была произойти очень скоро, и было бы желательно воспользоваться первым удобным случаем, чтобы начать ее».

Буржуазия начала подготовляться к этой битве. Для того, чтобы выиграть сражение, неизбежность которого ясна была для нее с самого начала, она постаралась подготовить себе материальную и психологическую почву: во-первых, необходимо было со-

здать достаточно крепкие вооруженные силы, которые могли бы в решительном бою справиться с восставшими рабочими; во-вторых, нужно было изолировать пролетариат, противопоставить ему все остальные классы общества под руководством буржуазии и по возможности внести разлад в ряды самого рабочего класса, восстановив одну часть его против другой. К этому Временное Правительство шло систематически и планомерно.

Прежде всего оно стало готовить вооруженные силы. В первые дни Республики, 25 февраля, в тот самый день, когда правительство вынуждено было признать право на труд, оно издало три декрета. Первым поручалось департаментским властям принять строжайшие меры против дезертиров; вторым—реорганизовывались отряды национальной гвардии, распущенные прежним правительством по мотивам политического характера; третьим—Временное Правительство, по предложению поэта Ламартина, поручило генералу Дювивье сформировать 24 батальона мобильной (подвижной) гвардии из подростков от 16 до 20 лет по 1000 человек в каждом батальоне.

Первый декрет имел в виду постоянную армию. Разложившиеся вследствие революции полки были выведены из Парижа, но взамен введен был целый ряд других полков, во главе которых поставлены были старые монархические генералы, набившие руку на усмирении пролетариата, особенно генералы, прошедшие солдатскую школу в Алжире, в колонии, где они беспощадно расправлялись с туземцами. Типом этих генералов был пресловутый Эжень Кавеньяк, впоследствии сделавшийся буржуазным диктатором. В армии снова введена была строгая дисциплина, и солдаты по мере возможности были изолированы от влияния революционных рабочих. Таким образом первая часть программы была выполнена. Армия снова сделалась послушным орудием в руках буржуазии.

Наряду с постоянной армией, которой Временное Правительство, впрочем, не вполне доверяло, снова реорганизована была охранная стража буржуазии в лице национальной гвардии. Правда, рабочие постепенно добились своего допущения в ряды национальной гвардии. Но в богатых кварталах национальная гвардия, прекрасно организованная и вооруженная, составляла батальоны порядка, готовые во всякий момент по призыву правительства выступить на защиту господствующего класса.

Не довольствуясь этим, Временное Правительство попыталось из среды пролетариата навербовать вооруженную силу, могущую быть противопоставленною рабочему классу. Такова была задача мобильной гвардии. Молодые

люди, навербованные среди безработных и вообще среди людей, не имевших определенных занятий, составили главный контингент мобильной гвардии. Правительство, чтобы подкупить эту бесшабашную молодежь, назначило им жалованье по полтора франка в день, т.-е. в несколько раз больше, чем получали солдаты регулярной армии. Словом, оно попросту купило их. Против парижского пролетариата выдвинута была таким образом 24-тысячная армия, набранная из молодых, храбрых и здоровых головорезов, которым Временное Правительство дало командиров из буржуазной среды. Рабочие сначала считали их своей красной гвардией, но июньские дни показали пролетариату его ужасную ошибку.

Таким образом Временное Правительство вооружило против пролетариата, на ряду с постоянной армией, вышедшую из буржуазии национальную гвардию и навербованную из подонков пролетариата мобильную гвардию.

Но этого ему было мало. Оно попыталось также создать себе гигантскую рабочую армию, которую в случае нужды можно было бы направить против социалистов. С этой целью правительство организовало так называемые «национальные мастерские». Оно преследовало при этом двоякую цель: оно хотело скомпрометировать социализм, сознательно путая «социальные мастерские», которых требовали рабочие в сороковых годах в связи с планомерной организацией труда, с «национальными мастерскими», которые были просто колоссальной и беспорядочной организацией благотворительности. Сюда набирались все безработные, которых употребляли на ненужные земляные работы, платя им сначала по 2 франка, затем по 1½ и, наконец, по 1 франку в день. Не удивительно, что масса безработных со всех концов Франции потянулась к Парижу, чтобы записаться в эти мастерские. К средине марта там насчитывалось 50 тысяч, а к июню это число перевалило за 100 тысяч человек. Они были организованы по-военному: разбиты на отделения, взводы, роты, с назначенными администрацией командирами. Вначале правительство как будто достигло своей цели и ему даже удалось раз мобилизовать рабочих национальных мастерских против коммунистов. Но вскоре эта масса, организованная по-военному, была захвачена социалистической пропагандой и прониклась революционным духом.

Правительство обманулось с одной стороны, но с другой оно добилось своей цели. Ему удалось возбудить негодование всей страны против социализма, якобы воплотившегося в национальных мастерских, и против рабочих, на которых мелкая буржуазия и

крестьяне начали смотреть как на дармоедов, живущих на их счет. Пролетариат был изолирован и это сказалось в июньские дни.

Будучи результатом компромисса между отдельными общественными силами, совершившими февральскую революцию, Временное Правительство в первое время само вело компромиссную политику. В результате оно восстановило против себя все общественные группы. Если пролетариат считал его слишком умеренным, то буржуазия находила его слишком демократическим. Как щепка, оно безвольно носилось по волнам взбудораженной стихии, подаваясь то направо, то налево. Будучи принуждено под давлением вооруженного пролетариата делать хотя бы чисто формальные уступки социалистическим идеям, оно начало возбуждать против себя недовольство господствующего класса. По поводу распоряжения правительства о введении однообразной обмундировки в национальной гвардии и о роспуске гренадерской роты, вербовавшейся из богатых мещан, буржуазные национальные гвардейцы устроили 16 марта враждебную правительству реакционную демонстрацию так называемых «медвежьих шапок» (головной убор гренадер). Из толпы манифестантов впервые раздались угрожающие крики против коммунизма, против Ледрю-Роллена, вождя радикальной мелкой буржуазии, и против «красных» вообще.

Это выступление реакционного мещанства извратило смысл рабочей демонстрации, назначенной на следующий дань 17 марта. Первоначальной целью этой манифестации, подготовленной в клубах, было придать правительству более революционный характер, очистить его от консервативных членов, добиться удаления войск из Парижа и отсрочки выборов в Учредительное Собрание. Но реакционная демонстрация, устроенная накануне буржуазными национальными гвардейцами, вынудила несколько изменить намеченную программу. Чтобы дать отпор реакционной буржуазии, рабочим пришлось выступить на защиту буржуазной республики, на защиту Временного Правительства и вместо того, чтобы подчинить себе это Правительство, они только упрочили его положение. Крайние клубисты, руководимые Бланки, хотели использовать эту демонстрацию для нового переворота, для захвата власти и установления революционной диктатуры. Но им пришлось отказаться от этого намерения в виду настроения массы и в виду поведения одной части революционеров, которая во главе с Барбесом и Кабэ стала на сторону Временного Правительства. Величественная демонстрация, в которой участвовало 150 тысяч человек, фактически закончилась ничем. Она только обнаружила слабость революционеров, отсутствие единства

и единомыслия в их среде, политическую незрелость рабочих масс и вместе с тем дала консервативным членам Временного Правительства повод для восстановления мещанства, национальной гвардии, мобильной гвардии и солдат против коммунистов, «сторонников анархии и грабежа».

Рабочая масса почувствовала, что позиции ее слабеют. Она решила снова напомнить о себе и оказать давление на правительство в смысле ускорения разрешения рабочего вопроса. Но на этот раз правительство, предупрежденное Луи Бланом о предстоящей 16 апреля манифестации, приняло свои меры. Пока рабочие совещались на Марсовом поле, по городу были распространены слухи о том, что толпа собирается грабить магазины, что она уже убила несколько членов Временного Правительства и т. д. Радикал Ледрю-Роллен приказал бить сбор для созыва национальных буржуазных гвардейцев. И когда ничего неподозревавшие рабочие подошли, наконец, к ратуше, они были встречены яростными криками вооруженных мещан: «долой коммунистов, смерть Бланки, долой Кабэ!»

Теперь буржуазия добилась своей цели. *Пролетариат был изолирован*, и с этого дня начинается *открытая реакция буржуазного общества против рабочего класса*.

В такой атмосфере начались *выборы* в *Учредительное* (Национальное) *Собрание*. Это был *первый массовый опыт всеобщего избирательного права в условиях современной борьбы между пролетариатом и буржуазией*. Получилась возможность проверить на практике одну из главных иллюзий буржуазного демократизма. Вместо фантастического якобы единого «народа», о котором мечтали старые демократы, на сцену выступил действительный народ, т. - е. различные классы, на которые он распадается, с их особыми интересами, взглядами и предрассудками. *Пролетариат мог рассчитывать только на себя*, и притом даже не на все части своего класса. Увлечь за собою, подчинить своей идеологии и своим стремлениям, которые, впрочем, были неясны ему самому, другие общественные группы он не мог. Но зато это прекрасно могла сделать буржуазия. У нее в руках были для этого все средства — государственный аппарат, пресса, капитал, бесчисленное количество агитаторов, к которым присоединилась добровольная армия католических попов. *Коммунисты не сумели пойти в деревню*. Они ограничились по преимуществу работой в крупных центрах, да и там им не удалось развить достаточно сильную агитацию среди рабочих. Выдвинуть же какую нибудь аграрную программу они не догадались, а между тем крестьян можно было увлечь не

только мыслью об отмене ряда ненавистных налогов, но и в особенности уничтожением ипотечных долгов. Но если коммунисты не сумели проложить себе дорогу в деревню, то это сумела сделать буржуазия, в особенности ее монархическое крыло, состоявшее из помещиков и католического духовенства.

Консервативные и реакционные элементы ловко использовали все промахи революционеров. Они сумели втолковать мещанству и крестьянам, что во всех бедах виноваты социалисты, что на них лежит ответственность даже за торгово-промышленный кризис, вызванный революцией и разорявший мелкую буржуазию. На их же счет был поставлен и пресловутый добавочный 45-сантимный налог, против которого особенно возмущались крестьяне. Этот налог был вызван тем, что Временное Правительство, задыхавшееся в тисках хронического дефицита, не решалось посягнуть на капиталы крупной буржуазии, а следуя примеру всех прежних правительств, наложило руку на крестьянскую мошну, увеличив все прямые налоги на 45%. Этот добавочный 45-сантимный налог восстановил против республики крестьянскую массу, составляющую главную часть французской нации. А когда с помощью попов провинциальная буржуазия и помещики услужливо объяснили еще крестьянам, что «красные» хотят отнять у бедных людей их клочок земли и последнюю корову, что все рабочие—это бездельники, роскошествующие в Париже на крестьянский счет, то не удивительно, что крестьяне в массе голосовали за крупных собственников и против левых республиканцев, не говоря уже о коммунистах. Даже Париж в массе голосовал за умеренных, а это свидетельствовало о крайне враждебном настроении мелкой буржуазии не только против социализма, но и против февральской республики, не сумевшей сразу освободиться от его давления.

Из этих выборов и вышло Учредительное Собрание 1848 года. Из 900 депутатов подавляющее большинство оказалось, разумеется, буржуазных. Вместе с тем выборы неожиданно доставили успех роялистам. Сколько их было в точности, трудно определить, так как в тот момент все реакционеры выдавали себя за республиканцев. Поэтому одни исследователи считают, что их в Учредительном Собрании было от 100 до 150 человек, а другие полагают даже, что около половины его состояло из монархистов. Впрочем, до поры до времени они притворялись умеренными республиканцами, и таким образом тон в Учредительном Собрании задавала фракция «трехцветных» республиканцев. Мелко-буржуазные демократы под предводительством Ледрю-Роллена были в меньшинстве, а социа-

листов или, вернее, крайних демократов было еще меньше. Эта группа была совершенно изолирована в Учредительном Собрании, а ее пестрый состав заранее лишал ее возможности играть какую-либо серьезную роль.

Теперь классовая борьба перенеслась в стены Учредительного Собрания. Здесь пролетариат заранее обречен был на полное поражение. 4-го мая торжественно открылось то Учредительное Собрание, которое должно было погубить Вторую Республику. Вместо Временного Правительства оно избрало «исполнительную комиссию» из пяти членов, в которой было четыре представителя крупной буржуазии (Араго, Гарнье Пажес, Мари и Ламартин) и только один представитель мелкой буржуазии Ледрю-Роллен, да и то получивший всего половину голосов. Социалисты, имевшие два места во Временном Правительстве, теперь были окончательно устранены из состава правительства. Исполнительная комиссия назначила министров главным образом из среды трехцветных республиканцев. Предложение Луи Блана об учреждении министерства труда и прогресса было отклонено подавляющим большинством.

Некоторые крайние республиканцы предвидели возможность консервативного состава Учредительного Собрания, как, напр., Прудон, Бланки и т. п. Стоявшая близко к социалистам Жорж Занд заранее предусматривала даже возможность восстания трудящихся масс против этого «национального лже-представительства». Все яснее проявлявшаяся реакционность Собрания создала в рабочем классе настроение крайнего недовольства. В частности пролетариат возмущался иностранной политикой Временного Правительства и Национального Собрания. Он ждал от них продолжения политики Конвента, т. е. «революционной пропаганды», поддержки всех революционных движений за границей, сигнал которым подала февральская революция в Париже. На деле же Вторая Республика оказалась в международных вопросах крайне консервативной, да она и не могла быть иной, так как ей нужен был внешний мир для внутренней расправы со своим собственным рабочим классом.

Вспоминая традиции парижского пролетариата во времена Великой революции, рабочие решили устроить манифестацию для того, чтобы оказать давление на Учредительное Собрание и принудить его изменить свою внешннюю и внутреннюю политику 15-го мая 150 тысяч рабочих двинулось по бульварам с возгласами в честь революционной Польши. Толпа ворвалась в зал Учредительного Собрания. Барбес, Бланки и другие клубисты требовали от имени

пролетариата прекращения реакционной политики, предоставления работы безработным, налога на богатых людей, объявления войны Пруссии и России в интересах Польши. Пытаясь повторить события 24 февраля, толпа приступает к избранию нового Временного Правительства, в которое на ряду с левыми буржуазными демократами, как Ледрю-Роллен, Этьен Араго, Коссидьер, включают Луи Блана, Альбера, Распайля, Барбеса, Бланки и т. п. Часть революционеров с Альбером и Бланки отправляется в ратушу, чтобы там провозгласить новое правительство. Но *теперь положение было уже не такое, как 24 февраля*. За это время буржуазия успела сознать свою силу и организоваться. В лице Учредительного Собрания она имела организационный и политический центр. В лице реорганизованной национальной гвардии и вновь созданной мобильной гвардии она имела свою верную стражу. Быстро сбегаются мобильные и национальные гвардейцы. Оставшиеся в собрании рабочие рассеяны. Вожди движения 15 мая, Бланки, Барбес, Альбер и другие деятели пролетариата, арестованы. Революционные клубы закрыты. Парижский гарнизон усилен. Одним словом, *результаты этой демонстрации свелись только к аресту самых опытных революционеров и к разрыву между пролетариатом и мелкой буржуазией*. 15 мая мелкая буржуазия, испугавшись возможности создания социалистического правительства, решительно примкнула к крупной, на защиту которой выступила с оружием в руках. Началась общественная реакция, в которой активно участвовали широкие мелко-буржуазные массы и которая во многом оставила позади за собой разгул полицейских репрессий во времена монархического правительства.

III.

Теперь обнаружилось, что пролетариат совершенно изолирован. Позиции буржуазии окрепли и оказались даже сильнее, чем они были при монархии, ибо тогда буржуазия сама активно не выступала на исторической сцене, предоставляя монархии с ее аппаратом защищать интересы своего класса, теперь же она сама взялась за оружие и мобилизовала все свои силы для борьбы с красным призраком. Начиная с демонстрации 15 мая, лозунгом буржуазии сделалось: «с этим нужно покончить!» Нужно было вызвать пролетариат на последний и решительный бой, раздавить его, обезглавить и надолго заставить смириться и признать правомерность буржуазного господства

Из завоеваний февральской революции сохранились еще национальные мастерские. Несмотря на то, что эти мастерские были результатом буржуазного обмана и совершенно не отвечали требованиям рабочего класса, они все же были у буржуазии бельмом на глазу: во-первых, они напоминали об обещаниях, данных пролетариату Временным Правительством; во-вторых, они начали становиться опасными для буржуазного порядка, так как создать из них верную буржуазии силу не удалось, в-третьих, они вызывали растущие расходы и увеличивали финасовый дефицит. Укрепив свои позиции, буржуазия перешла в прямое нападение на национальные мастерские. После ряда колебаний 21 июня опубликован был декрет Исполнительной Комиссии, обязывавший всех рабочих национальных мастерских от 18 до 25 лет или записаться в солдаты, или отправиться на земельные работы в провинцию. Нужно было распылить ту колоссальную силу, которая становилась опасной для неограниченного господства буржуазии. Делегации рабочих, явившейся к Мари для переговоров, министр грубо ответил, что кто не подчинится приказу добровольно, будет принужден к тому силой. Таким образом совершилась та великая провокация, о которой мечтал Токвиль с первых дней февральской революции.

Буржуазия сознательно вызвала эту колоссальную, до тех пор невиданную в истории человечества, гражданскую войну. Этим объясняется тот факт, что военный министр Кавеньяк сначала не принимал никаких мер против восставших и позволил им беспрепятственно строить баррикады. Подобно всем усмирителям, задумавшим решительный удар, он хотел дать рабочим возможность собраться, а затем раздавить их сразу. Рабочие попались на удочку провокации, да у них, впрочем, и не было другого исхода. Они не имели определенной политической программы. Очень возможно, что если бы им удалось даже захватить власть, они не сумели бы воспользоваться своей победой. Но в их сердцах горел смутный порыв к какому то другому, лучшему, более справедливому строю, в их душе царила горькая обида на вероломство правящих классов, и они решились с оружием в руках восстать для отпора. На красных знаменах инсуррекции написано было: «Хлеба или свинца!»

Восстание началось 23 июня. В этот день восточная и южная части города начинают покрываться высокими баррикадами. На сей раз это было в полном смысле классовое восстание пролетариата. Восстание не выходит за пределы рабочих предместий, но огромные массы рабочих принимают в нем

участие. Даже женщины приняли теперь горячее участие в бою, сражаясь на баррикадах рядом со своими мужьями и братьями. С другой стороны, все силы старого общества, все фракции буржуазии объединились вокруг Учредительного Собрания. Ярые демократы, радикалы, щеголявшие своим республиканизмом, единодушно ополчились против пролетариата. Старый Франсуа Араго лично повел войска против баррикад на площади Пантеона. Даже учащаяся молодежь, которая в прежние революции дралась в рядах рабочих, на этот раз выступила против них. Национальная гвардия и в особенности мобильные гвардейцы отличались своей злобой и зверством, далеко оставляя в этом отношении за собою регулярные войска. Ледрю-Роллен по телеграфу вызвал из провинции армейские полки и батальоны национальной гвардии. Вызваны были даже бретонские и шербургские матросы. Вся буржуазная Франция объединилась против восставшего пролетариата. По всем дорогам, ведущим в Париж, спешили со всех концов отряды национальной гвардии и добровольцев. Некоторые отряды прибывали с мест, отстоявших от Парижа на двести миль. Здесь были и крестьяне, и буржуа, и крупные землевладельцы, и аристократы. Все местные дворяне взялись за оружие. При всем своем героизме парижские рабочие были обречены на поражение, так как у них ниоткуда не было подкрепления. Буржуазия же имела своим тылом всю Францию. По приказу Кавеньяка к Парижу была направлена даже альпийская армия. Это показывало, что буржуазия для борьбы с внутренним врагом готова была даже обнажить внешний фронт. Учредительное Собрание с радостью встретило весть о восстании парижских рабочих. Оно устранило Исполнительную Комиссию, давно уже возбуждавшую его недовольство своей нерешительностью, объявило Париж в осадном положении и назначило диктатором генерала Кавеньяка. Сражение продолжалось 24 и 25 июня с переменным успехом. На всех баррикадах развевались красные знамена, окончательно вытеснившие с этого момента трехцветные знамена. Все попытки к примирению разбивались об упорство буржуазии, хотевшей раз навсегда отучить рабочих от бунта против капиталистического строя. Наконец, к вечеру 25 июня пали последние баррикады. Тогда началась расправа буржуазии с побежденными рабочими. Не менее 3½ тысяч рабочих погибло в баррикадном бою; около 5 тысяч было осуждено военным судом на каторгу. Пролетариат был на 20 лет согнан с широкой политической арены. Потерпев тяжелое поражение в открытом бою с буржуазным обществом, он надолго потерял веру

в свои силы, ушел в подполье, замолчал, смирился, и только ничтожная его часть пыталась отныне улучшить свое положение скромными реформистскими средствами: основанием артелей, товариществ, организацией кредита и т. п.

Но в июньские дни разгромлен был не только пролетариат. Смертельный удар нанесен был и буржуазной республике.

IV.

Собственно говоря, июньскими днями кончается история революции 1848 г. После поражения парижского пролетариата началась медленная агония республики, гнившей с этого момента на корню. Началась взаимная борьба буржуазных партий, освободившихся от социалистического кошмара, и отныне каждый новый шаг в политической жизни Франции знаменуется усилением реакции. Одна за другой устраняются с политической арены буржуазные партии, при чем более прогрессивные уступают место более консервативным, пока, наконец, все завоевания февральской революции не уничтожаются, и самая республиканская форма утрачивает свой смысл. Ни на кого более не опирающаяся республика висит в воздухе и легко падает от удара со стороны военных заговорщиков.

Если февральская революция дала толчок революциям в ряде европейских стран, то с другой стороны июньское поражение парижского пролетариата послужило сигналом к реакции не только во Франции, но и во всей Европе. С того момента, как европейские правительства поняли, что главная движущая сила французской революции разбита, что французская буржуазия ни о чем другом так не мечтает, как о внешнем мире, для того, чтобы свободно довести до конца гражданскую войну у себя дома,—реакция всюду подняла голову. Австрийское, прусское, различные германские и итальянские правительства начинают брать обратно те уступки, которые они вынуждены были сделать восставшим народам после февральской революции. Всюду воцаряется в более или менее полной форме старый режим.

Для подавления пролетариата умеренные трехцветные республиканцы объединились с монархистами. Национальные мастерские были закрыты. Такая же участь постигла революционные клубы и социалистические газеты. Восстановлен был залог для газет, и издан строгий закон о преступлениях печати. Продолжено осадное положение, а полномочия полиции расширены. Расправившись

с пролетариатом, торжествующая буржуазная реакция взялась теперь за мелко-буржуазную демократию. Учредительное Собрание назначило следственную комиссию под председательством монархиста Одилона Барро для расследования событий 15 мая и июньских дней. Это средство было направлено не только против Луи Блана, но и против Ледрю-Роллена и Коссидьера. Умеренные республиканцы торопились вырыть яму своим демократическим конкурентам, но этим они только подготовили свое собственное падение. Ледрю Роллену удалось на этот раз оправдаться, но Луи Блан принужден был бежать в Лондон.

Учредительное Собрание отменило декрет Временного Правительства о 10-часовом рабочем дне и установило 12-часовой рабочий день. Восстановлены были городские пошлины на съестные припасы, особенно тяжело ложившиеся на городскую бедноту. Предложение ввести налог на капитал было Собранием отвергнуто, но личное задержание за долги восстановлено. Теперь мелкая буржуазия начала понимать, что, помогая крупной буржуазии раздавить пролетариат, она поставила себя самоё в тяжелое положение. Оправившись от страха, крупный капитал начал бесцеремонно третировать своего мелко-буржуазного подголоска. В виду общего застоя в делах, вызванного революцией, множество мелких лавочников и промышленников оказались не в состоянии уплатить по векселям и за квартиру. Тем не менее Учредительное Собрание отвергло предложение о «полюбовных сделках» между должниками и кредиторами, обрекая этим мелкую буржуазию на разорение и на рабство. В ответ на эти меры мелкая буржуазия начала голосовать за оппозиционных кандидатов. Так, Париж 19-го сентября избрал коммуниста Распайля, сидевшего тогда в тюрьме. Мелкая буржуазия, сообразивши, что в июньские дни она спасла собственность не для себя, а для крупных капиталистов, снова начала проникаться крамольным духом и изъявлять готовность к союзу с рабочими. Но уже было поздно.

Главная задача Учредительного Собрания заключалась в выработке республиканской конституции. Эта работа была выполнена им в сентябре и октябре. Но уже одно то обстоятельство, что конституция вырабатывалась в обстановке осадного положения, что рабочий класс, который должен был служить основным устоем республиканского здания, был разгромлен,—обрекало ее на полную бесплодность и беспочвенность. Характерно, что «право на труд», признание которого пролетариат вырвал у

Временного Правительства, объявлено было теперь «мятежным девизом» и вычеркнуто из конституции.

Крупным недостатком конституции, способствовавшим ее скорой гибели, был пункт, в силу которого глава исполнительной власти, президент республики, выбирался прямой подачей голосов всеми французскими гражданами. Таким образом, президент один имел за собою столько же голосов, сколько все депутаты вместе. Для парирования этой опасности постановлено было, что президент, избираемый на 4 года, не мог по прошествии этого срока переизбираться в течение следующих 4-х лет. Но это только создало почву для будущих столкновений между президентом и Собранием. Напрасно проницательные люди указывали на опасность такого положения. Буржуазия ничего не хотела слышать. Ей нужно было «сильное и решительное» правительство, ей нужен был диктатор против революционного пролетариата и мелкой буржуазии— и она получила диктатора, который уничтожил буржуазную республику целиком.

Президентские выборы состоялись 10 декабря. Кандидатом буржуазии был Кавеньяк, ненавистный не только для рабочего класса, но и для значительной части мещанства. Он получил 1.448.107 голосов. Кандидатом радикальной мелкой буржуазии был Ледрю - Роллен, который получил 370.790 голосов. Разгромленный пролетариат не имел своих кандидатов, но сознательные рабочие голосовали за Распайля, получившего 36.329 голосов. Но всех этих кандидатов оставил далеко за собой принц Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона I, авантюрист и проходимец, получивший 5.433.226 голосов.

Луи Бонапарт до февральской революции жил за границей. В царствование Луи Филиппа он сделал две неудачные попытки вернуть себе власть, так как он считал себя законным наследником французского трона. Через несколько недель после февральской революции он вернулся во Францию, где окружил себя бандой проходимцев, пытавшихся использовать в своих интересах порожденную революцией смуту и ожесточенную борьбу различных классов. Началось то демагогическое заигрывание со всеми классами, которое быстро выдвинуло Луи Бонапарта на первый план. Рабочим обещались серьезные реформы в их пользу. Делались всяческие посулы и крестьянству, которому Луи Бонапарт рисовался в виде настоящего крестьянского императора, призванного возродить величие и богатство Франции. Буржуазия, напуганная революцией, не мечтавшая ни о чем так горячо, как о восстановлении порядка и спокойствия, при которых дела могут итти хорошо, в

массе также благожелательно посматривала на этого кандидата в императоры. Монархисты с своей стороны готовы были помочь ему раздавить ненавистную республику в надежде, что после этого им удастся восстановить «законную» монархию.

Поэтому на выборах за Бонапарта голосовали все классы. Масса мелкой буржуазии и рабочих тоже отдала ему свои голоса—в значительной мере из ненависти к Кавеньяку. Но главную массу голосов доставили Бонапарту крестьяне. Этот класс мелких собственников, самый многочисленный во Франции, с ненавистью относился к городу—одинаково к рабочим и буржуазии. Оставленные всеми правительствами, которые смотрели на крестьян только как на податную силу, они стояли в стороне от исторического движения. Республика не сделала для них ничего. Напротив, она только увеличила падавшие на них налоги. С другой стороны, благодаря своей отсталости они находились под влиянием местного дворянства и особенно католического духовенства. Единственный режим, к которому они тогда питали симпатию,—это была империя, о которой они вспоминали с признательностью, так как она закрепила за ними их мелкие участки, завоеванные ими во время первой революции. Думая голосовать против буржуазии, против ненавистного города, они посадили себе на шею императора.

Добившись президентства, Луи Бонапарт окружил себя рядом погромных черносотенных организаций, из которых самой знаменитой было «Общество 10 декабря». Все его президентство было сплошным рядом реакционных мероприятий и столкновений с Национальным Собранием. Но умный авантюрист, подготовлявший государственный переворот, в решительные моменты устранялся, предоставляя самому Национальному Собранию принимать все реакционные меры, вызывавшие ненависть масс и этим компрометировать себя в их глазах. Этим он рассчитывал отнять у парламента всякую опору, чтобы в нужный момент свалить его одним ударом.

Пролетариат уже был разгромлен. Теперь нужно было разгромить мелко-буржуазную демократию. 26 мая 1849 г. закрылось Учредительное Собрание, а через два дня открылось новое Законодательное Собрание. В этом Собрании монархисты располагали уже подавляющим большинством голосов (около 500 из 750). Промежуточная партия трехцветных республиканцев потерпела на выборах полное поражение. Она выполнила свое дело одурачения и разгрома пролетариата и теперь уже буржуазии была не нужна. Единственной серьезной оппозиционной группой была

мелко-буржуазная партия Горы, представлявшая союз мещанства, пролетариата и части революционного крестьянства южных и восточных департаментов. Этот союз мещанства и рабочих, в котором явно преобладали мелко-буржуазные элементы и настроения, получил тогда название «социальной демократии». Вождем этой партии, располагавшей почти 200 мест в Собрании, был Ледрю-Роллен.

Конфликт между обеими половинами Собрания был неизбежен. Гора думала, что она нашла удобный повод для выступления, избрав почвою для сражения вопрос о реакционной *внешней политике* правительства. Речь шла о вмешательстве французских войск в пользу папы против римских революционеров. Экспедиция эта была предпринята еще Кавеньяком во времена Учредительного Собрания. Луи Бонапарт продолжал ее и довел дело до бомбардировки Рима французскими войсками 10 июня 1849 г. На следующий день Ледрю-Роллен внес предложение о предании суду министров за нарушение конституции, угрожая, что республиканцы для защиты конституции не остановятся «даже перед силою оружия». Когда Законодательное Собрание естественно отклонило предложение Ледрю-Роллена, Гора удалилась из Собрания и после долгих прений решила защищать конституцию всеми средствами, исключая силу оружия. Это было признанием своего полного банкротства. 13 июня 1849 г. организована была «мирная» демонстрация национальных гвардейцев, а отчасти также рабочих, которая была разогнана войсками. *Попытка мелкой буржуазии устроить свое восстание была сразу подавлена и вызвала только смех.* Провинция не откликнулась на это движение. *Только пролетарский Лион восстал*, но и он был быстро раздавлен.

Теперь начался разгром мелко-буржуазной партии. Часть ее вождей, в том числе Ледрю-Роллен, спаслась бегством за границу, а другая часть была арестована. Подозрительные по благонадежности части национальной гвардии были распущены, Париж и Лион объявлены на осадном положении, и разгул реакции еще усилился. *На этот раз была раздавлена и последняя опора республики—мелкая буржуазия.*

Рост реакции усилил оппозиционное настроение в стране. На частичных выборах 10 марта 1850 года в Париже были избраны кандидаты «социально-демократической» партии, друг Бланки Дефлот, коммунистический писатель Видаль, романист Эжень Сю, а также умеренный республиканец Карно, сторонник светской народной школы Тогда «партия порядка», т.-е коалиция всех крупно-

буржуазных партий, решилась посягнуть на главное завоевание революции, на основу республиканской конституции, а именно на всеобщее избирательное право. 31 мая 1850 года Законодательное Собрание установило ценз оседлости (3-летнее пребывание в пределах одной общины), направленный главным образом против рабочих. В результате число избирателей сократилось с 10 миллионов до 7. Эта мера не встретила в стране никакого серьезного отпора.

Ясно было, что революция уже исчерпала себя, что ни один из классов, способных отстаивать ее завоевания, не в состоянии уже выступить на ее защиту. К тому же экономический кризис, давший толчок к февральской революции, уже прошел. Началась новая полоса торгово-промышленного оживления, и буржуазия ничего другого и не требовала, как установления полного «порядка», прекращения всякого брожения и волнений в стране, установления «твердой власти». Луи Бонапарт прекрасно учел положение. 2 декабря 1851 года он с помощью войск и полиции, при полном сочувствии буржуазии, совершил государственный переворот, разогнал Национальное Собрание и арестовал часть депутатов. При этом хитрый демагог, объявивший Париж и 10 примыкавших к нему департаментов на осадном положении, вместе с тем восстановил всеобщее избирательное право, отмененное Законодательным Собранием. Ни один класс общества не выступил в защиту буржуазной республики. Рабочие, лишенные своих вождей и своей организации, терроризированные колоссальным аппаратом, развернутым заговорщиками, разочаровавшиеся в буржуазной республике, остались глухи ко всем призывам. Буржуазия, раздавившая рабочих и мещан с помощью сабли, сама была наказана этой саблей, которую она сделала господином общества.

2 декабря 1851 г. республика перестала существовать фактически, а через год Луи Бонапарт объявлен был императором под именем Наполеона III. Вся европейская реакция радостно приветствовала очередное «спасение общества», установление «порядка», а биржа реагировала на государственный переворот Луи Бонапарта повышением курса.

V.

Так кончилась революция 1848 года. В отличие от первой французской революции конца XVIII века, когда на политической арене менее решительные партии одна за другой уступали место более революционным, революция 1848 года шла прямо противо-

положным путем. Здесь более революционная партия каждый раз сменялась более реакционной. Социалистический пролетариат скоро был оттерт на задний план Временным Правительством, в котором были еще довольно сильно представлены буржуазные радикалы. В Учредительном Собрании господствовали уже более умеренные трехцветные республиканцы; которые в свою очередь вскоре должны были уступить место партии «порядка», также отступившей затем перед военной диктатурой в лице Луи Бонапарта. Сначала был разгромлен рабочий класс. Затем та же участь постигла радикальную мелкую буржуазию. Наконец, была разбита либеральная буржуазия— и революция закончилась восстановлением монархии.

Иначе и быть не могло. Первая французская революция, называемая «великой», происходила в такой обстановке, когда буржуазия была более уверена в своих силах. Во время революции 1848 г. на историческую арену выступил рабочий класс, который, хотя и в смутной форме, поставил вопрос об уничтожении буржуазного общества как такового, об устранении самых его основ, о замене его таким режимом, при котором не будет эксплоатации человека человеком. Это превращало буржуазию в силу консервативную и реакционную. Теперь ее главное внимание и главная энергия направлены были уже не вперед, а назад. Для сохранения своего положения, для недопущения социальной революции она готова была на всякую реакцию, на всякий союз с силами старого общества против рабочего класса. Последний в этот период не имел еще достаточно сил для проведения своей программы, да он и не имел определенной политической программы. С своими классовыми требованиями он был еще изолирован, и буржуазия сумела сгруппировать вокруг себя и противопоставить пролетариату все классы общества, обрекая его этим на неминуемое поражение. При таких условиях обострение классовой борьбы, вызванной самостоятельным выступлением пролетариата, не могло закончиться ничем иным, как установлением тирании в лице Наполеона III.

Но вместе с тем *самое поражение пролетариата в 1848 году сыграло огромную историческую роль.* Впервые перед лицом всего мира на открытой политической арене были подвергнуты практическому испытанию все старые демократические иллюзии, еще господствовавшие в умах рабочего класса. Формальные свободы, всеобщее избирательное право, демократическая республика,—все это показало себя на деле, в обстановке классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией, при режиме господства капитала. Физически пролетариат потерпел тяжелое поражение, но духовно он освободился. Буржуазия после июньских дней торже-

ствовала, что коммунизм уничтожен навсегда. На самом деле с этого момента начинается его исторический успех, его проникновение в широкие массы. Июньские дни были первым грандиозным выступлением пролетариата. Но это был только первый шаг, начало широчайшего исторического движения, которое с тех пор только начало расти и принимать конкретные очертания и которое до сих пор не сказало еще своего последнего слова. Не подлежит сомнению, что создание I-го Интернационала сделалось возможным только в результате опыта революции 1848 года, в результате учета имевших тогда место событий—в особенности июньского восстания парижских рабочих. И в этом смысле можно сказать, что современное международное движение пролетариата, направленное к уничтожению буржуазии, началось со времени июньских дней, со времени революции 1848 года.

М. ПОКРОВСКИЙ

ЛАМАРТИН, КАВЕНЬЯК и НИКОЛАЙ I

(Страничка из истории февральской республики 1848 г.)

Февральская революция 1848 года была первой пролетарской революцией в истории мира. Для периода с 4 мая по 25 июня это признано давно: Маркс сразу определил этот период, как эпоху «борьбы всех классов против пролетариата» [1]). Предыдущий период—от 24 февраля по 4 мая—он характеризовал, как «всеобщее братанье»: можно подумать, что и Маркса обманула сентиментальная фразеология Ламартина. Но конкретное изображение этого периода в «Классовой борьбе» не оставляет тени сомнения, что классовый пролетарский характер и этого периода был для Маркса совершенно ясен. «Если Париж, благодаря политической централизации, господствует над Францией, то рабочие, в моменты революционных потрясений, господствуют над Парижем», говорит он там. И дальше он показывает, как рабочие заставили буржуазию провозгласить республику и как они же вынудили эту буржуазную республику принять на время социалистическую защитную окраску. «Подобно тому, как июльская монархия принуждена была объявить себя монархией, обставленной республиканскими учреждениями, февральская республика принуждена была объявить себя республикой, обставленной социальными учреждениями. Парижский пролетариат добился и этой уступки».

Аналогия с нашей февральской революцией 1917 года бьет в глаза. Поставьте на место Милюкова и Керенского Ламартина — со своей глубокой и прочной буржуазной подоплекой и своим неиссякаемым красноречием он счастливо объединял в своей особе обе эти фигуры, — на место Корнилова Кавеньяка: вы получите почти фотографию. Только финал был другой. Французский пролетариат был лишен всякой организации и пал в июньские дни под натиском организованной буржуазии. Русский имел прочную классовую партию, с полутора десятками лет революционного опыта, и его роль не оборвалась июльскими днями 1917 года. И он добился не только того, что буржуазия приняла на время защитный социалистический цвет, но и того, что этот маскарадный, в глазах

---

[1]) «18 брюмера».

буржуазии, костюм превратился в повседневное одеяние созданной пролетариатом республики на долгие годы.

В этом ином финале—глубокая социологическая разница двух пролетарских революций на разных ступенях экономического развития. Но их идеология должна содержать в себе много сходных черт, и притом у обеих борющихся сторон—и у пролетариата, и у буржуазии. Идеологией парижского пролетариата займутся другие товарищи: на мою долю выпадает менее благодарная роль осветить политическое миросозерцание французской буржуазии тех дней. Сходство с нашим февралем и тут доходит до фотографичности. И там, и тут возникшее из революции «республиканское» правительство ни о чем так не хлопотало, как о сохранении «традиций» только что низвергнутой монархии. И там, и тут победитель пролетариат, перед которым публично распинались в высокопарных речах, был предметом ужаса и ненависти в четырех стенах министерских кабинетов. И там, и тут заговор против пролетариата начал ткаться с той же самой минуты, когда рабочий класс имел наивность отдать руководство судьбами страны в руки буржуазных лидеров.

Имеющийся в нашем распоряжении материал, освещающий психологию этих последних, может показаться односторонним. Он дает всю картину под определенным углом зрения—углом зрения внешней политики Франции 1848 года. Но это по существу лишь фиксирует наш наблюдательный аппарат. На самом деле с этого угла видна вся картина. Отделить внешнюю политику Ламартина от его борьбы с французским пролетариатом так же невозможно, как рассматривать «ноты» г. Милюкова вне связи с его классовой позицией. Что же касается Кавеньяка, то его внешняя политика до некоторой степени прямо вытекала из его июньской победы над парижскими рабочими. Эта победа определила круг его друзей вне Франции. Мы увидим далее необычайно пикантные совпадения в этой плоскости политики «непреклонного» республиканского генерала и его противника, принца Луи Наполеона Бонапарта. Один прочищал дорогу другому, сам не подозревая этого, конечно. Если бы Корнилов победил у нас, у него на другой же день установились бы такие же отношения с Дмитрием Павловичем, Кириллом или каким-нибудь иным из Романовых. И с таким же точно исходом в случае разгрома пролетарской революции. Фактически России приходилось выбирать между коммунизмом и монархией: сейчас едва ли могут быть какие-нибудь на этот счет сомнения.

Два слова относительно самого материала. Он складывается из двух частей: донесений тайного агента русского правительства

Якова Толстого III Отделению, с одной стороны, и переписки российского поверенного в делах Киселева со своим петербургским центром, с другой. В нижеследующем очерке использована, главным образом, вторая. Для характеристики правящих кругов февральской республики она является основным источником. Киселев соприкасался с этими кругами непосредственно, и подробные отчеты о его беседах с Ламартином, Кавеньяком и министром иностранных дел последнего Бастидом содержат о себе места, несравненные по своей выразительности. Что касается агента III Отделения, то он вращался в соответствующем ему кругу, в министерские кабинеты его не пускали, но зато с ним говорили о вещах, о которых с дипломатом говорить не станут, и, кроме того, он лучше видел улицу, чем невысовывавший носа из русского посольства Киселев. Донесения Толстого ярче, колоритнее, это своего рода «записки очевидца» о февральской революции, их стоит напечатать целиком, что Центрархив, конечно, и сделает, но политическая их значимость куда ниже бумаг Киселева. Толстого мы используем, таким образом, лишь эпизодически: в одном месте он чрезвычайно интересен. Киселев дает главный фактический материал для последующего изложения, и тут приходится очень пожалеть, что материал этот не совсем полон. Кое-каких документов, притом чрезвычайно важных—как, например, одно из писем Николая I Кавеньяку—у нас нет. Куда они девались, неизвестно,—вполне допустимо, что черновик письма Николая к Кавеньяку был попросту уничтожен—только в соответствующих делах Государственного Архива их не оказалось. Тем не менее и того, что осталось, достаточно, чтобы бросить на франко-русские отношения 1848 г. новый свет.

Совсем новым он не будет—легенда о «непримиримом» отношении Николая I к февральской революции и созданной ею республике начала разваливаться уже довольно давно. Уже в книге Ба о происхождении Крымской войны [1]), вышедшей в Париже в 1912 году, затрагиваются в общих чертах факты, излагаемые в дальнейшем: но французский историк, по понятным соображениям, был весьма «скромен» в своих разоблачениях, это во-первых, а во вторых, он старался облагородить позицию февральского правительства, перенеся инициативу противоестественного сближения воплощения самодержавного деспотизма с почти социалистической республикой на Николая. Поправку в это внесла уже довольно давно опубликованная переписка Нессельроде с русским послом в Берлине, Мейендорфом. «Ламартин делает нам большие авансы и

[1]) Edm. Bapst. «Les origines de la guerre de Crimée».

здесь их не отвергают», писал канцлер Николая I Мейендорфу 8 мая ст. ст. 1848 г. Мы увидим, что это очень точное и быстрое отражение одного из донесений Киселева, которое должно было прийти в Петербург как раз около этой даты, и что русский министр иностранных дел в этом совершенно частном письме не исказил истины.

А теперь перейдем к самим донесениям. Стоит несколькими выдержками напомнить пролог начинавшейся мировой драмы. Уже 7/19 января, более чем за месяц до начала уличной борьбы в Париже, Киселев сообщает Нессельроде, что «Г. Тьеру (вождь оппозиции в палате Луи Филиппа, тогдашний Милюков) приписывают слова, обнаруживающие его решимость ни перед чем не останавливаться, чтобы причинить правительству столько вреда, сколько он может, и не отступать даже перед мыслью вызвать, как он говорит, революцию 1848 года». Как антантовским дипломатам в Петрограде, перед февралем 1917 года, государственная дума и Милюков, так и дипломатам января 1848 г. Тьер и парламент казались пупом земли, откуда только и может выйти революция. Но дипломаты 1848 года были несколько проницательнее своих потомков 1917-го, и сквозь парламентские дебаты они уже видели грозную тень «могильщика буржуазии». Две недели спустя (донесение от 24 января—5 февраля), описывая, как «твердое» поведение консервативного большинства парламента в прениях об адресе королю разбило все надежды оппозиции, Киселев заключает: «поддержка, которую они (консерваторы) оказали правительству, была, в сущности, ответом на манифестации и речи тех, кто хотел бы вернуть страну ко временам самых ужасных и самых ненавистных деяний Конвента, приспособив (тактику Конвента) к теперешним идеям коммунизма и других разрушительных сект». Так грозно звучало слово в ушах буржуазии уже 75 лет назад!

Но у «на заставах команду имеющих» было наготове успокоение для пугливых. Уходила у него душа в пятки или нет, наружно правительство Гизо обнаруживало полнейшую уверенность. «Говоря о внутренних делах», передает Киселев свою беседу с Гизо 2/14 февраля (к дипломатическому содержанию этой беседы нам еще придется вернуться), «председатель совета министров не казался серьезно обеспокоенным той агитацией, которую продолжает развивать оппозиция». А у министра внутренних дел графа Дюшателя, совсем как у нашего Протопопова, был даже свой, абсолютно надежный, план подавления беспорядков, на случай если бы они возникли. «Гр. Дюшатель сказал мне», пишет в том же донесении Киселев, «что с существующей системой подавления беспорядков

в столице не приходится опасаться за спокойствие последней и что превосходный план расположения войск, выработанный для подобных случаев, он со своей стороны дополнил новой полезной мерой предосторожности, состоящей в том, что во всех казармах столицы имеется запас продовольствия на три дня». Гр. Дюшатель вспомнил, очевидно, что в июльскую революцию войска голодали, и, со всею наивностью «делового человека» считая это главным условием успеха инсургентов, он решил радикально устранить эту коренную причину неустойчивости французских правительств, снабдив охраняющую порядок силу трехдневным рационом. Что революция может продолжаться дольше трех дней, ему не приходило в голову.

«Превосходный план» графа Дюшателя дождался проверки очень скоро. Уже в постскриптуме донесения от 10/22 февраля мы читаем: «5 часов (пополудни). Мятежниками было построено несколько баррикад, взятых войсками. Кавалерия произвела несколько атак, были раненые»... А ровно три дня спустя его министр читал в шифрованной депеше от 13/25 (дипломатический курьер уже не мог проехать): «Со вчерашнего дня королевская власть не существует более во Франции... В эту минуту у всех одно опасение: как бы коммунизм не оказался сильнее республики»...

Несмотря на то, что республика, являющаяся гарантией от коммунизма, повидимому, имела все признаки благонадежности, Киселеву и в голову не пришло в первую минуту, что он мог бы остаться в Париже, если бы гарантия оказалась действительной. Уехать тотчас же ему помешало только то, что поезда железной дороги перестали ходить. Эта маленькая причина имела огромные следствия. Может быть, все нижеследующее не имело бы места, если бы 26 февраля 1848 г. по новому стилю хотя один французский машинист стал к рычагу. Но так как железнодорожные рабочие вместе со всеми остальными праздновали победу пролетариата, у Киселева оказалось несколько дней досуга и размышления. Он, правда, немного потрухивал при мысли, что с ним сделает Николай, узнавши о пребывании своего посланника в городе, над которым только что не развевалось красное знамя коммунизма. Но он быстро находил утешение. Во-первых, не пешком же ему было бежать? Это опять и Николай счел бы слишком большим нарушением достоинства российской дипломатии. А во-вторых, чем больше он присматривался к «красному призраку», тем больше он убеждался, во-первых, что это, действительно, призрак, то-есть вещь материально неопасная—пока она не нашла себе воплощения, но

крайней мере. А во-вторых, что и зловещий цвет его в значительной степени есть обман зрения. С каждым часом красный цвет бледнел, и из-за призрака выступала вполне респектабельная фигура Ламартина, сиявшая тремя цветами, которые, правда, когда-то тоже символизировали революцию, но так давно, что все об этом позабыли.

Еще 26-го февраля Киселев выражал твердую надежду уехать, как только засвистит первый локомотив, а 27-го он уже мог переслать своему правительству экземпляр знаменитого циркуляра Ламартина, за собственноручной подписью нового министра иностранных дел Франции, где говорилось, что «республиканская форма правления не изменила ни места Франции в Европе, ни ее честного и искреннего намерения поддерживать добрые отношения с державами, которые, как она сама, желают независимости народов и мира вселенной». А так как упоминание о «независимости народов» могло вызвать морщины на челе Николая Павловича, то, как бы нарочно для него, циркуляр дальше, уже не касаясь этой щекотливой темы, подтверждал, что «принцип мира и принцип свободы родились во Франции в один и тот же день»,—что новорожденная французская свобода совсем ручная и отнюдь не кусается.

Когда Киселев прочел этот циркуляр, ему сразу показалось, что вокруг него стало светлее. «Париж принимает понемногу более спокойный и приличный вид», писал он, пересылая бумагу Ламартина по начальству. А в шифрованной депеше, отправленной на другой день, 28-го, звучат уже совсем твердые ноты—очень дипломатически вставленные после воспоминания об «отвратительнейшей анархии», сценою которой только что была французская столица. «Доставив победу трехцветному знамени над красным, Ламартин сумел устранить ужасы 1793 года и дать перевес идеям 1789-го», писал Киселев. Можно было, правда, опасаться, что Николай и к этим последним идеям не питает особых симпатий, но тут ему напоминалось, что, ведь, в составе временного правительства не один Ламартин, что там имеются еще Ледрю-Роллен, Флокон и Луи Блан, которые «толкали временное правительство к крайним коммунистическим мерам. Ламартин имел счастье взять верх над ними и тем спасти Париж от самых ужасных эксцессов». Так что и за идеи 1789 года еще нужно было быть благодарным.

Попавший неожиданно в коммунисты мелко-буржуазный демократ Ледрю-Роллен ясно показывает, что от Киселева не следует ожидать программной четкости—он же не публицист и не историк, а чиновник русского министерства иностранных дел, да еще 1840-х годов. Но суть дела он схватил вполне четко. Названные им три

имени стояли, действительно, во главе всех революционных списков, а Ламартин воплощал реакцию—Киселев так и говорит «une réaction» [1]) — «вдохновляемую охранительными чувствами» «всего зажиточного населения». И естественно, что раз глава буржуазной реакции, хотя временно, взял верх, Киселев видел все меньше и меньше мотивов бежать из столицы новой республики. 26-го отъезд казался ему делом само собою разумеющимся, 28-го он уже собирается ожидать на этот счет «приказаний императора», ссылаясь на пример своих коллег, которые все выжидают распоряжений своих правительств, английский же посланник лорд Норменби даже получил уже приказание оставаться в Париже.

Тонкий нюх николаевского дипломата—Киселев, несомненно, был хорошим образчиком этой школы—подсказывал уже ему, что в новорожденной республике он найдет собеседников, пожалуй, не менее респектабельных, чем только что павший Гизо—под конец своей политической карьеры сделавшийся в «Священном Союзе» совсем своим человеком и выступавший против швейцарской демократии под ручку с Николаем и Меттернихом [2]). Не решаясь еще самостоятельно завязать сношения с явно симпатичным ему Ламартином—на эту дерзость его подвинули только уже совершенно исключительные обстоятельства—он начинает нащупывать почву через Норменби, уже имевшего от своего правительства санкцию на разговоры со спасителем Франции от ужасов 1793 года. Английский посланник своими наблюдениями мог только укрепить чувства, зарождавшиеся у его русского коллеги. Он добился от Ламартина некоторых уточняющих, но по обстоятельствам времени не могших быть опубликованными—разъяснений насчет «мира и свободы». Под «миром» Ламартин, оказывается, понимал «уважение существующих трактатов». Но при настоящем положении умов было бы невозможно прямо упомянуть об этих трактатах. Нельзя было яснее дать понять, что речь идет о знаменитых венских трактатах 1815 года, легших в основу реакционной системы «Священного Союза» и лишивших Францию всех внешних завоеваний первой революции. Начать говорить о них в эту минуту величайшего народного возбуждения было бы, конечно, величайшей бестактностью: но под шумок Ламартин давал обещание и их свято соблюдать. Больше того: он обещал, что Франция не вмешается в дела ни одной страны «иначе, как по требованию ее государя или

[1]) Навряд ли нужно напоминать читателю, что вся переписка русского министерства иностранных дел велась тогда на французском языке. Глава ведомства Нессельроде *едва ли* даже свободно объяснялся по-русски.

[2]) См. донесение Киселева от 2—14 февраля 1848 г.

правительства, подвергшихся нападению извне»—иными словами, никогда не вмешается в пользу революции, а лишь в порядке обычной системы союзов и договоров между отдельными странами. А так как нападать специально на Австрию казалось профессиональным занятием революционной Франции, то на этот счет делалась нарочитая оговорка, что и на Австрию не нападут, ежели она сама не атакует одного из итальянских государств—другими словами, и тут Франция вмешивалась лишь в случае «нарушения равновесия» на Аппенинском полуострове. Эти разъяснения нашел успокоительными не только Норменби, но и австрийский посланник Аппоньи: не мог же Киселев быть более австрийцем, чем сама Австрия?

Все эти депеши шли из Парижа в Петербург медленным и кружным путем—железные дороги все еще, как следует, не работали: только что цитированная, помеченная 17 февраля, старого стиля, была получена в Петербурге лишь 27-го. А события летели на курьерских. В министерстве иностранных дел лишь к 3 марта старого стиля составили для Киселева инструкцию в духе его первоначальных намерений—разрыва официальных сношений со взбунтовавшейся Францией и отъезда из Парижа. Николай написал на проекте инструкции «быть по сему», а история, в эту самую минуту, наложила свою «высочайшую резолюцию» на совсем другом проекте. 13 марта пал старый режим в Вене, а 18-го восстал Берлин. Огненный пояс отделил николаевскую Россию от только что начавшей «приходить в порядок» Франции.

Пока ездили его депеши и ответы на них из Петербурга, Киселев коротал время, наблюдая за действиями оживившейся польской эмиграции. Ламартин и тут произвел на него удовлетворительное впечатление: отказался принять Ворцеля, главу польских демократов, и сумел сказать польской депутации такую речь, что его нельзя было поймать ни на малейшем конкретном обещании. Но сравнительно с тем, что надвигалось, это были мелочи. 13—25 марта Балабин [1]) привез, наконец, в Париж инструкцию от 3 марта ст. ст., но привез одновременно и подхваченные им по пути новости о революции в Вене и в Берлине. Киселев был в жестоком затруднении. Теперь он имел то «распоряжение своего правительства», отсутствие которого служило для него предлогом отсрочить отъезд. Но оно успело стать явным анахронизмом. Во-первых, куда ехать? Если французские железные дороги теперь уже возили, то

---

1) Едва ли не этот дипломат изображен Толстым в «Войне и Мире» под именем «Билибина».

перестали возить немецкие. Инструкция предписывала ему отправиться в Ахен: это значило из огня, да в полымя, от только что разобранных баррикад к только что начавшим строиться. А затем, «верхнее чутье», и тут не изменявшее Киселеву, подсказывало ему, что вся европейская ситуация стала совсем иною.

Три дня продолжались его колебания. На четвертый он решил. «Готовясь к отъезду», писал он Нессельроде шифром от 17—29 марта (курьеров опять нельзя было посылать—дорога на Берлин была закрыта), «я должен предвидеть случай, что ваше сиятельство пожелаете прислать мне новые распоряжения, узнав о печальных событиях в Вене и в Берлине—до основания разрушивших политическую систему Европы. Австрия разлагается и, так сказать, исчезает для нас. Пруссия уже не существует более, как консервативная держава, союзница России». Дальше Киселев идет еще по привычной колее—польская опасность для него пока еще на первом плане. Союз революционной Германии с поляками кажется ему в высшей степени вероятной вещью, и если мы будем иметь неосторожность порвать в эту минуту с Францией, поляки окажутся подкрепленными могущественной поддержкой почти всей континентальной Европы. Надо расстроить этот блок и вырвать из-под «польской крамолы», по крайней мере, половину фундамента. Поведение Ламартина в польском вопросе ручалось за полную возможность этого. Но для этого прежде всего нужно было не провоцировать общественного мнения Франции разрывом,—при чем Россия оставалась бы теперь в этом вопросе совершенно одинокой,—а остаться в Париже, хотя бы «частным образом». Видя, что посольство остается на своем месте, публика не имела бы оснований беспокоиться. «Отправлюсь ли я двадцатью днями позже или раньше», оправдывал себя Киселев, «принципиальная сторона моего отъезда от этого не изменится: но я уеду, уже зная наверное, что императорское правительство, взвесив все обстоятельства, на этом настаивает.»

Только 27 марта ст. ст., через двенадцать дней, из Петербурга пошла депеша, одобрявшая самочинное решение Киселева: уже за два дня до этого, 25-го ст. ст. и эта депеша совершенно устарела, ибо Киселев сделал следующий шаг, логически вытекавший из его первого самовольного поступка. Оставаться в Париже на положении совершенно «частного лица»—в ожидании, пока через 20 дней новые инструкции придадут этому факту, по крайней мере, официозность, если не официальность—и сидеть все это время безвыходно в своей «частной» квартире—было столь же нелепо, как и уезжать. Киселев ухватился за букву инструкции, дух которой он

решил игнорировать. Инструкция предусматривала, как предварительный к отъезду момент, визит русского поверенного в делах к Ламартину, чтобы прочесть последнему письмо императора, отзывавшее посольство из Парижа. Киселев и отправился, под этим предлогом, во французское министерство иностранных дел, но, конечно, не с тем, чтобы читать «отзывное» письмо: все то, что говорило об отъезде посольства, Киселев пропустил, прочтя Ламартину лишь те строки, где Николай (или писавший от его имени Нессельроде) заверял насчет отсутствия у него какого бы то ни было желания вмешиваться во внутренние дела Франции. Вместо прощального визита, получился, таким образом, визит для первого знакомства, а письмо, долженствовавшее положить раз навсегда конец отношениям между Россией и февральской республикой, превращалось в предлог—завязать такие отношения. Пока Киселев не имел из Петербурга никаких новых распоряжений, это было, конечно, новое самовольство. Но дух революции проникал даже в николаевских дипломатов. Никогда в нормальное время Киселев не решился бы на такой поступок, как начало «фактических» сношений с революционным правительством, вопреки формальному предписанию Петербурга. Но теперь вся система европейской политики была «разрушена до основания». Снявши голову, по волосам не плачут...

Немецкая пословица, что «смелое решение—половина удачи» [1]) оправдалась самым точным образом. То, что Киселев мог сообщить Нессельроде и Николаю после своей беседы с главой временного революционного правительства Франции, почти могло служить утешением в падении Меттерниха и на добрых три четверти обезвреживало конституцию, дарованную своему народу Фридрихом Вильгельмом IV

Ламартин встретил русского дипломата «самым любезным образом» — настолько любезным, что Киселев почувствовал необходимость извиниться, что до сих пор не побывал. Он сослался на трудность сношений со своим правительством—так что сообщать пока нечего было—и на нежелание отнимать у Ламартина драгоценное время для разговоров, не имеющих серьезного значения. После этого обмена любезностями прочитан был тот кусочек письма Николая, которого пока не упразднили ни берлинская, ни венская революции. В ответ на мирные заявления царя относительно Франции, Ламартин начал долго распространяться о своих собственных мирных намерениях, особенно стараясь снять с себя подозрение,

[1]) Frisch gewagt ist halb gewonnen.

что он в чем бы то ни было мирволит полякам. Он явно хвастался бессодержательностью своей речи перед польской депутацией и давал понять, что говорить так, в такой момент, требовало от него «некоторого мужества». Это значило бравировать общественным мнением Франции. Впрочем, добавлял он, симпатии французов к полякам довольно «искусственные» (factices). И если полякам не мешали уезжать на восток, то, ведь, надо же было как-нибудь избавиться от этих беспокойных людей.

Если бы Киселев ничего не услыхал от Ламартина, кроме этого, он мог бы сказать, что ходил в министерство иностранных дел не вовсе даром—но и только. Основываясь на этом, можно было бы потребовать от французской полиции несколько более активного надзора за польскими эмигрантами, что, конечно, лишь в малой степени вознаграждало за сокрушение всей политической системы Европы. Но Ламартин, по собственной, притом, инициативе, пошел гораздо дальше неопределенных мирных заверений и словесной выдачи поляков.

«За время моей дипломатической карьеры», продолжал он, «я часто думал и пришел к заключению, что самый естественный для Франции союз—это союз с Россией. Если бы польский вопрос не завоевал себе у нас несколько искусственных симпатий, которые поддерживались дурными отношениями между правительствами» (Ламартин намекал здесь на всем известную антипатию Николая I к Луи-Филиппу), «этот союз давно бы реализовался к выгоде обоих народов, которые, может быть, по духу более родственны между собою, нежели какие бы то ни было другие. Все это только дело времени и благоприятных обстоятельств». При этом, добавляет Киселев, Ламартин высказывал бо́льшое доверие к мудрости и могуществу его величества императора.

А затем, как бы предчувствуя у собеседника некоторые сомнения, если не насчет мудрости, то насчет могущества французского временного правительства, неожиданный почитатель Николая Павловича перешел к внутреннему положению Франции. Тут он явно хотел быть объективным. «Он признал», пишет Киселев, «что мы находимся теперь в том промежутке безвластия, какой всегда бывает, когда одно правительство пало, а другое еще только устраивается. Но он прибавил, что население обнаруживает такой здравый смысл, такое уважение к семье и к собственности, что порядок держится в Париже силою вещей и настроением массы, и теперь самая трудная и опасная эпоха уже позади». Тем не менее, так как «настроение масс» есть само по себе вещь колеблющаяся, то временное правительство не забывало и более материальных факторов. «Через

восемь или десять дней будет организована национальная гвардия, силою в двести тысяч человек», продолжал Ламартин, «сверх того имеются пятнадцать тысяч мобилей, настроение которых превосходно, и двадцать тысяч линейных войск, которые окружают уже Париж и которые должны туда войти». Тут необходимо на секунду остановиться. Как известно, предлогом для возвращения в Париж войск, удаленных оттуда после февраля, была рабочая демонстрация 16 апреля,—а разговор Ламартина с Киселевым происходил 6-го. Как гениально угадал Маркс (в «Борьбе классов»), что демонстрация была грубо спровоцирована с исключительной целью вернуть в столицу наиболее «надежную» часть «силы порядка» (force publique)!

Но будем продолжать. «Эти массы», говорил Ламартин — т.-е. буржуазная национальная гвардия, мобили и линейные войска — «без труда смогут сдержать клубных фанатиков, опирающихся на несколько тысяч негодяев и уголовных элементов (!), и помешать им предаться эксцессам, если бы у них явилось к тому искушение». Тут министр иностранных дел впал в столь свойственное ему сантиментальное настроение и заранее пролил слезу о тех из членов этого правительства, которые, может быть, падут жертвой «фанатиков», вымещающих на отдельных лицах свое бессилие сделать что-либо против порядка. «Но», бодро заявлял Ламартин, «правительство, конечно, быстро восстановится после подобного преступления». Этот пассаж, видимо, показался комичным даже Киселеву, и конец его донесения проникнут тонкой иронией по адресу как оптимизма, так и сантиментальности его собеседника.

Но русский дипломат без труда отделил смешное от серьезного. Конечно, фигура Ламартина, падающего под кинжалом Бланки или Распайля, принадлежала к первому жанру. Но, во-первых, теперь уже не по догадкам и не с чужих слов Киселев знал, что в лице влиятельнейшего члена временного правительства перед ним, действительно, воплощение «силы порядка»—или буржуазной реакции, как выразились бы, точнее, «клубные фанатики». Выдать царскому послу с головой не только поляков, но все левое крыло революции, объявив его «уголовными элементами» (repris de justice), выдать на первой же беседе, дорвавшись поговорить по душе со «своим человеком», это кое-чего стоило. А еще больше стоило слово «союз», сказанное вполне твердо и определенно, в тот самый момент, когда Россия сразу лишалась двух традиционных союзников, меттерниховской Австрии и феодально-клерикальной Пруссии. На их месте грозно, казалось, вырастала демократическая Германия—и вот из-за Рейна тоже «демократическая» Франция неожиданно протя-

гивала Николаю братскую руку. К этому никакая дипломатическая ирония не могла помешать николаевскому посланнику отнестись серьезно—и 2/14 апреля Киселев спешит сообщить в Петербург точные сведения о численном составе и состоянии армии будущего союзника, опять опередив в этом Петербург, откуда только 6 апреля ст. ст. пошел запрос военного министра Чернышева в этом смысле, адресованный даже не Киселеву, которого считали уже уехавшим из Парижа, а русскому генеральному консулу Шпису.

Нужно прибавить, что все приятные вещи говорились Ламартином чисто «в кредит»—ибо на его тревожный вопрос, остается ли русское посольство в Париже, Киселев не мог еще ему ответить ничего определенного. Фактический глава французского правительства, предлагая Николаю союз, еще не знал, захочет ли Николай вообще-то с ним разговаривать? До такой степени французская реакция, очевидно, сама была встревожена тем, что началось в Германии,—до такой степени трехцветное знамя было испугано красным призраком, неожиданно поднявшимся по ту сторону Рейна. Ламартин хотел ковать железо, пока горячо. Едва до него дошло известие, что Киселеву разрешено остаться и «разговаривать» (тем временем демонстрация 16 апреля разыгралась, как по писаному—о ней Киселев подробно и в соответствующих выражениях рапортует в шифрованной депеше 5/17 апреля,—и войска были введены в Париж), как он чуть сам не побежал в русское посольство, и Киселев, избегая все же слишком явных знаков дружбы с властью, которая никак не была освящена никаким миропомазанием, должен был предупредить визит, отправившись к Ламартину сам за несколько часов ранее. Ламартин не стал скрывать, что он «спешит». Дипломатическое небо Европы почти совсем безоблачно, уверял он Киселева—есть только одна маленькая тучка: польский вопрос. Чтобы его уладить, необходимо послать в Петербург доверенное лицо—на выбор Николаю будет предложено 4 или 5 генералов (Ламартин настолько знал привычки своего будущего союзника, что понимал невозможность послать в Петербург «адвоката»), во главе которых, как сообщали Киселеву, будет поставлено имя Удино—будущего погромщика римской республики, одно из реакционнейших имен французской армии. В Петербурге были очень довольны этим предложением и поспешили известить, что Удино примут с распростертыми объятиями (депеша Киселеву от 1 мая ст. ст.). Но Ламартин не хотел ждать, пока кончится переписка насчет генерала, и торопился послать в Петербург своего друга дома, некоего д'Эгриньи, «который», спешил он уверить, «всего меньше революционер или хотя бы республиканец», но пользуется его, Ламартина,

полным доверием. Торопливость свою Ламартин объяснял тем, что 4 мая (а разговор происходил 27 апреля н. ст.) соберется Учредительное Собрание, и он, Ламартин, вместе со всем временным правительством должен будет сложить свои полномочия. Правда, этот перерыв рисовался ему непродолжительным — когда будет принята конституция и назначены президентские выборы, «на десять миллионов избирателей я получу, вероятно, 8 миллионов голосов». Но пока это случится, будет какой-то другой министр иностранных дел, неизвестно, столь же ли мудрый, как теперешний—и Ламартин хотел уладить все дело «при себе».

Эта поспешность окончательно дискредитировала персонально Ламартина в глазах Киселева—и он уже без стеснений говорит о «самодовольстве» и «легкомыслии» министра иностранных дел. Да и до созыва Учредительного Собрания оставалось так мало времени, что не было смысла себя связывать заранее: Ламартин был «сыгран»; но это вовсе не значило, что игра кончилась. Напротив, русско-французский союз, так неосторожно выболтанный первым ставленником буржуазной реакции, становился все нужнее и этой реакции и ее, в силу объективных условий, неожиданному другу—Николаю.

В Петербурге только 6 апреля ст. ст. нашли «случай» переслать Киселеву более подробную инструкцию для переговоров с Ламартином. Самовольство Киселева еще раз получило одобрение — и Нессельроде сразу же отбросил фиговый листок «польской интриги», якобы для отражения которой его парижский представитель себе это самовольство позволил. Дело ставилось гораздо шире, Николай и его канцлер отнюдь не хотели скрывать от своего агента, что союз с Францией им нужен против Германии—новой, красной Германии, которая блеском своих революционных цветов начинала затмевать уже значительно образумившуюся Францию.

«Предположим,—писал Нессельроде,—что Австрия, раздробленная, ослабевшая, перестанет занимать в Европе то место, которое ей принадлежало, что мы увидим на месте Германского Союза, такого, каким его создали трактаты, единую демократическую державу, имеющую все средства—и желание—создавать нам серьезные затруднения: тогда, конечно, непосредственная опасность нам будет грозить уже не со стороны Франции, и из подобного перемещения всех прежних позиций могла бы родиться та или другая комбинация, в которой внешнее давление Франции могло бы сыграть роль противовеса враждебным намерениям наших соседей». Канцлер солиднейшего в Европе государства не хотел только подражать легкомысленной поспешности «временного» правителя Франции. Припевом всей его инструкции является «не спешить». Все, ведь, это

еще в будущем. 6/18 апреля в Петербурге уже отлично видели, что до «единой демократической державы» между Одером и Рейном еще очень далеко, что пока что в Германии такая каша, лучше которой не придумал бы и покойный Германский Союз, а что с другой стороны, как продолжительно будет «время», которое история отведет Ламартину, никому неизвестно. Словом, в Петербурге были против формального союза тотчас же, тем более, что это предполагало немедленное признание республиканского правительства, а с этим скабрезным шагом Николай намерен был торопиться всего менее. «Мы не решаем вопроса сразу, — писал Нессельроде, — он остается пока открытым, и будет урегулирован позже, сообразно с интересами и обстоятельствами». Пока что, Киселев уполномачивался оставаться в Париже и заявить Ламартину, что формальное признание и вопрос о формальном союзе откладывается до окончания работ Учредительного Собрания, которое должно определить будущую политическую форму Франции. Неформальные же разговоры нужно было продолжать в духе инструкции, т.-е. в направлении будущего русско-французского союза против Германии. Только памятуя воинственность французов и мечтания о рейнской границе. Николай (инструкция, конечно, носила на себе сакраментальное «быть по сему») подчеркивал свое «искреннее желание оставаться в мире со всей вселенной». На поддержку наступательной войны Франции против Германии предлагалось пока не рассчитывать.

Конкретным результатом всей истории было, уже нами упоминавшееся, желание Петербурга видеть генерала Удино—дабы убедиться воочию, что черносотенные традиции французской армии и после февраля стоят твердо. Затем в наших документах ряд пробелов, очень досадных для чисто дипломатической истории момента. Удино в Петербург не поехал—почему, неизвестно. Переговоры с Ламартином порвались по вполне понятной причине: он, как и предвидел сам, перестал быть министром иностранных дел—и должен был терпеливо дожидаться выборов президента, оттянувшихся до конца года,—как известно, горько разочаровав французского Керенского: он не получил на этих выборах не только восьми, а даже и одного миллиона голосов. Словом, исчезновение со сцены Ламартина понятно безо всяких документов. Если же брать не дипломатическую нить событий, а их внутреннюю политическую связь, то, собственно, пробела нет: следующая страница того, что до нас дошло, открывается новым, и более ярким, этапом по пути сближения французской реакции и царизма.

Помимо личных, могли быть и более общие причины времен-

ного разрыва переговоров. В Петербурге знали о демонстрации 15 мая—очень яркое описание ее III Отделение получило от Якова Толстого — по донесениям того же Толстого там могли изо дня в день слѣдить за подготовкой июньских дней, и самые эти дни дали еще одну яркую страницу в писаниях «собственного корреспондента» николаевской тайной полиции. Но, как никак, «порядок» торжествовал—и Николай счел на этот раз нужным по собственной инициативе поднять оборвавшуюся нить. Февральская республика «оправдала себя», и ее нужно было приласкать.

13 июля ст. ст. из Петербурга отправился к Киселеву документ, который не приходится назвать иначе, как благодарственным рескриптом российского императора «республиканскому генералу» за расстрел парижских рабочих. Пролив слезу над «сценами резни, окровавившей Париж», Николай (на проекте депеш стоит надпись: «подписано в Петергофе 13 июля 1848») со вздохом облегчения констатирует, что «анархия побеждена в этой внутренней борьбе». «Столь дорого купленной победой Париж и вся Франция спасены от огромноїі опасности, которой им угрожало торжество разрушительных учений коммунизма».

«Если при этом баррикады,—продолжал Николай,—были ниспровергнуты, Франция обязана этим мужественной энергии, развитой генералом Кавеньяком, который в своем патриотизме не поколебался принять на себя всю тяжесть ответственности за диктатуру, посреди бушевавшей со всех сторон стихии».

«Император искренно поздравляет его с победой, сто́ль славно им одержанной над анархической партией, сражавшейся с ожесточением, внушенным самыми извращенными страстями. В особенности как военный, император громко высказывает свое одобрение (applaudit hautement) великолепному поведению генерала Кавеньяка, его удачным распоряжениям и той блестящей храбрости, с которой они были выполнены».

Киселеву поручалось немедленно отправиться к главе исполнительной власти французской республики, и передать Кавеньяку все эти милостивые слова русского императора. Прием, который был оказан Кавеньяком милостивому рескрипту царя Николая, в свою очередь произвел в Петербурге наилучшее впечатление. Взаимное понимание устанавливалось даже лучше, чем это было с болтливым и суетившимся Ламартином. Кавеньяк внес в дело военную твердость и солидность: это был не болтун, а человек действия, как и полагается доброму реакционеру. На этой базе можно было строить: вот почему Нессельроде, в апреле советовавший «погодить» с Ламартином, продолжая вести неопределенные разго-

воры, в августе сам выступает со вполне определенными предложениями.

«Намерения, о которых он (ответ генерала Кавеньяка на «рескрипт») свидетельствует, нам показались тем более искренними»,— писал Нессельроде 18 августа ст. ст., «что мы вполне согласны с генералом, думая, как и он, что какова бы ни была разница принципов, на которых основаны общество и правительство во Франции и в России, тем не менее, на почве политики в чистом виде (pure et simple) никакой действительно серьезный интерес не разделяет оба государства».

Между тем в основе германской политики Николая теперь, когда прошла первая полоса страхов, вызванных венской и берлинской революциями, лежала именно «политика в чистом виде». То, что в первую минуту было реальным мотивом, образование на месте Германского Союза единой военной демократии, теперь стало дипломатическим аргументом, расчитанным преимущественно на то, чтобы заинтересовать в деле французов. Специально для последних Нессельроде рисует картину «возникновения в центре Европы сильной, компактной державы, не предусмотренной существующими трактатами, нации в 45 миллионов человек, повинующихся одной центральной воле», и проистекающего отсюда «нарушения всякого равновесия». Действительные же побуждения русского правительства были гораздо элементарнее. Перейдя к территориальным вопросам, депеша Нессельроде очень скоро упирается в «ссору, затеянную (пруссаками) с Данией из-за герцогства Шлезвигского». И, раз попав под перо, приблизительно в середине депеши, Шлезвиг уже не сходит с ее страниц до самого конца.

Тут, конечно, и была зарыта собака. Движение прусских войск к Ютландии было тем вполне конкретным моментом, который, уже с апреля, заставлял Николая рассматривать войну с Пруссией как, хотя и не близкую, но все-таки возможную [1]). Россия не могла допустить, чтобы проливы, связывающие Балтийское море с океаном, попали в руки Пруссии, да еще революционной. На этом пути Россия уже нашла союзника, весьма неожиданного для общей ситуации русской внешней политики 1840-х годов, но в данном пункте совершенно естественного, в лице Англии: ей тоже прусская блокада Балтики не могла улыбаться. Но для исключительно сухопутной державы, какой была тогда Пруссия (достаточно вспомнить, какое шутливое настроение вызывала у Гейне одна мысль о прус-

[1]) Весь этот эпизод детально освещен мною, по переписке Нессельроде с Мейендорфом, в моей статье „Россия и Пруссия накануне Крымской войны". См. сборник „Внешняя политика", стр. 94—97.

ском флоте), не так страшен был английский флот, как французская армия. Втянуть Францию в Шлезвигское дело было поэтому весьма стоящей задачей для русской дипломатии, — и поймав на удочку «всемилостивейшего рескрипта» победителя июньских баррикад, она шла к разрешению этой задачи весьма успешно. Правда, тут было не без формально-юридических затруднений—приходилось ссылаться на трактат 1720 года (!). Но восхождение к столь далеким «традициям» не устрашило Кавеньяка и его министра иностранных дел Бастида: Франция присоединилась к России и Швеции в деле гарантии Шлезвига за Данией.

Теперь рескрипт Николая начинает нам казаться не столь наивным документом, как в первую минуту. Июль месяц, когда Николай сделал этот приветственный жест главе исполнительной власти февральской республики, был критическим месяцем переговоров из-за Дании. Русский балтийский флот был уже под парусами. Нессельроде с тревогой ждал первых выстрелов. Тревога пока оказалась напрасной — в августе в Мальмё между Данией и Пруссией было заключено перемирие. Не отразились ли здесь, без сомнения, известные пруссакам русско-французские переговоры? Имеющиеся в нашем распоряжении документы ничего не дают на этот счет. Но одно ясно: перемирие не обещало быть прочным и не оказалось прочным в действительности. Война из-за Шлезвига возобновилась в следующем году. В предвидении этого нужно было подковаться на все четыре ноги и закрепить мимолетную симпатию чем-нибудь попрочнее.

Чем определялась русская политика, таким образом здесь ясно до дна. Какие мотивы руководили другой стороной? И тут, конечно, вне сомнения, была своя доля «политики в чистом виде». Франция была накануне разрыва с Австрией из-за итальянских дел. Аттитюда России в этом вопросе имела, конечно, капитальное значение для обеих сторон — австрофильские же симпатии Николая были хорошо известны. В ответ на дружескую услугу России в датском вопросе Бастид и пытался выторговать нечто для Франции в итальянских делах, но тут наткнулся на глухую стену. Выдавать Австрию Николай не был склонен никому и ни при каких условиях. Нессельроде прочитал французской дипломатии весьма ядовитую лекцию, где напоминал, что применение «принципа национальностей», к которому взывал Бастид, весьма неудобно для самой Франции, у которой ведь есть с одной стороны Корсика, с другой—Эльзас-Лотарингия [1]).

[1]) Депеша Нессельроде Киселеву от 6 сентября ст. ст.

К периоду переговоров из-за Италии и относится посылка в Петербург генерала Ле Фло, привезшего Николаю собственноручное письмо Кавеньяка, где последний призывал на русского царя благословение божие. Кроме этой приписки в письме нет ничего характерного, оно состоит из обычных банально-вежливых фраз, но одно желание, выскочившее в самом начале, освещает весь документ: «удовольствие», с которым Кавеньяк видит приближение дня, «когда между двумя правительствами установятся официальные и дружественные отношения».

«Дружба» Николая, гласно и открыто заявленная, была для Кавеньяка важнее всех материальных выгод, которые из этой дружбы мог извлечь Бастид для Италии. Правительство буржуазной реакции во Франции не чувствовало себя прочно в седле, пока на него не снизошло благословение вождя мировой реакции того времени. Яркий свет на это стремление Кавеньяка найти поддержку европейской реакции бросает один маленький эпизод, в двух словах рассказанный Киселевым.

«Полученное вчера известие о бегстве папы из Рима и о предстоящем прибытии его во Францию»,—доносил Киселев своему министру [1],—«исполнило радостью Кавеньяка и его товарищей, так как это событие избавляет их от трудностей военной экспедиции, которую они готовили для освобождения папы, и так как прибытие последнего раньше даже, чем они приступили к исполнению их плана, обеспечивает поддержку духовенством кандидатуры Кавеньяка, а тот факт, что Пий IX ищет убежища во Франции предпочтительно перед другими странами, дает большой мораальный престиж республике».

Увы! Голоса духовенства—и французского крестьянина—были уже обеспечены кандидату, которому не нужно было санкции ни Николая, ни даже папы, чтобы иметь «моральный престиж» среди наиболее темных и наиболее многочисленных слоев избирателей. Людовик Наполеон Бонапарт, который некоторым мужичкам казался прямо вернувшимся из изгнания императором, а другим—более просвещенным—сыном Наполеона I, заранее имел все крестьянские и поповские голоса. То, что известие о бегстве папы оказалось уткой, могло очень огорчить Кавеньяка, но объективно это не могло ни улучшить, ни ухудшить шансов его кандидатуры.

Поддерживая июньского героя, Николай, удачливый в дипломатических мелочах, делал крупный промах общеполитического характера. Неизвестно, знал ли Николай слово «идеология» так же

[1]) Шифрованная депеша от 20 ноября/2 декабря 1848 г.

хорошо, как, несомненно, знал он слово «коммунизм», но недостатком его политики была, несомненно, ее «идеологичность». Он не терпел Луи Филиппа за то, что тот был «незаконный» король, он одобрял Кавеньяка, который казался ему воплощением порядка. Бонапартов он не переносил, ибо они были упразднены трактатами. и появление их на политической сцене являлось фактом еще более нарушившим порядок, чем восшествие на престол Луи Филиппа. Что тут была узко-«юридическая», если можно так выразиться, ненависть к имени, а не к режиму, доказывает симпатия Николая к бонапартовским генералам; но когда в Париже явилась—мимолетная—мысль послать в Петербург одного из Бонапартов (Жерома Наполеона), вся любезность николаевской дипломатии исчезла, как по мановению ока, и в Париж полетел категорический отказ на предложение, которое, в сущности, почти и не было еще сделано. Кандидатом Николая на президентских выборах был, разумеется, Кавеньяк. Луи Наполеон в качестве президента был так же неприемлем, как и Ледрю-Роллен, и когда в Петербург стали доноситься слухи о больших шансах «племянника своего дяди», бедному Ле Фло приходилось с большим трудом рассеивать опасения Николая, уверяя его, что никак тому невозможно быть, чтобы выбрали Луи Бонапарта. Ибо он не мог не видеть, что только что наладившиеся «дружественные» и готовые наладиться «официальные» отношения моментально грозили опять разладиться.

Идеология заставила Николая поставить на плохую лошадь. И что всего досаднее—для Николая, разумеется,—налицо был букмэкер, усиленно навязывавший именно того скакуна, который должен был притти первым. Но идеология помешала с ним даже разговаривать.

Этим эпизодом, взятым уже не из дипломатической переписки а из секретных донесений Якова Толстого, мы и закончим наши беглые заметки.

«В моей последней депеше,—писал 19/31 октября 1848 года Яков Толстой на французском языке,—конечно, шпионы Николая, если они оперировали за границей, тоже обязаны были пользоваться дипломатическим диалектом,—я обращал внимание на многочисленные шансы Луи Бонапарта сделаться президентом республики. Это предвидение оправдывается все более и более с каждым днем, и сегодня относительно его успеха нет никаких сомнений. Одно особенное обстоятельство дало мне возможность собрать сведения насчет намерений принца Луи Наполеона в этом отношении. Один из моих английских друзей, м-р Форбс Кемпбелль, человек выдающегося ума, мой близкий приятель в течение уже нескольких

лет, приехал на три дня в Париж. Он сотрудничает в «Таймсе», «Морнинг Кроникль» и других газетах и имел случай оказать большие услуги Луи Бонапарту, когда тот жил в Англии. Он знаком также с г. Тьером, так как перевел на английский язык книгу Тьера о «Консульстве и Империи». В течение трех дней, которые г. Кемпбелль провел в Париже, 16/28, 17/29 и 18/30 октября, он каждое утро в 11 часов отправлялся к принцу Луи и оставался у него часа два; потом он отправлялся к г. Тьеру и совещался с ним несколько часов; остаток дня он проводил со мной, обедал у меня со мною вместе; таким путем я узнавал от него о политических разговорах, которые он имел в течение дня с этими двумя личностями. Я тщательно их запоминал и спешу воспроизвести ниже.

«Во-первых, г. Кемпбеллю, который является директором Колониального банка, повидимому, было поручено Луи Наполеоном вести переговоры о займе в 40 тысяч фунтов стерлингов. Принц изложил ему трудности своего положения, так как он должен бороться против партии Н а с и о н а л ь» (т.-е. Кавеньяка. М. П.), «редактора которого захватили все высшие места в республике, а также против красных республиканцев» (Ледрю - Роллен), «которые располагают огромными суммами (!) и делают все, что можно себе представить, чтобы помешать избранию Луи Бонапарта. Он очень боится, что до 10 декабря, дня, назначенного для выборов, его враги устроят восстание против его кандидатуры. Г. Кемпбелль должен был изложить ему все трудности заключения займа на лондонской бирже, где капиталисты дают деньги только под солидные гарантии, а не под авантюры (des éventualités). Сообщив мне об этих переговорах, он спросил меня, не было ли бы расположено русское правительство снабдить принца этой суммой, и не могу ли я его (Кемпбелля) связать с г. Киселевым? Я решительно восстал против этого предположения, обратив его внимание на то, что русское посольство никоим образом не может вмешиваться во внутренние дела Франции и помогать какой бы то ни было партийной интриге.

«После этого мне стало ясно, что г. Кемпбелль является некоторого рода эмиссаром принца Луи, и чтобы отвлечь его внимание и покончить этот разговор, я обратил все дело в шутку. Я спросил его, что же Луи Бонапарт мог бы дать России в обмен на миллион, который он у нее требует? «Все возможные уступки»,— с жаром ответил г. Кемпбелль.—«Россия может, таким образом, купить главу республики»?—спросил я.—«И всего только за миллион франков, что, разделенное на четыре года президентства, даст 250 тыс. в год: согласитесь, что это недорого!»—«Я вам гарантирую, что за

эту цену он будет в вашем полном распоряжении»,—ответил мой собеседникъ.—«Обяжется ли он, по крайней мере, употребить весь свой авторитет на то, чтобы очистить Францию от польских и русских эмигрантов»? «Я отвечаю, что он примет на этот счет формальное обязательство: так он находится в самом трудном положении, в каком человек может находиться; с деньгами он победитель, без денег он погиб; словом, это для него быть или не быть»!

В Петербурге, прочтя донесение Толстого, просто испугались. И так как Кемпбелль мог болтать о преступных покушениях принца Наполеона на русское казначейство еще кому-нибудь, и это могло дойти до слуха честного Кавеньяка в превратном виде, то Киселеву было предписано авансом категорически опровергнуть всякие слухи о какой бы то ни было материальной поддержке Россией принца Наполеона. Последний добыл деньги на избирательную агитацию у парижского банкира Фульда—всего уже только полмиллиона—под обещание сделать Фульда министром финансов, что и было исполнено честно—Фульд, действительно, стал министром президента Луи Наполеона Бонапарта...

За 250 тысяч рублей серебром—таков был тогда курс франка—Николай мог откупиться от Крымской войны... Так мог бы сказать человек, смотрящий на историю с точки зрения «носа Клеопатры»: а эту точку зрения, с большими оговорками, конечно, допускал даже Плеханов. Говоря же без шуток, Николай, конечно, пропустил великолепный случай посадить в февральскую республику «своего» президента. И пропустил явно потому, что был слишком принципиален. Кто бы мог это подумать?

Ф. РОТШТЕЙН

СОРОК ВОСЬМОЙ ГОД В АНГЛИИ

I.

Обстановка и течения.

В общей панораме революционного сорок восьмого года историки обычно отводят Англии весьма скромное, почти незаметное место. В этом году, говорят они, английские рабочие массы, страдавшие от жестокого промышленного кризиса, также заволновались; этим хотели воспользоваться чартисты, которые назначили на 10-е апреля массовую демонстрацию и собирались пойти к парламенту, но правительство приняло энергичные военные меры, и демонстрация плачевно провалилась, чем все и окончилось. Так в двух десятках строк излагаются события 48-го года в Англии даже в многотомных сочинениях, посвященных английской политической истории [1]).

На деле этот год в Англии отмечает один из крупнейших поворотных пунктов в ее истории, и обнимаемые им события сыграли колоссальную роль не только в ее собственной жизни, но и в развитии тех самых революций, которые дали 48-му году такое богатое содержание. Ибо если во Франции революция 48-го года отмечает рождение пролетариата как особого класса, сознавшего себя и противопоставившего себя буржуазии, если в Германии она вызвала к жизни точно так же осознавшую себя и противопоставившую себя помещичьему классу и абсолютистскому режиму буржуазию, то в Англии революционные события этого года знаменуют окончательную победу, после долгой и упорной борьбы, буржуазии над пролетариатом. Последствия этой победы не изжиты еще и поныне, спустя три четверти века, а в свое время она укрепила тыл отступившей континентальной реакции, которая таким образом получила возможность вновь собраться с силами и перейти в наступление. Другими словами, буржуазная Англия в 48-м году не только раздавила революционный пролетариат у себя, но и обо-

---

[1]) Примером может служить 12-томная „Политическая история Англии под ред. William Hunt'a и Reginald Poole'a (на англ. яз.), изд. 1914; в ней событиям 48 г. отводится ровно $28^1/_2$ строк.

рвала бег всей континентальной революции. В этом и заключается смысл событий этого года в Англии, и потому они заслуживают нашего внимания.

Картина, которую представляла из себя Англия к началу 48-го года, была следующая. В стране царил жестокий финансово-промышленный кризис, вызванный, в первую очередь, железнодорожной спекуляцией, затем распространившийся на банки, которые во многих случаях прекратили платежи, и даже на английский банк, которому пришлось, с разрешения парламента, приостановить свободный обмен банкнот на золото, и, наконец, парализовавший всю промышленность. Рабочие были выброшены на улицу десятками и сотнями тысяч, а в Ирландии народ повально умирал с голоду и, кто мог, спасался бегством в Англию или в Америку. Для характеристики положения достаточно упомянуть, что между августом 1847 года и августом 1848 года не менее 4.258.609 лиц обоего пола, что составляло одну седьмую всего населения, получали общественное вспомоществование от так называемого «блюстителей бедных», несмотря на жестокие и унизительные условия, которыми, по закону, обставлялось получение такого вспомоществования, и расходы по этой статье достигли неслыханной цифры свыше восьми миллионов фунтов стерлингов. Такого пауперизма Англия не видала со времени промышленной революции, когда целые деревни «садились» на фонд общественного призрения. С другой стороны однако революционное «чартистское» движение—борьба пролетариата за политическую власть под флагом «чартера» («хартии»), программы всеобщего, равного и тайного избирательного права, годичных выборов и диэт,—которое имело за собой, всего несколько лет тому назад, и всеобщую забастовку, и попытку к вооруженному восстанию, и гигантские демонстрации-митинги с сотнями тысяч участников, сейчас находилось в состоянии упадка, благодаря как естественной реакции после неудачи первого революционного штурма, так и сравнительному благополучию предыдущих нескольких лет. Главными факторами, однако, были отмена ввозных хлебных пошлин, последовавшая в 1846 г., и издание парламентом закона о десятичасовом рабочем дне в текстильной промышленности. Первая из этих мер, открывшая собою эру так наз. свободной торговли в Англии и связанная с именем Ричарда Кобдена, прошла при упорном сопротивлении не только консерваторов-помещиков, но и чартистов, которые справедливо усматривали в ней средство для капиталистов понизить цену рабочих рук и вместе с тем отвлечь от политического движения наименее стойкие элементы обещаниями всевозможных благ,

имеющих посыпаться на трудовой народ от удешевления предметов потребления. И действительно, от чартизма отошли не только мелко-буржуазные союзники, но и пролетарские элементы, не успевшие изжить психологию самостоятельных ремесленников и кустарей, из рядов которых они выходили. Несмотря на то, что опыт ближайшего, 1847 г., не оправдал надежд, которыми питали публику Кобден и его сподвижники, разочарование среди рабочих не могло еще принять серьезных размеров благодаря кризису, которому не без основания приписывалось значение фактора, мешавшего свободному выявлению результатов реформы.

Что касается второй из упомянутых реформ—введения десятичасового дня на текстильных фабриках, то она должна была войти в силу лишь в мае 1848 г., и в ожидании этого рабочие текстильной промышленности, этой основной промышленности в Англии, которые боролись за нее парламентскими средствами в течение длинного ряда лет под предводительством консерваторов-филантропов (Эшли-Шефтсбери, Остлер, Фильден), тем менее склонны были сейчас, несмотря на сильную безработицу, перейти на другие, на революционные методы, что фабриканты продолжали агитировать в парламенте за отмену ее, и парламентская борьба загорелась опять. Эта часть рабочего класса принадлежала теперь к наименее подвижным и отзывчивым слоям его, и недаром много лет спустя (в 1864 г.) Гладстон в парламенте открыто признал, что закон о десятичасовом дне «имел то благотворное влияние, что и уменьшил человеческие страдания, и вселил в значительных слоях населения привязанность к парламенту и правительству» [1]).

Вот, по этим-то причинам чартизм к началу 1848 г. и находился в состоянии упадка по сравнению с концом тридцатых и началом сороковых годов. На собрания, созываемые чартистами, народ уже не стекался в таких массах, как раньше, местные организации чартистов часто распадались или с трудом влачили свое существование, и даже центральный орган, знаменитая еженедельная «Северная Звезда» (Northern Star), которая некогда расходилась в количестве 50.000 и более экземпляров, что в то время сравнительной безграмотности и высокого «штемпельного» налога на каждый экземпляр составляло очень большой тираж, сейчас имела не больше 10.000 подписчиков [2]), и то лишь потому, что владелец ее и главный вождь чартистского движения Фергюс О'Коннор пользовался ею также для пропаганды своего излюбленного плана земледельческих коопера-

---

1) Ходдер — Life of Earl of Shaftesbury, т. II стр. 206.

2) „Northern Star“ от 26 августа 1848 г. (все последующие ссылки на „N. S.“ относятся к 48 г.).

тивных поселков, в котором материально заинтересовалось множество рабочих и кустарей. Эта пропаганда и поддерживала тираж газеты, который сократился было к середине 1846 г. до 6.000, и даже само движение, для которого, однако, как мы сейчас увидим, эта искусственная связь с утопическим планом оказалась в высшей степени вредной.

Но если в трудовых низах тенденции в пользу и против революции, таким образом, скрещивались и взаимно уравновешивались, то в правящих верхах, у капиталистов и помещиков, положение было довольно неустойчивое. Помещики-тори (консерваторы) не могли простить своим противникам, капиталистам-вигам (умеренным либералам), отмену хлебных пошлин, лишившую их возможности грабить народ высокими ценами на хлеб и сильно понизившую арендную плату за их земли. С другой стороны, капиталисты были полны негодования на помещиков за то, что они, в отместку за причиненный им убыток, стали во главе рабочих, требовавших ограничения тяжелого невольничества женщин и детей на хлопчатобумажных фабриках десятью часами в день. Оба лагеря дышали местью друг против друга, и только изобретательный талант главы тогдашнего «вигского» правительства, лорда Джона Ресселя, придумавшего (в союзе с идолом ториев и вождем милитаристской партии, герцогом Веллингтоном, победителем при Ватерлоо над Наполеоном) диверсию в виде готовившегося будто бы нападения со стороны Франции, сдерживал противников и даже связывал их одним общим «военно-патриотическим» порывом. Но этот мир между обоими лагерями не был особенно прочен, и, в общем, устойчивость правящих сфер была, повидимому, небольшая.

Неудивительно, что уже первые симптомы надвигавшейся революции во Франции приковали к себе внимание чартистов. Орган их, «Северная Звезда», совершенно правильно учел значение агитационных банкетов, и уже в первом номере нового, 1848, года писал: «Дискуссия о реформе теперь будет перенесена из банкетных зал в палату депутатов, где Гизо и К°, конечно, найдут для себя большинство и с его помощью провалят при голосовании все попытки изменить существующую ныне гнусную систему. В результате внепарламентская агитация возобновится с удвоенной силой. Тогда начнутся попытки со стороны министров полицейским порядком подавить банкеты, это поведет к сопротивлению и начнется революция. В сущности говоря, эти банкеты за реформу являются началом конца, а конец будет тот, что трон Людовика Филиппа будет разрушен, а вместе с тем кое-что и другое». Это было очень проницательно сказано, и столбцы газеты в дальнейшем продолжают

повествовать . о развивающихся перипетиях банкетной кампании. Через месяц чартисты уже категорически утверждали, что революция во Франции — вопрос лишь нескольких дней. «Общество братских демократов», организация, возглавлявшаяся Юлианом Харнеем, а затем и Эрнстом Джонсом, двумя талантливыми и интернационалистски мыслившими чартистскими вождями и включавшая в свой состав также и представителей французской, немецкой, польской и других иностранных демократически-эмигрантских групп в Лондоне,—это Общество, которое по справедливости можно назвать предтечей Интернационала 1864 г., в начале февраля, в адресе к «пролетариям Франции», говорит: «Знамения времени возвещают грядущие перемены огромных размеров и важности для вашего класса... и не надо обладать даром пророчества, чтобы предсказать ваше скорое освобождение от унизительного и тяжелого ярма, под которым Франция стонала семнадцать лет» [1]). Стоит обратить внимание на тот факт, что этот «адрес» был обращен к французскому пролетариату, а не к тем буржуазным деятелям, которые устраивали оппозиционные банкеты, и что в грядущей революции авторы его усматривают именно для рабочего класса нечто весьма важное. В самый день, в который разразилась, наконец, революция в Париже, братские демократы, еще не осведомленные о событии, имели у себя большое публичное собрание в память краковского восстания 1846 г., и Харней держал большую речь, которая может служить пояснением к указанным словам адреса. «Единственно достойной целью политической борьбы», говорил он [2]), «является освобождение рабочего класса, и массы должны завладеть политической властью, дабы те, кто обрабатывает землю, были и ее господами, те, которые создают пищу, первые ею и пользовались, те, которые строят дворцы, в них и жили... До сих пор рабочие в революциях проливали кровь, а выгоду извлекала буржуазия. Настало время, когда господству буржуазии должен быть положен конец». При такой постановке вопроса о значении революции уроки ее для самой Англии напрашивались сами собой. В передовице в «С. З.» по поводу первых дней борьбы на парижских улицах—передовице, озаглавленной «Набат»—тот же Харней (он был политическим редактором газеты) писал [3]): «Какими бы ни оказались ближайшие или дальнейшие результаты борьбы для Франции, ее непосредственное действие на Европу в целом будет огромно. Германия воспрянет к борьбе и Италия разорвет австрийские цепи. Но и для нас

[1]) „N. S.“ 5 февр.
[2]) „N. S.“ 26 февр.
[3]) „N. S“. 26 февр.

также час пробил. Если английский народ не хочет быть презреннейшим из рабов, то он сейчас же примется за работу — мирно и законными средствами—чтобы добиться своего чартера». Конечно, слова: «мирно и законными средствами» введены были для того, чтобы не слишком раздразнить полицейских гусей, ибо дальше в своей статье Харней, оповестив публику о назначенных двух агитационных собраниях, продолжает: «Каждый демократ и чартист должен притти на оба собрания и громко заявить свою солидарность с тем принципом, что когда какое-либо правительство нарушает права народа, то восстание становится священнейшим правом и повелительнейшим долгом народа и каждой части его».

Таким образом парижские события непосредственно отразились на Англии в смысле оживления энергии и надежд чартистов, и действительно, вслед за первыми лозунгами Харнея и Джонса, в Лондоне и в провинции стали устраиваться собрания, в которых ораторы звали массы на борьбу против олигархически-буржуазного правительства и нередко выдвигали открыто революционные и республиканские лозунги. Означенные два собрания состоялись—одно 28-го, а другое 29-го февраля: первое было созвано чартистским исполнительным комитетом вместе с братскими демократами, а другое — чартистской организацией Лондона. На первом [1]) под председательством Диксона, председателя исполнительного комитета, выступали Харней, Джонс и другие, в том числе, от немцев, Карл Шаппер, друг Энгельса. Харней прочитал письмо от брюссельской «Демократической Ассоциации» за подписями Жоттрана, председателя организации, Маркса, вице-председателя и Пикара, секретаря, в котором чартисты и братские демократы приглашались на всемирный демократический съезд в Брюсселе в сентябре 1848 года. Джонс в своей речи сказал: «Книга царей быстро идет к концу в великой библии человечества, ибо республика не есть растение, свойственное лишь одной Франции: оно произрастает и в других странах, и однажды даже росло и процветало в холодном климате Англии во дни Кромвелля и Гэмпдена». В виде демонстрации чартистский комитет вместе с братскими демократами отправил даже соединенную делегацию, состоявшую из Харнея, Джонса и третьего товарища, Макграта, к которым присоединилось еще несколько немцев (Шаппер, Моль и Эдгар Бауер), в Париж для поздравления с победой нового республиканского правительства, и делегация получила аудиенцию у Гарнье-Пажеса и Ледрю-Роллена, отделавшихся от непрошенных своих гостей несколькими дружескими,

---

[1]) „N. S." 4 марта.

ничего не говорившими словами. Через короткое время министр иностранных дел Ламартин сообщил британскому кабинету, что он ни о чем так не печется, как о сохранении мирных и дружеских отношений с Англией.

Здесь необходимо остановиться. В упомянутых, как и во всех других выступлениях этого периода чартистов и братских демократов по поводу парижских событий, о которых мы читаем на страницах «С. З.», странным образом отсутствует фигура влиятельнейшего и популярнейшего из вождей, невенчанного короля «небритых подбородков, мозолистых рук и плисовых курток», как он называл своих фабричных рабочих, Фергюса О'Коннора. Перед нашими глазами многократно проходят Харней, Джонс, Диксон, Макграт, Ренольдс и множество других известных деятелей того времени, которые выступают на собраниях, созывают демонстрации, пишут статьи и листовки, а О'Коннора нет. Мало того, он еженедельно помещает у себя в газете длиннейшие статьи под видом писем к своей «старой гвардии» и в качестве члена парламента весьма часто произносит речи в палате. Но ни в его статьях-письмах, ни в его парламентских речах ни до, ни непосредственно после парижской революции не содержится ни слова о ней. Он много говорит и пишет об Ирландии (он сам был ирландец и беспрерывно агитировал за ее полное отделение от Англии), он пишет в своей газете и выступает на собраниях по поводу своего земельного проекта, но о событиях во Франции, о которых его ближайшие сотрудники не перестают бить в набат на столбцах его же газеты и на собраниях, он совершенно молчит. Чем объясняется такое странное явление? Объясняется оно прежде всего тем, что О'Коннор не сразу понял исторический смысл и исторические возможности развертывавшихся в Париже событий. В то время, как его же редактор, Харней, доказывал на тысячу ладов, что эти события вещают для пролетариата нечто громадное, он, накануне самой победы парижского народа, поучал в своем «письме» [1]—первом, затронувшем эту тему,— что предметом тяжбы между французским народом и монархией была даже не парламентская реформа, а вопрос о том, «имеют ли граждане право собираться и на собраниях открыто обсуждать свои обиды». А так как в Англии такое право давно уже существует, и английский народ, «владея этим правом, своим мужеством уничтожил власть поработителя преследовать нас, в случае если мы пожелаем выразить вслух мнения, ему неприятные», то парижские события не представляют из себя ничего такого, из-за чего стоило бы вол-

---

[1]) „N. S.“ 26 февр.

новаться. Напротив, всякое волнение и возбуждение по этому поводу может только отвлечь внимание от собственных насущных вопросов. «Я прошу вас», пишет он, «я умоляю вас, не давайте никаким иностранным событиям, как бы сочувственно их результаты ни возбуждали вас, повлиять на наши собственные, домашние великие движения... Пока я жив, я не позволю ни одной иностранной сенсации или иностранному движению, как бы мы ни использовывали его для собственных целей, заслонить или отодвинуть на задний план вопросы о чартере и земельной реформе». Даже больше, умаляя значение и смысл парижских событий, он доходит до такого восхваления гражданских свобод английского народа, какое он при других обстоятельствах решительно осудил бы сам. «Вы должны», говорит он там же своей «старой гвардии», «по достоинству оценить положение во Франции и причины беспорядков там, чтобы оценить по достоинству те привилегии, которых вы добились, несмотря на тиранию. В сущности, внушением боязни перед все более и более возрастающей моральной силой, подкрепляемой уверенностью тирана в ее железной решимости, можно добиться большего, чем какими бы то ни было физическими беспорядками. Потому-то я и прошу вас: держитесь и впредь в рамках моральной дисциплины, не взирая ни на какие средства, которые могут быть пущены в ход для того, чтобы заставить вас покинуть свою крепость и выйти на открытые и слабые позиции».

Эта статья была писана, как сказано, еще в самом начале борьбы, и только лишь три недели спустя, после издания временным правительством декретов об организации труда, смысл происшедшего во Франции переворота стал для О'Коннора проясняться. Эти декреты, вообще, оказали сильнейшее впечатление в Англии и О'Коннор написал в «С. З.» нечто вроде публичного покаяния. Он признался [1]), что до сих пор весьма сдержанно относился к событиям во Франции, ибо горький опыт прошлых революций научил его не доверять их обещаниям, но «теперь совершившаяся революция дает мне надежды, утешение и награды за все мои труды, ибо я усматриваю в этом взрыве французской мысли (?) гарантию, что труд, добившись победы, будет первый пользоваться и его плодами».

Но если непонимание февральских событий было одной из причин неучастия О'Коннора в агитации, развернутой его сподвижниками в связи с ними, то этому была и другая, еще более важная причина. О'Коннор не верил в возможность революции в Англии,

---

[1]) „N. S.“ 18 марта.

по крайней мере, в ближайшее время. Было ли это результатом правильного учета существовавшего соотношения реальных сил—слабости разъединенного и разочарованного рабочего класса и внутренней крепости, несмотря на видимость раскола, правящих классов—или выражением, как иные полагают, начавшейся у него в это время душевной болезни, во всяком случае нет сомнения, что в этот критический момент О'Коннор, отнюдь не становясь на платформу (употребляя современное выражение) «ликвидаторства», оказался противником революции и, что хуже, превратился, как видно из вышеприведенного отрывка, в проповедника той самой теории «моральной силы», которую он все предыдущие годы чартистской борьбы беспощадно изобличал в оппортунистических проповедях правого крыла. Правда, это не была проповедь старых «ловеттистов», предтеч и прообразов современных меньшевиков, являвшихся, сами того не зная, лишь подголосками буржуазных реформистов. Он и сейчас не переставал повторять [1]: «хотя я решительно против физических средств насилия, но если на нас нападут средствами закона или силы, то мы будем непременно защищаться». Он много раз говорил о том, что он готов скорее умереть, чем сдать позиции, за которые он боролся всю свою жизнь, и, готовясь к решительной демонстрации 10-го апреля, он, убеждая своих приверженцев не поддаваться полицейским провокациям, писал [2]: «Но если на нас нападут в то время, как мы будем лишь исполнять свою законную обязанность, то требование чартера в один миг, точно по волшебству, превратится в требование чего-то более для правительства неприятного... Во всяком случае, какова ни будет моя судьба, я, хотя я и не остановлюсь на своем законном пути и не ринусь в ненужную опасность под влиянием пенистого красноречия охмелевших от лимонада ораторов, все же возобновляю свою клятву перед вами и Ирландией, что если на нас обрушится правительственный террор и преследования, то я встречу их с улыбкой, и если нужно будет, то умру, как я жил, истинным другом свободы». Но, хотя его проповедь «моральной силы» и не была проповедью «самосовершенствования» и союза с буржуазными «друзьями народа», которых не следует отпугивать грубыми манерами и физическими угрозами, как учило некогда правое крыло чартистов, однако О'Коннор все же верил, что иерихонские стены буржуазной власти могут пасть под одни трубные звуки импозантной демонстрации рабочей солидарности и рабочего него-

---

1) „N. S.“ 11 марта.

2) „N. S.“ 1 апреля.

дования. «Я говорю вам», писал он [1]), «я вижу ясно, как наша борьба может быть доведена до победного конца без малейшего насилия против личности или собственности, ибо, если мы сконцентрируем всю нашу нравственную силу против безнравственной и продажной олигархии, которая сейчас находится в очень слабом состоянии, то я нисколько не сомневаюсь в окончательном успехе». «Организуйтесь, организуйтесь, организуйтесь», говорится также в передовице «С. З.» [2]), несомненно, инспирированной им, «дабы мы могли сконцентрировать всю нашу силу на одном пункте, на слабом пункте продажной олигархии, и тогда она рухнет... Мы можем уверить народ, что он может добиться чартера в один год, даже в один месяц, не нарушая ни единого закона, не совершая ни одного акта насилия». По мнению О'Коннора—мнению, обычному в таких положениях—насилие при данной ситуации не только не нужно, но было бы в высшей степени вредно, так как дало бы правительству лишь повод подавить движение силой. «Я спрашиваю вас», пишет он [3]), «я спрашиваю: зная, что все средства коварного и изобретательного правительства и вся ненависть буржуазии и аристократии направлены против нашего движения и что над каждым из ваших вождей висит угроза немедленной смерти или, по крайней мере, мести закона,—я спрашиваю вас, готовы ли вы каким-нибудь актом легкомыслия и глупости осудить себя на ненужные жертвы?.. С другой стороны, я могу вас уверить, что при настоящем положении Европы одна лишь демократическая глупость, в которой правительство усмотрит оправдание для своей тирании, может задержать достижение вами полной и нераздельной свободы».

Эту позицию О'Коннора необходимо было полностью осветить, потому что она дает объяснение слабости чартистского возрождения 1848 г. и, даже можно сказать, заранее осуждала его на неудачу. Авторитет О'Коннора в массах был безграничен. Его могучее красноречие, огромная энергия и работоспособность, революционная—до сих пор—тактика, искавшая опоры в рабочих низах, и, наконец, не подлежавшая ни малейшему сомнению преданность движению—все это создало ему необыкновенную популярность среди пролетариата, в особенности севера, несмотря на его ирландское происхождение и крайний ирландский национализм, к которому даже рабочие массы относились тогда с большим предубеждением. Что он в то же время был необыкновенно тщеславен и хвастлив, не выносил соперничества, подавлял малейшее с ним

[1]) „N. S.“ 11 марта.
[2]) „N. S.“ 4 марта.
[3]) „N. S.“ 1 апреля.

разномыслие и вместе с тем не имел серьезных знаний, не было, конечно, известно массам, да и не затрогивало их. От его недостатков страдали лишь его ближайшие сподвижники, которым приходилось либо подчиняться, либо уходить из движения. Но то, что его влияние среди масс было так сильно, не могло не отразиться на движении, после того как выяснилось, что он не поддерживает революционных лозунгов, а напротив, настаивает на «моральной» тактике. Если после того, как в течение всех предыдущих лет, когда условия, казалось, были еще менее благоприятны для революции, он все же неустанно проповедывал революционную пролетарскую тактику, верно учитывая ее воспитательное и организационное значение, хотя бы и не для ближайшего момента, то для будущего, когда конъюнктура станет более благоприятна,—если даже он выступал теперь против революционной агитации, которую повели его сподвижники, то массы приходили к убеждению, что последние были неправы и что следует ограничиться одними демонстрациями и парламентскими петициями.

Конечно, его друзьям-противникам было нелегко выступать против занятой им позиции отчасти в виду его огромной авторитетности, но отчасти также потому, что открытое выступление в защиту революционой тактики—тактики «физической силы», как ее тогда называли,—было, по полицейским условиям, весьма опасно. Все же даже при этих условиях они не всегда могли удерживаться от осторожной критики о'конноровской позиции и выражения своих собственных взглядов по вопросу о тактике. Особенно в этом отношении «дерзал» Эрнст Джон, едва ли не самый талантливый человек в чартистском движении, прекрасный поэт и оратор, впоследствии близкий друг Маркса и Энгельса, наиболее близко подошедший к их миросозерцанию. На одном из бесчисленных собраний, на которых он выступал, он, не называя имен, остроумно заметил [1]: «Нам говорят, что «дух» в состоянии ниспровергнуть деспотизм. Это—верно. Дух, мысль могут ниспровергнуть деспотизм, если их правильно пустить в ход. Именно насчет этого пускания в ход у нас и существуют разногласия. Народ идет вперед по пути прогресса, но классовая власть воздвигла поперек пути холодную стену монополии. Предположим теперь, что народ станет перед стеной и начнет крепко думать: «Ты, гадкая стена, ты должна валяться на земле, ты не должна стоять тут, почему ты не падаешь?» Вы думаете, что от этих мыслей и пожеланий стена упадет? Ничуть не бывало! Но если «дух» подсказывает народу взять мотыку и

[1]) „N. S." 1-го апреля.

кирку, заступ и лом и разбить гадкую стену вдребезги, то путь к свободе скоро станет свободным».

На другом собрании член исполнительного комитета партии Джемс Кросби говорил [1]): «Принося свои поздравления нашим французским братьям, мы в то же время должны думать о том, что бы нам такое предпринять для самих себя, что возымело бы действие. С этой точки зрения было бы не излишне подкреплять все моральные демонстрации некоторой долей физической силы и мужества, которая могла бы пригодиться на случай какого-нибудь сюрприза. Позор и стыд английскому правительству, что столько тысяч рабочих гранят мостовые Лондона и провинциальных городов без работы, в состоянии крайней нищеты, умирая от недостатка предметов первейшей необходимости, в то время как ленивая и бесполезная аристократия купается в роскоши. В виду такого ужасного положения на всяком из нас лежит обязанность воспрянуть и помочь произвести такой политический и социальный переворот, который обеспечит каждому работу, вознаграждение, свободу и счастье».

Из провинции также шла критика, направленная против О'Коннора—в частности против его оптимизма по части «привилегий», которыми английский гражданин будто бы пользуется по сравнению с бедным французом. Один очень известный ланкаширский чартист, Джемс Марсден, пишет в «С. З.» [2]) письмо, в котором не без лукавства говорит: «Читая наши газеты, можно подумать, что французам приходится бороться чуть ли не за все в мире, меж тем как у нас все есть. Французы будто бы не имеют даже права выражать свои политические мнения, меж тем как мы имеем возможность выражать какое угодно мнение по какому угодно предмету с невозбранной свободой. Такого чудовищного заблуждения никогда еще не было на свете». И Марсден рисует картину господствующего в его графстве полицейского и хозяйского террора, который обрушивается на каждого рабочего, осмеливающегося протестовать против существующего порядка вещей.

После этого письма О'Коннор уже больше не писал на эту тему и, вообще, повидимому, понял, что в своих рассуждениях о моральной силе зашел несколько далеко. На одном собрании, на котором он выступал с другими ораторами, он даже договорился до следующего: «Один из предыдущих ораторов затронул вопрос о физической и моральной силе. Но это такая тема, на которую я не люблю говорить иначе, кроме как с моего места в палате общин

---

1) „N. S." 4-го марта.

2) „N. S." 11-го марта.

(смех в публике, которая поняла намек: только в парламенте, вне пределов досягаемости для полиции, можно говорить о таких предметах). Но я знаю, что американские колонисты посылали прошения своему возлюбленному монарху Георгу III, а он не обратил на них никакого внимания. В священном же писании сказано, что лучше умереть от меча, чем погибнуть от голода» [1]).

Но эти эпизодические вспышки старого революционного темперамента были слишком случайны и не могли ослабить того факта, что в самый момент своего возрождения чартизм раскололся на две фракции, из коих одна, предводимая более молодыми людьми, метила прямиком в вооруженное восстание, а другая, возглавляемая О'Коннором, не верила в его возможность и старалась удержать движение в рамках мирной агитации. Страницы «С. З.», нашего главного источника информации по этому предмету, отражают лишь косвенно борьбу этих двух фракций, но не может быть сомнения, что за кулисами спор принимал острые формы и подрывал дееспособность чартистов, отзываясь вреднейшим образом на ходе агитации и на ее успехах в массах.

Меж тем массы сами сильно колебались и более чем когдалибо нуждались в твердом руководительстве. 9-го марта [2]) происходило в Лондоне совещание делегатов от профессиональных союзов по вопросу о безработице. Господствующим настроением было полное разочарование в свободной торговле и озлобление против правительства. Один из делегатов, столяр, говорил: «За последние дни по ту сторону Ламанша произошел большой переворот, и чуть ли не первым актом временного правительства было озаботиться об интересах рабочего класса. Французскому народу обещано министерство труда. Почему? Да потому, что там сейчас введено всеобщее избирательное право». Другой оратор, сапожник, говорил: «На основании моего знакомства с нашими профессиональными союзами я уверен, что мы ничего не достигнем, если предварительно не получим контроля над правительственными делами. Пока мы все не будем представлены в парламенте, до тех пор мы ничего не будем иметь, а получив представительство, мы без труда добьемся наших социальных прав, как блестяще доказали события в Париже». Казалось бы, вывод напрашивался сам собой. Меж тем предложенная президиумом резолюция «обращала» лишь «внимание правительства» на царившую нужду и ходатайствовала о мерах облегчения! Мало того, когда один из делегатов, портной, внес дополнение к резо-

[1]) „N. S." 8-го апреля.
[2]) „N. S." 18-го марта.

люции в виде требования всеобщего избирательного права, то после долгих дебатов решено было рассматривать предложение, как самостоятельную резолюцию, и первая резолюция была поставлена на голосование, а вторая резолюция даже не была проголосована, так как противники внесения какой бы то ни было политики в профсоюзы устроили обструкцию и говорили до тех пор, пока не настало время расходиться. Понятно, что при таком состоянии умов в массах шатание среди самих чартистов должно было иметь самые пагубные последствия.

Меж тем среди буржуазии и в правительственных сферах сразу обнаружилось поразительное единение и полная решительность. Фракционная борьба между ториями и вигами и классовые распри между поземельной аристократией и промышленной буржуазией сразу умолкли перед лицом надвинувшейся опасности, и то, что казалось не только О'Коннору, но и оппозиции слабой, разлагающейся олигархией, мигом превратилось в крепкий кулак, вокруг которого не замедлили сплотиться все имущие слои населения. Уже в начале февраля в Лондоне стал формироваться «отряд волонтеров»—по нашему белая гвардия—под пышным именем «корпус добровольцев-стрелков имени королевы», который открыто через прессу приглашал «джентльменов» присоединиться к нему, заявляя, что правительство обещало выдать ему оружие и амуницию. «С. З.» [1]) по этому поводу спрашивала, даст ли правительство оружие также и корпусу «плисовых курток», буде они также захотят организоваться, и совершенно правильно указывала, что «корпус добровольцев-стрелков» предназначается не для внешнего, а для внутреннего врага.

Действительно, правящие клики сразу почуяли опасность, которая грозила им с другой стороны Ламанша. «Меня сокрушает,—признавался Пальмерстон, тогда министр иностранных дел, в депеше к английскому послу в Париже, маркизу Норманби [2]),—меня сокрушает перспектива республики во Франции, так как боюсь, как бы она не привела к войне в Европе и к новой агитации в Англии... Пример всеобщего избирательного права во Франции поднимет на ноги неголосующую часть нашего населения и вызовет требование неудобного для нас расширения избирательного права, тайной подачи голосов и других вредных вещей». И правительство, действительно, вскоре показало, какова настоящая цена тем драгоценным привилегиям, которые дарует британским гражданам хваленая конституция. Один из радикальных членов парламента вздумал назна-

---

[1]) „N. S.“ 19-го февр.

[2]) Эвелин Эшли: „Life of Palmerston“, т. II, стр. 73.

чить на 6-е марта на Трафальгарской площади в Лондоне, классическом месте открытых собраний, митинг протеста против проектировавшегося правительством увеличения подоходного налога. Правительство, которому всякое скопление народа казалось в эти дни опасным, запретило митинг, ссылаясь на старый закон, изданный при реакционнейшем короле Георге III и воспрещавший устраивать митинги в расстоянии менее трех миль (четырех верст) от парламента в те дни, когда он заседал. Храбрый радикал отменил собрание, но вместо него появились чартисты с только что перешедшим на их сторону молодым Рейнольдсом, занимавшимся до тех пор литературной деятельностью, и провели большой митинг в пользу чартера. Резолюция уже была принята, митинг уже был объявлен закрытым и публика уже стала расходиться, когда какой-то субъект затеял с другим ссору, на сцене вдруг появилась полиция, вооруженная дубинками, она учинила жестокую расправу, не щадя ни женщин, ни детей. Это была несомненная провокация, и «С. З.» совершенно уместно просила [1]) «своих читателей обратить внимание на обстоятельства дела, обнаруживающие совершенно заведомую систему террора: наше правительство, очевидно, намерено проводить противоположный французскому план действия, ибо Гизо разрешил 47 банкетов и приостановил их слишком поздно. Рёссель же, наш английский Гизо, намерен задавить английские демонстрации в зародыше». Не довольствуясь этим, правительство— а может быть, полиция сама от себя—в течение ближайших трех дней стало по вечерам выпускать на улицы толпы хулиганов и провокаторов, которые напивались у ближайших кабаков и затем громили лавки, били стекла в домах и магазинах, опрокидывали или тушили фонари и лишь к утру разгонялись полицией или сами расходились по своим углам. Пресса моментально подняла вой о беспорядках и грабежах, учиняемых чартистами, и перепуганная буржуазия стала требовать у правительства решительных мер против мятежников и анархистов. Это была своего рода репетиция будущей драмы или, как писала «С. З.» [2]), «какофония оркестра, настраивающего свои инструменты перед великой увертюрой борьбы за свободу».

Правительство «уступило» требованиям «населения» и издало указ, запрещавший уличные демонстрации в «неподходящие» часы и собрания после шести вечера.

Когда через несколько дней чартисты созвали другой митинг

---

1) „N. S.“ 11 марта. Там же описание митинга.

2) „N. S. 18 марта.

под открытым небом на одной из публичных лужаек южного Лондона, Kennington Common, в виде продолжения трафальгарского, то правительство поспешило разослать по всем оружейным лавкам приказ отвинтить на этот день дула ружей от лож, а торговцам пороха запретить продажу пороха и дроби, и подняло на ноги благонамеренную часть публики, пригласив всех желающих записаться в «чрезвычайные констэбли» (гражданскую милицию) и выдав им вооружение. К самому митингу оно отрядило 4.000 полицейских, 100 сыщиков в штатском и 80 вооруженных саблями и пистолетами конных полицейских, которые все время кружились вокруг толпы. Кроме того, часть гарнизона содержалась целый день под ружьем или в казармах [1]). Все это имело целью нагнать страх на чартистов и... на самого обывателя. Положение кабинета до сих пор было весьма шаткое, и он ловко воспользовался положением, чтобы укрепиться и мобилизовать вокруг себя всю буржуазию. Министр внутренних дел сэр Джордж Грей мог уже 13-го марта похвалиться в палате успехами в этом направлении. «Недавняя попытка учинить беспорядки,—сказал он [2]),—вызвала в Лондоне и больших городах Англии и Шотландии чрезвычайную решимость со стороны большинства населения оказать нам помощь при подавлении их. Манчестер предложил 10.000 чрезвычайных констэблей, Глазго—20.000, Ливерпуль, если нужно будет, столько же и т. д.».

Действительно, в течение всего марта и апреля во многих городах севера происходили спорадические беспорядки—по большей части безработных—и повсюду буржуазная белая гвардия оказывала полиции деятельную помощь. В одном только Глазго пришлось вызвать на подмогу военную силу. Там в начале апреля толпа из 5.000 безработных неожиданно бросилась громить съестные лавки, а потом большие магазины, и полиция вместе с «чрезвычайными констэблями» оказалась бессильной справиться с ними. На другой день был введен отряд из 2.000 человек, произошло столкновение, и по толпе было дано несколько залпов. Несколько человек было убито, множество ранено, и безработные были усмирены. Правительство быстро приобретало опыт в искусстве расправляться с мятежными элементами.

Интересно, наконец, отметить поведение буржуазной прессы. Как в наше время, так уже и тогда она проявила редкое искусство в роли охранительницы порядка и в идейной борьбе с революцией.

---

1) „N. S.“, там же.
2) „N. S.“, там же.

С одной стороны, она повела бешеную кампанию против французской революции и, в частности, против парижских рабочих с их требованием «права на труд». Состояние Франции рисовалось в самых мрачных красках, и ответственность за разруху целиком сваливалась на ленивых рабочих и демагогов-социалистов в правительстве и вне его, которые потакали экономическому невежеству и «животным» аппетитам пролетарской черни. Конечно, это проделывалось—как и в наше время по отношению к советской России—с педагогическими целями. «Литераторы в нашей прессе, — писал О'Коннор [1],—стараются отпугнуть нас от нашего стремления к свободе, использовывая для этого несчастное положение французских рабочих в настоящий момент». «Однако,—продолжает он,—вы достаточно ясно мыслите, чтобы понимать, что великие революции, которые не устраиваются по предварительному плану, должны на первых порах вести к большому расстройству и, быть может, даже катастрофе... Но я вас спрашиваю: стóит ли или не стóит проходить через это временное испытание, чтобы навсегда установить свободу?» Золотые слова, которые не мешало бы запомнить робким рабочим Запада и в наше время.

Чартистам беспрестанно приходилось бороться с клеветнической травлей французских рабочих и социалистов, поднятой в буржуазных газетах, и, напр., в одном из своих манифестов братские демократы прямо приглашают рабочих защищать своих братьев по ту сторону Ламанша от незаслуженных нападок. «На своих собраниях,—требовали они [2],—на своих фабриках и в мастерских, в своем домашнем кругу — повсюду ограждайте храбрых французских рабочих от гнусных обвинений и злых клевет, которыми осыпают их газетные проституты Англии, эти продажные апологеты жадного капитализма и бездушного лавочничества». Но силы буржуазной журналистики во много раз превышали средства гласности, находившиеся в распоряжении чартистов, и нет сомнения, что кампания буржуазной реакционной прессы имела успех в широких неразвитых народных массах. С другой стороны, эта же пресса применяла — опять таки, как и сейчас — прямо противоположный метод преуменьшения, когда дело касалось сил и влияния собственных революционеров. Не скупясь на краски при изображении того вреда, который проистекает или может проистечь от их невозбранной агитации, буржуазная пресса вместе с тем третировала их как презренную горсточку авантюристов или преступников без всякого

—

1) «N. S.» 1 апреля.
2) «N. S.» 25 марта.

влияния и значения. «Наша пресса, — писал тот же О'Коннор [1]), — всегда была смертельным врагом свободы.. Если буржуазия устраивает ничтожнейшее собрание, чтобы выразить неудовольствие перед подоходным налогом, то пресса перепечатывает каждое слово каждого дурака-оратора, меж тем как у нас тут, в Лондоне, прошли сейчас с величайшим подъемом десятки блестящих митингов для того, чтобы поздравить французов с их освобождением от деспотизма, а в прессе об этом не сказано было ни слова».

Искусство замалчивания ни одной прессой в мире не доведено до такой виртуозности, как английской, и как сейчас, так было и три четверти века тому назад. Излюбленным методом в тех случаях, когда нельзя было избежать упоминания о той или иной рабочей демонстрации, было преуменьшать число участников до смешного, и этот метод оказался настолько действительным, что нередко даже современные историки вводятся им в обман и по ничтожным цифрам судят о ничтожности движения. В свое же время О'Коннор шутливо рекомендовал своей публике следующий способ правильного исчисления размеров какого-нибудь большого митинга или большой уличной демонстрации: взять цифры, которые дают газеты, сложить их все вместе, помножить на четыре, и в результате получится истинная цифра участников [2]).

II.

Десятое апреля.

При изображении обстановки, в которой, под впечатлением революции во Франции, возобновилась агитация чартистов, нам поневоле пришлось несколько забежать вперед и при этом отрешиться от перипетий, через которые конкретно проходила эта агитация. Теперь мы с тем бо́льшим пониманием об'ективных условий можем вернуться к изложению хода движения.

Мы видели, что в стане чартистских вождей царило принципиальное разногласие по вопросу о тактике. Джонс, Харней и многие другие из более молодых звали непосредственно на бой, не питая никакой веры в демонстрации и вообще в «конституционные» формы борьбы. Напротив, О'Коннор если не принципиально, то тактически не считал целесообразным итти дальше конституционных методов, будучи убежден (или, может быть, показывая вид, что убежден),

---

1) «N. S.» 4 марта.
2) «N. S.» 25 марта.

что и они окажутся достаточно сильными, чтобы преодолеть сопротивление олигархической клики, стоящей у власти, как это было в 1832 г., когда была исторгнута реформа парламента без революции. В этой аналогии О'Коннор, конечно, ошибался: в 1832 г. один класс имущих—помещики в союзе с крупно-торговым капиталом—уступил другому классу имущих — промышленному капиталу,—ведшему за собой и мелко-буржуазную и рабочую массу; он уступил именно затем, чтобы не довести дела до революции. Теперь же речь шла о том, чтобы соединенный класс имущих—помещики, торговый, промышленный и финансовый капитал плюс еще мелкая буржуазия—уступил классу неимущих, пролетариату, и в такой комбинации трудно было ожидать разрешения тяжбы мирным путем. Вместе с тем, однако, трудно было ожидать разрешения тяжбы и революционным путем, путем силы, так как пролетариат еще был слаб, а соединенные имущие классы уже были довольно сильны. Положение было совсем иное, чем во Франции, где оно скорее походило на положение Англии в 1832 г. Другими словами, Англия имела уже свой 1848 год позади, 16-ю годами раньше, и сейчас положение стало такое, каким оно сложилось во Франции в июньские дни, когда один, да притом еще плохо спаянный пролетариат имел перед собою «сплошную реакционную массу» всех слоев имущего класса.

Ни та, ни другая чартистская фракция всего этого, конечно, не понимала, но каждая смутно чувствовала, что нужно что то сделать, чтобы использовать момент всеобщей революции. О'Коннор, конечно, победил. Решено было действовать тем путем, который уже раз был испробован чартистами, а именно путем подачи петиции-монстр в парламент и созыва «конвента» для поддержки петиции и дальнейших действий. Петиция, покрытая миллионами подписей, собранных на открытых массовых митингах по всей стране, и содержащая требование всеобщего избирательного права и прочих пунктов чартера, должна была показать парламенту наличность огромного общественного мнения в пользу требуемой реформы. Если, кроме того, как предполагалось, петиция будет приниматься и подписываться на многочисленных больших митингах после энергичной агитации, то нравственная сила, которая воплотится в ней, может легко оказаться достаточно могучей, чтобы заставить олигархию склониться перед ней. Но для подкрепления этой силы будет созван особый «конвент» из делегатов, выбранных на тех же массовых собраниях. Слово «конвент», а не просто конгресс, само по себе уже содержит грозное указание на его характер и намерения: это—орган народной воли, который, опираясь на массы, может, при их под-

держке, оспаривать власть даже у олигархически-выбранного парламента и, в случае нужды, мобилизуя те же массы, пойти на более крайние меры, нежели простая подача петиции.

Правда, в прошлом, как сказано, уже был однажды проделан такой опыт с петицией и конвентом, и в результате ничего не получилось: петиция была внесена в парламент, парламент спокойно ее отверг, и конвент не нашел возможным что-либо сделать. Многие члены его были даже арестованы, брошены в тюрьму или сосланы, и он в конце-концев вынужден был разойтись по домам. Однако то было другое время. Сейчас, когда кругом хлещет высокая волна революций и когда сами массы успели убедиться в необходимости добиться во что бы то ни стало политических прав,—сейчас разве может повториться та же неудача? Дело мыслилось так: петиция получит по крайней мере пять миллионов подписей, конвент соберется 4 апреля и открыто обсудит план своих действий, 10 апреля состоится демонстрация-монстр с количеством участников по крайней мере в полмиллиона человек, и эта огромная рать, с членами конвента и исполнительным комитетом партии во главе, направится к парламенту и подаст петицию. Устоит ли парламент против такой внушительной силы? «Старая гвардия,—писал О'Коннор [1]),—взгляни на изменившееся положение в Европе, учти то обстоятельство, что к 3 апреля созреют не только во Франции, но и по всему материку Европы благие плоды свободных учреждений; учти также и то, какую поддержку найдут в этих обстоятельствах твои приверженцы, когда полмиллиона человек—живых людей—будут сопровождать воплощение воли пяти миллионов, требующих своей свободы, до самых дверей палаты общин... Вы слышите набат? Это значит, что час возрождения чартизма наступил. Для меня лично это будет днем гордости, когда я буду итти во главе избранников мысли английского народа, сопровождаемых мускулами английского народа, в процессии к палате общин, ибо я не позволю ни одному человеку итти впереди меня, и мое положение будет для меня источником еще бо́льшей гордости, если вместо шестнадцати здоровых человек, как раньше, для физического продвижения петиции потребуется тридцать».

Так себе представлял дело О'Коннор, и так изображал его также и исполнительный комитет партии. Призывая к выборам в конвент и к подписанию петиции на массовых митингах, он в своем манифесте говорит [2]): «Петицию будет сопровождать к палате общин огромное стечение народа столицы, который таким образом будет

1) «N. S.», 4 марта.
2) «N. S.», 18 марта.

почетным караулом для нее. Исполнительный комитет хочет из процедуры представления петиции сделать демонстрацию народных симпатий к ней, и с этой целью он употребит все усилия, чтобы продемонстрировать такую силу, которая внушит трепетное уважение к нашему движению». В другой раз он особенно резко подчеркивает моральный характер этого рода воздействия. «Час завоевания свободы, наконец, настал, — гласит его манифест [1]), — и мы сейчас узнаем, созрели ли вы для великой моральной битвы, трофеями которой будут свобода и независимость... Теперь или никогда! Помните, что желать свободу—это значит получить ее. Желайте же ее, желайте ее, вы, семь миллионов английских рабов, и тогда никакая сила в мире не помешает вам сбросить с себя цепи вашего рабства». И в своей последней прокламации перед демонстрацией 10 апреля чартистский исполнительный комитет, обращаясь к лондонцам, к ирландскому населению столицы, к профессиональным союзам и к другим группам, писал [2]): «Помните, что свободы ищущий немец, освобожденный итальянец, борющийся поляк и гордый французский республиканец—все будут смотреть на вас глазами, полными презренья, если вашей целью не будет уничтожить узурпаторскую олигархию и поставить на ее место законную власть всего народа... Помните, что взоры всей Европы обращены на вас. Докажите же, что вы достойны такого внимания, соберитесь утром 10-го многотысячными толпами законопослушно, мирно, но преисполненные энтузиазма, и не давайте повода наперсникам правительства повторять старую клевету, будто вы равнодушны к политическим правам и будто вы довольны своим настоящим положением. Теперь или никогда! Наступил благоприятный момент, когда вы можете с успехом исторгнуть согласие парламента. Настал день, пробил час нанести великий моральный удар, который даст свободу и счастье всем слоям и классам британской империи».

Нельзя отрицать, что агитация велась с большим подъемом и талантом, но не подлежит сомнению, что партия Джонса и Харнея была не особенно довольна подчеркиванием морального характера проектировавшегося удара и не верила в его чудодейственную силу. У них самих это выходило несколько иначе. «Друзья,—провозглашал на большом собрании Джонс [3]),—мы пойдем по прямому пути, мы не будем неумеренны и горячи, но мы будем все же решительны: мы не откажем закону в уважении, если сами законодатели уважат его: если же нет, то... Франция—республика!»

---

1) «N. S.», 4 марта.
2) «N. S.», 18 апреля.
3) „N. S.", 1-го апреля.

Или в другой раз [1]): «10-е сего месяца—последний срок, который чартисты дадут вигам. Мы понесем свою петицию в надлежащем порядке и мы уйдем мирно и спокойно; но если нам придется пойти в парламент второй раз, то мы уже направимся туда вооруженными. Пусть правительство лучше не пробует играть в физическую силу, дабы физическая сила не обратилась против него же. Если оно откажет в чартере, то в следующий раз народ будет требовать республики». Таким образом в своих агитационных речах Джонс и его друзья вносили, так сказать, контрабандой свои маленькие поправки, и даже «С. З.», т.-е. Харней, за которым О'Коннор не всегда поспевал присмотреть, решался делать намеки, что конвент, несомненно, придумает «подробный план действий, пригодный на всевозможные случаи и случайности» [2]). Но оппозиция не могла удовлетворяться такими приватными выступлениями и приберегала для конвента свой особый «план действий».

Конвент собрался 4-го апреля, после того, как в течение целого месяца происходили выборы делегатов на открытых массовых митингах по всей стране, на которых чартистские ораторы выступали с агитационными речами. Так как закон разрешал лишь такие съезды, число членов которых было ниже 50, то конвент составился из 49 делегатов, в числе которых мы находим всех выдающихся вождей чартизма. Занятия его начались с докладов с мест. Один за другим делегаты рисуют картину небывалой нужды и отчаяния, и многие уверяют, что выбиравшие их рабочие готовы итти на самые крайние меры. Эрнст Джонс сразу поставил вопрос о том, что̀ конвент думает делать, если петиция будет отвергнута парламентом. Уже одна постановка такого вопроса была смелостью, так как ею открыто провозглашалось сомнение в благоприятном исходе о'конноровской тактики. По мнению Джонса, этот вопрос был настолько актуален, что требовал немедленного ответа, и он предложил конвенту в случае провала петиции обратиться через головы правительства и парламента непосредственно к короне с требованием прогнать министерство и призвать к власти таких лиц, которые возьмутся внести и отстоять в парламенте чартер, как правительственную меру, а самому конвенту объявить свои заседания непрерывными: «тогда начнется борьба между обоими парламентами за преобладание и власть» [3]). Отчет не указывает, каково было

---

1) „N. S.", 8-го апреля.
2) „N. S.", 18-го марта.
3) „N. S.", 8-го апреля.

впечатление от такого неожиданного [1]) предложения, но оно дало повод к оживленным прениям, которые продолжались три дня. Первым оппонентом оказался Бронтер О'Брайен, который за свою эрудицию был прозван чартистами «школьным учителем» и в начале движения, действительно, являлся его лучшим теоретиком и истолкователем классовой борьбы. Он был против того, чтобы конвент превратился в революционное собрание, и провозгласил себя «перманентным». Он доказывал, что по крайней мере в Лондоне от которого он был делегатом, народ не был с ними и вряд ли был готов на «крайние меры». Он лично «не пойдет против закона, покуда в нем еще живет надежда, что закон будет справедлив к ним; но как только он увидит, что закон к ним несправедлив и, вместе с тем, что народ сильнее закона, он спокойно повернется к нему спиной». О'Коннор, повидимому, чувствовал, что было бы рискованно выступить безоговорочно против предложения Джонса и перед всем конвентом вселять уверенность в успехе петиции. Он предложил компромисс: да, потребовать у королевы удаления реакционных министров и назначения нового правительства из числа лиц, стоящих за чартер, но только по получении соответствующего мандата от народных масс. Поэтому он предлагал: если петиция будет отвергнута, то чартисты по всей стране должны устроить в один и тот же день народные митинги и получить на них полномочие на такую сверхконституционную меру, как непосредственное обращение к королеве в указанном смысле. «Если же и это окажется недействительным, — прибавил он, — то он готов скорее умереть за чартер, чем остаться жить без него: он не намерен ждать ни минуты дольше того момента, в который большинство народа потребует чартера и готово будет отстоять свои права» [2]). Это было сказано довольно неопределенно: очевидно, О'Коннор не хотел брать на себя обязанности в смысле революционных действий даже на тот случай, если и обращение к короне не приведет ни к чему. Но для оппозиции этого было достаточно, и на следующий день сам исполнительный комитет внес предложение, в случае отказа в петиции, обратиться с мемориалом к королеве. Этот мемориал должен быть выработан конвентом и представлен на утверждение народу, который будет собран на многочисленные митинги

---

[1]) Впрочем, совершенно неожиданным это предложение не было. Еще в начале марта на одном собрании Джонс предложил, не обращаясь ни с какими петициями к парламенту, собрать миллион человек в разных частях Англии и толпою в 200.000 двинуться к королеве с петицией отстранить правительство,—план, немного смахивавший на гапоновский 1905 г. („N. S.“, 11-го марта).

[2]) „N. S.“, 8-го апреля.

21-го апреля (в страстную пятницу). Однако, мемориал будет подан не конвентом, а уже другим учреждением, а именно «Национальным собранием», члены которого будут выбраны на тех же митингах и которое соберется 1-го мая. Оно же, это собрание, должно будет выработать меры, необходимые для того, чтобы заставить корону принять и привести в исполнение мемориал.

Оппозиции это предложение казалось недостаточным. Ренольдс, который стоял на крайнем левом фланге, заявил, что нет надобности созывать еще новый конвент под новым названием и предлагать ему изыскивать средства для осуществления какого-то мемориала, а надо, как предлагал накануне Эрнст Джонс, чтобы сам конвент, если петиция будет отвергнута, объявил себя перманентным и провозгласил чартер действующим законом страны. С своей стороны О'Брайен также находил стадию мемориала излишней, но с другой стороны не находил возможным, чтобы конвент, не получив никакого мандата на революционные действия и не будучи уверен в поддержке масс (его самого, говорил он, выбирали две тысячи человек, меж тем как Лондон насчитывал 2 миллиона населения), объявлял себя органом народной воли. Он предлагал поэтому, чтобы конвент, по подаче петиции, считал свой мандат исчерпанным, но чтобы на его место на одновременных народных собраниях было выбрано «Национальное собрание», и оно-то должно будет объявить себя перманентным. Однако Джонс, с поддержкой Харнея, готов был принять компромисс, предложенный комитетом: пусть будет и новое собрание, и мемориал, и народный митинг, но зато «Национальное собрание» должно немедленно объявить свои заседания непрерывными вплоть до момента осуществления чартера, а до того сам конвент должен продолжать заседать. После некоторых прений Ренольдс и О'Брайен присоединились к этому предложению, которое и было одобрено конвентом [1]).

В этих прениях по поводу предложения комитета партии О'Коннор почти не участвовал, хотя они длились два дня и доходили порой до большой страстности. О'Коннор вообще присутствовал на конгрессе только урывками, выступая изредка по формальным поводам и всякий раз извиняясь недостатком времени и необходимостью итти в парламент защищать дело чартизма. Но с его защитой чартизма в парламенте дело обстояло весьма плачевно: блестящий народный трибун и боец на публичных митингах, он, выбранный в парламент в 1847 г., оказался там полнейшим пленником парламентских форм и не сумел ни поставить себя по от-

1) „N. S.“, 8-го апреля.

ношению к противникам, как подобало бы революционному представителю пролетариата, ни оказать надлежащую поддержку партии в ее борьбе вне парламента. Когда он еще до собрания конвента сделал, как полагается по парламентским обычаям, официальное предупреждение о том, что 10-го апреля он внесет резолюцию по поводу чартера, то, как отмечает парламентский отчет, его встретили «громким всеобщим смехом». Чартисты и, в частности, «С. З.» использовали этот инцидент надлежащим образом в агитационных целях, напоминая публике о том, что когда либеральные деятели оппозиции во Франции однажды вносили в палату свой законопроект о реформе, то Гизо также, как констатировали тогдашние парламентские отчеты, встретил их «громким смехом». Однако факт был тот, что О'Коннор не сумел должным образом реагировать даже на эту грубую выходку противников, а вместо этого униженно просил правительство предоставить ему для его резолюции немного времени в указанный день, обещая за эту «привилегию» «не задерживать внимания палаты слишком долго». Но лорд Рёссель, к «вящщему своему сожалению», не мог обещать ему такой «привилегии», ибо по росписанию 10-го имели обсуждаться ирландские дела. Он мог взамен предложить другой день, 14-го, и О'Коннор принял предложение, «выразив благородному лорду свою чрезвычайную благодарность» [1]).

Но дело обстояло еще хуже этого. 6-го апреля—в тот день, когда конвент принял резолюцию Джонса о будущем плане действий—правительство уведомило парламент о своем собственном плане действий. На запрос одного из членов палаты относительно допустимости массовой процессии к парламенту 10-го с целью подачи петиции министр Грей ответил, что правительство в тот же вечер намерено выпустить прокламацию к населению Лондона с указанием на незаконность подобной процессии и даже самого собрания, как оно проектировалось чартистами, и с призывом к благонамеренной части населения воздержаться от участия на собрании и в процессии под страхом строжайших репрессий. Оказалось, что при короле Карле II, как известно, свергнутом с престола за «нарушение конституции», был издан закон, который запрещал собрания и процесссии в числе более десяти лиц под предлогом петиции или другого какого-нибудь ходатайства, или какой-нибудь жалобы королю или парламенту [2]), и этот закон «прогрессивное» правительство Джона Рёсселя, правительство реформ, воскресило про-

---

[1]) „N. S." там же.

[2]) N. S.", 8-го апреля.

тив рабочего движения. Так, не стесняясь, буржуазия пользуется оружием, выкованным в самые темные века реакции, когда классовая борьба обостряется и угрожает ее привилегированному положению. О'Коннор протестовал против такого образа действий правительства, указывая, что еще недавно, в 1831 году, когда буржуазия боролась за реформу парламента, она сама вела к парламенту толпу в 150.000 человек, и что даже тремя годами позже правительство не запретило стотысячной демонстрации к парламенту в связи с осуждением шести сельских работников за принадлежность к оуэновскому «великому национальному трэд-юниону». Правительство не нашло нужным что-либо ответить, кроме того, что эти прецеденты не соответствуют настоящему случаю, и Грей тут же добавил при всеобщих рукоплесканиях палаты, что он в кратчайший срок внесет еще экстренный закон «о дополнительной охране короны и правительства» для борьбы с крамолой. Этот закон (или, скорее, узаконенное беззаконие), действительно, в ближайшие дни был проведен с молниеносной быстротой через все инстанции обеих палат. Он назначал ссылку в каторжные колонии на всю жизнь и уже во всяком случае не менее чем на семь лет, по усмотрению суда, для всякого «замышляющего... силой заставить ее величество или наследников изменить их мероприятия или планы, или же устрашить и сломить волю парламента и выражающего эти замыслы и планы и... в печатном или письменном виде, или в устной речи». Этим «законом» [1]) правительство, выражая единодушную волю правящей буржуазии и аристократии, бросило перчатку чартистам, которые, потеряв инициативу действия, тем самым очутились в самом невыгодном положении. Сейчас им оставалось одно из двух: либо отказаться от своих планов, либо открыто поднять знамя восстания.

Дело однако происходило в Лондоне,—городе, в котором, с одной стороны, сосредоточен весь аппарат буржуазного правительства, все его физические силы и все его моральное и идейное влияние и в котором, с другой стороны, нет организованного и сконцентрированного фабричного пролетариата, как в городах севера, но зато есть огромная мелкая буржуазия, включая лавочников и мелких государственных чиновников, и сильная и богатейшая в мире торгово-финансовая буржуазия. В Лондоне не только для восстания, но и вообще для каждого нового общественного движения почва—самая неблагоприятная, и недаром не только чар-

---

[1]) Чартисты прозвали его „gagging act“ от „gag“—затычка, кляп, которым затыкается рот кричащему.

тизм в его революционный период, но даже и буржуазно-реформистские движения питались не лондонскими, а преимущественно провинциальными соками, притекавшими из промышленного севера и Шотландии. Поставленный столь неожиданно (хотя, собственно говоря, этого и можно было ожидать, принимая в соображение, что конвент обсуждал свои планы совершенно открыто) перед решительной дилеммой так или иначе реагировать на вызов правительства, конвент ничего лучшего не мог придумать, как выпустить прокламацию к лавочникам и другим обывательским слоям населения, успокаивая их насчет проектируемой демонстрации и гарантируя им полнейший порядок и спокойствие, и отправить депутацию к Грею с теми же заверениями, что демонстрация будет невооруженная и что никакой революции при этом не мыслится [1]. Правда, конвент вместе с тем постановил, невзирая на правительственную прокламацию, все же собрать народ на демонстрацию, хотя и без процессии к парламенту, и «С. З.» писала в передовице [2]: «если власти вздумают начать по этому поводу войну, то на них же падут и все последствия, а эти последствия будут огромны и страшны, раз месть и отчаяние овладеют умами миллионов свободных людей, жаждущих свободы и требующих возвращения отнятых у них прав». Все же, когда Харней, при поддержке Джонса и других, предложил, в виду изменившихся условий, сейчас же наметить кандидатов по соответствующим округам, которые могли бы немедленно занять место делегатов конвента в случае их гибели или ареста 10-го апреля, то большинство высказалось против, ссылаясь на «недемократичность» такой процедуры и предлагая взамен перевыборы делегатов на публичных собраниях [3].

Сам О'Коннор уже не принимал участия в работах конвента отчасти по болезни, но, несомненно, также потому, что видел провал своего плана, и только 10-го утром, перед самой демонстрацией, появился на заседании, чтобы обвинить своих противников в создавшемся положении: «не будь глупости некоторых людей вне стен конвента, но также кой-кого в самом конвенте, наша демонстрация не встретила бы никакого противодействия, и она явилась бы самой грандиозной из всех когда-либо виденных в Англии» [4]. Это было и невеликодушно, и неверно, но никто не решался спорить с ним. Он, повидимому, сильно страдал и думал

[1] „N. S.“, 8-го апреля.
[2] „N. S.“, там же.
[3] „N. S.“, там же.
[4] „N. S.“, 17-го апреля.

теперь только о том, как бы предупредить катастрофу. Он заявил, что, как он ни болен, он пойдет на демонстрацию с целью предупредить нарушение общественного порядка, так как правительство твердо решило подавить демонстрацию военной силой при малейшей попытке демонстрантов прибегнуть к насилию. Этим фактически предопределен был исход великого выступления, которое должно было, по первоначальному плану, явиться если не прямо революцией, то по крайней мере прелюдией к ней.

Правительство же, действительно, приняло все меры к тому, чтобы раздавить движение в самом корне. Наученное опытом Франции и Германии,—правительства всегда учатся на опыте других, что не всегда можно сказать о пролетариате,—правительство Джона Рёсселя твердо решило не дать застигнуть себя врасплох и, рассчитывая вместе с тем создать себе из всего дела политический капиталец, устроило колоссальную мобилизацию всех своих сил. По данному им сигналу пресса в один голос завопила, что вся эта чартистская агитация есть лишь дело рук иностранцев и ирландцев, ищущих подорвать силу британской империи (это заставило иностранцев-эмигрантов отказаться от участия в демонстрации и заявить об этом громогласно в конвенте через Харнея) [1], чем создала среди лавочников патриотическое настроение, облегчившее спешное проведение «закона-кляпа». В то же время правительство вручило Веллингтону чрезвычайные полномочия на предмет приведения Лондона в состояние усиленной охраны. Тот стянул в Лондон 12.000 человек армии всех родов оружия и расположил их в полном вооружении,— в некоторых случах с артиллерией,—в разных пунктах, прилегающих к парламенту и дворцам в то время, как полиция, вооружённая своими дубинками, в полном составе была сконцентрирована вокруг Kennington Common и на подходах к парламенту и мостам, ведущим через Темзу к этой части Лондона. Ей на подмогу организовалась белая гвардия («чрезвычайные констэбли») в числе 170.000 человек, которые охраняли порядок во всем городе и особенно наблюдали в аристократических кварталах и на торговых улицах. Все правительственные учреждения превращены были в маленькие форты: они забаррикадировались са́мыми невероятными предметами, от мешков с песком вплоть до толстых фолиантов «Таймса», и все чиновники, как высшие, так и низшие вооружились с ног до головы. Все это создавало сильную панику, и город походил на крепость в ожидании неприятельского штурма. Аристократия поспешила покинуть опасный город, и сама королева со своей

---

[1]) „N. S.“, 8-го апреля.

семьей была отослана на о. Уайт. Но была одна замечательная черта во всех этих приготовлениях, которая заслуживает быть отмеченной, а именно: правительство не только не искало, но, напротив, старалось по возможности избегнуть столкновения и кровопролития. Накануне лорд Рёссель писал принцу Альберту, супругу королевы [1]): «Рауэн (начальник полиции) посоветовал нам разрешить процессии сформироваться и подойти к мосту, который она захочет перейти, но там она должна быть остановлена. По его мнению, это—единственное средство избегнуть сражения. Но если чартисты начнут стрелять и действовать острым оружием, то будут вызваны войска, и у меня нет никакого сомнения относительно того, что они легко разобьют лондонскую толпу. Но какая бы то ни была потеря жизни причинит глубокое и долгое чувство мести, и я по этой и другим причинам надеюсь, что все сойдет счастливо». Сам Веллингтон на вопрос знакомого, что̀ он предпринимает к 10-му апреля, сказал: «мы принимаем всевозможные меры, но, кроме как по абсолютной необходимости, вы не увидите ни одного солдата, ни одной пушки. Если физическая сила закона, конная и пешая полиция, не справится со своей задачей или очутится в серьезной опасности, тогда войска немедленно перейдут в наступление, и тогда наступит момент для их действия. Но было бы большой несправедливостью для обеих сторон вызывать войска для отправления полицейских обязанностей: армия не должна ни смешиваться с полицией, ни растворяться в ней». Каждый судил с своей точки зрения, но все они сходились на том, что следует избежать кровавого столкновения и, конечно, не следует провоцировать его. Тут, несомненно, сказывалась политическая мудрость английских правящих классов,—мудрость, которая, повидимому, была совершенно недоступна современным или позднейшим правителям на континенте. Но эта мудрость не ограничивалась лишь соображениями внутри-политического порядка. В ответ Рёсселю принц Альберт писал [3]): «Сегодня произойдет испытание силы чартистов и всех злонамеренных элементов. Я ни на минуту не сомневаюсь, кто окажется сильнее, но будет чрезвычайно досадно, если случится что-нибудь в роде мятежа, так как это подорвет доверие, которое Европа питает к устойчивости наших учреждений и на котором покоится благополучие нашего государства». Согласно этому все войска были запрятаны по казармам и в засадах, и, кроме полицейских и

[1]) „Letters of Queen Victoria" („Письма королевы Виктории"), т. II, стр. 108 (изд. 1907 г.).

[2]) Теодор Мартин: „Life of Prince Consort", т. II, стр. 33.

[3]) „Letters of Queen Victoria", т. II, стр. 199.

белой гвардии, на улицах не было видно никаких вооруженных сил.

С девяти часов утра со всех концов Лондона стали проходить колонны демонстрантов к сборным пунктам, а оттуда переправляться к Kennington Common по указанным полицией маршрутам. Все проходило спокойно и мирно: полиция не мешала и даже не трогала флагов, пестревших подобающими лозунгами, а демонстранты с своей стороны не учиняли никаких беспорядков. К 12 часам демонстранты уже были на Common и туда же приехал в полном составе конвент на специально для этого случая сооруженных и разукрашенных линейках, везя с собою гигантскую петицию. До этого конвент имел небольшое формальное заседание, на котором О'Коннор выступал с упоминавшейся уже речью, но настроение среди членов его было, несомненно, тревожное: кто мог знать, на что решится правительство и как поведет себя сама толпа? Дело, однако, окончилось еще более благополучно, чтобы не сказать бесцветно, нежели обе стороны ожидали. Как только конвент приехал, О'Коннору передали, что его хочет видеть Рауэн. Вероятно, О'Коннор думал, что его хотят задержать. Но оказалось, что начальник полиции хотел его видеть затем, чтобы сказать ему в последний раз, что правительство решило не пускать процессии через мост к парламенту и что попытка прорваться приведет к кровопролитию. О'Коннор вернулся к митингу и, взобравшись на трибуну, произнес речь, содержание которой свелось к тому, чтобы толпа, исполнив ныне свой долг, мирно разошлась по домам, не давая полиции повода к репрессиям. Он говорил долго и патетически, со всем жаром своего красноречия, но ни слова не сказал о чартере и о том, за что он столько лет звал народ бороться. Публика, выслушав его, менее чем через два часа уже стала расходиться с поля, и знаменитое 10-е апреля пришло к концу. О'Коннор же с комитетом партии, усевшись в наемные экипажи, увезли петицию в парламент [1]).

Никогда, кажется, не было в истории случая, когда так много ожидалось со всех сторон от одного дня, и когда эти ожидания оказались бы такими безрезультатными. Конечно, в самой этой безрезультатности уже заключался смысл дня. Для правящих классов, знавших, какое значение О'Коннор и его фракция придавали этому дню, как много надежд они возлагали на импозантность манифестации, как много они рассчитывали на моральный эффект многотысячной процессии к парламенту для поддержания петиции,—для них отказ

[1]) „N. S." 15 апреля.

организаторов от процессии и, фактически, от манифестации означал большую победу. Для вящшего впечатления они еще постарались устами своей прессы, получившей на то должную инспирацию со стороны правительства [1]), преуменьшить размеры собравшейся на Кеннингтонском лугу публики, утверждая, что ее было не более 15—20 тысяч, что с тех пор и повторяется историками вплоть до наших дней. На деле там, повидимому, собралось, несмотря на правительственную прокламацию, около 150.000, хотя сам О'Коннор,—несомненно, компетентнейший человек в Англии, чтобы судить о размерах народных митингов, но в данном случае пристрастный,—называл цифру в 400.000. Но так или иначе, это была победа правящих классов и, в частности, самого правительства, и глава последнего—Рёссель мог не без гордости начать свой доклад королеве в тот же день следующими словами [2]): «Лорд Джон Рёссель свидетельствует ее величеству свое нижайшее почтение и имеет честь доложить, что митинг на Кеннингтонском лугу окончился совершенным провалом». Принц Альберт также писал своему другу и советнику барону Штокмару [3]): «Мы вчера имели свою революцию, и она окончилась дымом. Лондон выставил несколько сот констэблей, войска были скрыты от глаз публики для того, чтобы избегнуть столкновения, и закон остался победителем». Лорд Пальмерстон тоже писал послу в Париже [4]): «Вчера был день славы, настоящее Ватерлоо общественного спокойствія и порядка... Чартисты сыграли жалкую роль и не собрали больше 15.000 человек. Фергюс был перепуган до смерти, но почувствовал себя счастливейшим человеком в Англии, когда ему сказали, что процессия не будет пропущена через мост. Чартисты увидели теперь, что большинство населения Лондона не на их стороне, и будут, вероятно, некоторое время держаться ниже травы и тише воды в ожидании более благоприятного момента». Пальмерстон, который, повидимому, чувствовал себя, как больной, благополучно переживший кризис, и поэтому охотно верил всяким сплетням, тем не менее прибавляет интересную подробность, в подлинность которой нельзя не верить, а именно: «иностранцы блистали своим отсутствием, но полиция и констэбли поклялись примерно разделаться со всеми усатыми и бородатыми мятежниками, которые попадутся им в руки, и я убежден, что они стерли бы их в порошок».

---

[1]) Правительство накануне попросило все редакции не превышать цифры в 15—20.000 при оценке размеров демонстрации „(N. S.“ 22 апреля).

[2]) Письма королевы Виктории, т. II, стр.

[3]) Мартин, ук. соч., т. II, стр. 34.

[4]) Эшли, Life of Palmerston, т. II, стр. 8c.

Что особенно радовало правящие круги, так это, во-первых, единодушие, с каким имущие классы вооружились для защиты священных прав собственности. «Говорят,—пишет Пальмерстон в той-же депеше,—что было свыше 100.000 чрезвычайных констэблей; иные говорят даже, что их было 250.000. Но улицы кишели ими, и люди всех сословий и рангов соединились вместе в один общий союз для защиты законов и собственности». В палате лордов [1]) представитель правительства лорд Ленсдоун, в ответ на всеобщие поздравления, заявил: «Что особенно вдохнуло в правительство ее величества уверенность, необходимую ему для того, чтобы действовать, как оно действовало, так это убеждение, сложившееся за последние два дня, что если нужно будет призвать на помощь ту или иную часть общества, то эта помощь будет оказана с большой готовностью». Другой аристократ, маркиз Нортхэмптонский, тоже «пожелал выразить благодарность палаты за благородное поведение лондонского населения по этому поводу, выражая уверенность, что дух порядка и привязанности к английской конституции,—в частности, дух религиозности и нравственности, обнаруженный средним сословием,—не так скоро будет забыт». Это, действительно, был урок, который аристократия и буржуазия не могли так скоро забыть: он их учил не бояться больше революции и верить в силу и устойчивость их классового положения. «Сила наших установлений,—говорила сама королева в тронной речи при закрытии этой знаменательной сессии в сентябре [2]),—подверглась экзамену и выдержала его вполне удовлетворительно... Мой народ слишком хорошо чувствует все благо безопасности и порядка, чтобы дать любителям грабежа и смуты какие-либо виды на успех в их злых козиях». Отныне правящие классы Англии получили уверенность, что революция им не страшна, что они справятся с любой угрозой, что если есть в Европе страна, которая устоит в общем водовороте, разразившемся после февральских дней во Франции, так это Англия. И это был второй урок, который правители Англии извлекли из исхода знаменательного 10-го апреля. Не только Пальмерстон убежден, что «исход вчерашнего дня окажет хорошее и успокаивающее действие на всю Англию и соседний остров (Ирландию) [3]), но, по мнению Грея, выступавшего по этому поводу в палате общин [4]), «результат окажет благотворное действие не в одной лишь Англии, но также по всей Европе,

---

1) „N. S.", 15 апреля.
2) „N. S.", сентября.
3) Эшли, указ. соч., т. II, стр. 80.
4) „N. S.", 15 апреля.

когда она увидит, что правительственная власть при исполнении своих обязанностей имела помощь и самую сердечную, активную поддержку со стороны большинства самого народа». Принц Альберт, который, как мы видели, придавал большое значение доверию Европы к устойчивости буржуазного строя в Англии, вследствие чего он хотел избежать хотя-бы даже видимости революции, теперь в своем письме к Штокмару выражал надежду [1]), что «это (т.-е. мобилизация буржуазных элементов) будет с пользой замечено на континенте», а своему секретарю, сэру Чарльзу Фиппсу, писал: «какое сильное впечатление все это окажет на весь мир!»

Действительно, Англия своим примером не только сама повысила свой международный престиж, но и показала всем другим правительствам, как надо поступать с революцией, вдохновляя их тем на контр-революцию. Нет сомнения, что июньские дни в Париже имеют свое духовное начало в уроках 10-го апреля в Англии: последняя в этот день не только отбила революционную волну, ударившую было об ее берег, но и послала обратно волну, контр-революционную, которая в короткое время смыла все революционные завоевания. Можно даже пойти дальше и сказать, что Англия стала политической мастерской европейской контр-революции, собрав у себя всю реакционную и монархическую эмиграцию, с которой и двор, и правящие классы вступили в самый тесный контакт, поучая их уму-разуму и всеми средствами помогая им в организации их планов. В Англию сбежала изгнанная королевская семья из Франции, связанная узами родства с королевой Викторией, в Англии отсиживался и пересылал домой советы кронпринц прусский, сбежавший, как только восстал берлинский народ, и в Англии же жил и приобретал опыт Луи Наполеон, будущий герой государственного переворота, который 10-го апреля охранял одну из аристократических улиц Лондона в качестве чрезвычайного констэбля. На этих иностранцев не распространялось действие исключительных законов, ни даже особого «закона об иностранцах», вскоре после 10-го апреля изданного парламентом. Напротив, они пользовались особыми милостями двора и аристократии и могли спокойно заниматься выработкой своих контр-революционных планов. Придворные и государственные архивы когда-нибудь откроют нам свои тайны, и мы тогда увидим, какую роль буржуазная Англия, победительница при «Ватерлоо общественного спокойствия и порядка» 10-го апреля, сыграла в организации и поощрении европейской реакции ближайших лет.

---

[1]) Мартин, ук. соч., т. II, стр. 34.

III.

Упадок и разгром.

Кривая революционного движения, поднимавшаяся с конца февраля, начала после 10 апреля спускаться, но и в этом обратном процессе было много поучительного, много такого, что достойно нашего внимания.

Ликованию в лагере правящих классов соответствовало разочарование в лагере чартистов. Массовая процессия к парламенту, которая мыслилась как демонстрация силы, стоящей за петицией и за чартером, не состоялась, и хотя, вопреки прокламации правительства, сто тысяч народа собралось на условленном месте, однако и эта манифестация не удалась. Решительное выступление, к которому чартисты готовились и готовили публику в течение полутора месяцев и которое, по их мысли—или, скорее, по мысли О'Коннора—должно было сдвинуть с мертвой точки движение рабочего класса за свое освобождение, если не прямо сломить «слабую и продажную олигархию»,—это выступление, обращавшее на себя внимание всей Европы, провалилось самым очевидным образом. Разочарование стало еще более удручающим, когда на другой день парламентская комиссия по петициям доложила палате, что по произведенному ею подсчету пресловутая петиция содержала не пять слишком—почти шесть—миллионов подписей, как утверждал в палате О'Коннор, а немногим меньше двух, и что среди подписей было не мало фиктивных имен вроде герцога Веллингтонского, Роберта Пиля, самой королевы, и прозвищ «курносый», «плосконосый» и т. д. Напрасно О'Коннор пытался доказывать простым арифметическим расчетом, что комиссия никоим образом не могла в такой короткий срок подсчитать даже двух миллионов подписей, и, ссылаясь на прежние опыты, указывал, что петиции сплошь и рядом испещряются неприличными словами и вымышленными именами, что никогда еще не считалось парламентом за умаление значения документа. Однако палата в упоении своей победой не склонна была серьезно разбираться в этих аргументах. Она осыпала его насмешками, перебивала его оскорбительными замечаниями и, когда он в сердцах оборвал свою речь на угрозе и вышел из палаты, его под стражей заставили вернуться и извиниться за оскорбление высокого учреждения. Конечно, это было не более, как политическое хулиганство, и чартисты это понимали; но то обстоятельство, что правящие клики могли себе позволить такую дерзость, а они сами были бессильны чем-нибудь ответить на нее, еще больше удручало их.

Что им было теперь делать? Согласно программе, конвент должен был теперь ждать исхода судьбы петиции и, в случае ее отклонения, приступить к составлению мемориала и созыву массовых собраний для утверждения его и выборов в «национальное собрание». Но имело ли еще смысл надеяться на положительный исход петиции? Не было ли ясно, что палата отвергнет ее с презрением? Сам О'Коннор больше не предавался самообольщению и даже не явился в палату в тот день, когда ему предстояло внести свою резолюцию о чартере. Но если вопрос о петиции можно было считать предрешенным, то разве вопрос о мемориале не стоял точно в такой же плоскости? Разве можно было ожидать, что корона обратит на него больше внимания, чем парламент обратил на петицию? А если она отвергнет мемориал, то какие силы, после плачевной демонстрации 10 апреля, найдутся у чартистов, чтобы преодолеть сопротивление? Несомненно, чартисты ставили себе эти вопросы и не находили удовлетворительного ответа. Кампания, казалось, была проиграна: оставалось лишь признать это и начать работу сызнова.

Однако чартисты на это не решались и, в частности, О'Коннор старался доказать, что далеко еще не все потеряно. По его мнению [1]), кризис 10 апреля—кризис, созданный «глупостью одних, болтливостью других и предательством третьих»—имел то хорошее, что заставил весь мир говорить о чартере, о народных обидах, о положении рабочего класса, так что в этом смысле чартисты добились своего и, можно сказать, одержали моральную победу над врагом. Теперь нужно только использовать положение и не портить дела излишней поспешностью: он, О'Коннор, сам к ближайшей неделе разработает план действий, который неминуемо и в кратчайший срок приведет к смещению ненавистного правительства вигов.

Из статей его в более поздних номерах «С. З.» [2]) мы узнаем, что он тогда подразумевал под словами: «излишняя поспешность» и в чем состоял его новый план. Он полагал, что прибегать сейчас к мемориалу и национальному собранию, т.-е. становиться, как это мыслилось, на неконституционную позицию, было бы и опасно, так как открыло бы двери всевозможным провокациям со стороны правительства, и нецелесообразно, пока не окрепло соответствующее настроение в народе под влиянием безработицы и растущего разочарования в свободной торговле, и преждевременно в том смысле,

---

1) «N. S» 15 апреля.

2) «N. S.» 22 апреля и 20 мая.

что еще не исчерпаны легальные возможности, которые указывались первоначальным проектом петиции. Он поэтому предлагал: мемориала не составлять, национального собрания не созывать, а в виду провала общей национальной петиции применить метод местных, строго проверенных петиций, которые соответствующие депутаты обязаны будут докладывать всякий раз палате и тем беспрерывно ставить вопрос о чартере на ее обсуждение. Это будет иметь в данной обстановке не только агитационное значение, но в конце концов поставит и депутатов и правительство в невозможное положение.

Надо полагать, что этот план, разглашенный в прессе много позже, был предложен комитету партии вскоре после 10-го и был им отвергнут, так как 15-го конвент уже принял текст мемориала и постановил назначить в условленный уже раньше день одновременные массовые митинги для выборов в национальное собрание. 25-го апреля, на своем последнем заседании, он даже принял формальную резолюцию о созыве национального собрания «вопреки совету О'Коннора» [1]. Верил ли конвент в то, что он делал? Вряд ли серьезно, но очевидно, что по сравнению с проектом О'Коннора его собственная программа все же казалась менее утопической. В общем не подлежит сомнению, что авторитет О'Коннора сильно пострадал за это время, и его планы больше уже не внушали к себе ни доверия, ни даже уважения. На него нападали даже ближайшие друзья, как это можно видеть по апологетической статье, которую он напечатал в своем органе в это время [2], и как это ярко отразилось в прениях одного из первых заседаний национального собрания, действительно, открывшегося в Лондоне 1 мая [3].

О массовых собраниях, проведенных еще конвентом, мы читаем в «С. З.» много интересных и восторженных отчетов, но, повидимому, наиболее яркие были те собрания, на которых выступал Эрнст Джонс. Энергичный, умный и красноречивый, он и теперь не колебался отстаивать революционные методы борьбы, утверждая, что «не процессиями, а оружием народ добьется своих прав» [4]. Фактически он остался единственным из «старой гвардии», принявшим участие в национальном собрании, так как О'Коннор не только сам отказался выставлять свою кандидатуру на митингах, но заставил и Харнея

[1]) «N. S.» 29 апреля.

[2]) «N. S.» 15 апреля.

[3]) « О'Коннор как политический деятель пережил себя уже и 1848 г. Его сила была сломлена, его миссия—закончена, и, будучи неспособен управлять пролетарским движением, им же организованным, он стал почти что помехой ему», писал Маркс в связи с его смертью в 1853 г. в «Нью-Иоркской Трибуне» от 3 мая того года.

[4]) «N. S.» 20 мая.

сделать то же самое под предлогом, что он, как редактор «С.З.», обязан отдавать газете все свое время [1]). Также и Бронтер О'Брайен отошел в сторону, посвятив себя своему собственному кружку, в котором проповедывал национализацию земли и денежную реформу. Национальному собранию был таким образом объявлен бойкот со стороны двух самых старых и до сих пор наиболее популярных вождей чартизма, которые и сейчас еще—в особенности О'Коннор—продолжали пользоваться значительной популярностью среди масс в провинции. Понятно, что это не могло не отразиться не только на настроении, но и на самом составе собрания, ибо многие из тех, которые были выбраны его членами, узнав об отношении к нему О'Коннора, также отказались от участия в нем. В результате вместо проектировавшихся ста членов, в Лондон съехалось немногим больше 60, и среди последних было не мало таких, которые весьма редко или вовсе не появлялись на заседания. Все это, на другом полюсе, накопляло раздражение против О'Коннора и вело к неприятным ссорам, подрывавшим работоспособность собрания.

Последнее начало свои занятия с обсуждения вопроса о том, игнорировать ли закон, допускающий собрания делегатов числом не свыше 49, или остаться на почве легальности. После долгих споров собрание решило не обращать внимания на закон. Правительство не реагировало, и собрание продолжало свои заседания. В течение двух дней шли затем доклады с мест о положении рабочих масс и о настроениях на массовых митингах. В огромном большинстве делегаты нарисовали такую же картину нужды и отчаяния, какую изобразили их предшественники в конвенте месяцем раньше, и так же, как и тогда, мнения разделились относительно того, готовы ли массы к революции или нет. Это фактически означало, что попытка вызвать восстание в случае провала мемориала привела бы к катастрофе. Собрание поэтому решило признать следующую программу для своих работ: 1) изыскать средства, которые дали бы собранию возможность укрепить и усилить движение, 2) определить форму организации и тактическую линию, 3) изыскать наилучший способ передать мемориал королеве и 4) обсудить наиболее практические способы осуществить чартер. По первому из этих вопросов решено было, после длинных прений, образовать агитационный фонд в 10.000 фунт. ст. Это было скорее пожелание, чем серьезное постановление, так как никто, в сущности, не знал, из каких источников можно было получить такую сумму. Время, когда чартистское движение пользовалось патронажем бирмингамских банки-

---

[1]) «N. S.» 13 мая.

ров, давно прошло, а безработица среди рабочего класса исключала всякую возможность собрать такие средства небольшими взносами. По второму вопросу прения приняли особо острый характер: внесено было предложение переменить самое имя партии и отказаться даже от слова «чартизм» в виду того, что оно слишком тесно отожествлено в общественном мнении с именем О'Коннора! Это предложение вызвало бурю негодования со стороны как тех, которым дорого было историческое имя партии и ее славные традиции, так и тех, которые из искреннего уважения или сострадания к старому вождю считали за святотатство покушаться на его имя ради буржуазного общественного мнения. Прения были продолжительны и страстны, и только Джонсу удалось внести некоторое успокоение дипломатическим указанием на то, что само собрание в одном из своих недавних «манифестов» требовало «не лиц, а мер». Все же знаменательно было то, что в результате это предложение собрало 14 голосов и что среди даже противников предложения не нашлось ни одного, который целиком и принципиально отстаивал бы О'Коннора. В дальнейшим по тому же организационному вопросу собрание долго дебатировало вопрос о диетах для членов исполнительного комитета, а также вопрос, нужен ли исполнительный комитет вообще; в конце концов был выработан новый организационный план.

Вопросы тактики свелись к тому, нужно ли издавать дальнейшие прокламации к народу, каково должно быть отношение партии к системе постоянных армий, должны ли чартисты бороться против алкоголя и каким способом партия могла бы обзавестись ежедневной газетой. Во всем этом было много нереального и академического, но на это тратилось столько времени, что на девятый день собрание неприятно было поражено фактом, доведенным до его сведения некоторыми провинциальными членами, что за все последнее время в Лондоне партия не провела ни одного собрания и что агитация грозит совсем заглохнуть [1]. Тогда же выяснилось, что в кассе не имеется никаких денег и что общее число членов партии, платящих взносы, не более 5000 [2]. Собрание тогда назначило большой митинг под открытым небом на 15-е мая. Собрание далее приняло предложенную Джонсом резолюцию о вооружении народа—совершенно неожиданный экскурс в область революционных дерзаний, который потому лишь был возможен, что большинство делегатов придавали резолюции чисто декларативный

---

[1] «N. S.» 13 мая.

[2] «N. S.» 6 мая.

характер. Впрочем, она и формулирована была таким образом, что правительство едва ли могло придраться к ней: так как-де время было неспокойное и в Европе грозит разразиться война, в которой Англия не преминет принять участие, и так как на Англию могли напасть сильные соседи в то время, как, по признанию самого правительства, ее военные силы были недостаточны для отражения врагов и для охраны собственности, то каждому гражданину рекомендовалось на основании конституции обзавестись оружием [1]). Трудно сказать, говорилось ли все это иронически или серьезно; однако кое-где в провинции рабочие стали приобретать оружие и обучаться его употреблению, за что жестоко и поплатились. Гораздо интереснее была другая резолюция, предложенная Макдуалем и Джонсом и также принятая собранием, по поводу поднятой в это время либералами и буржуазными радикалами агитации за «умеренную» реформу избирательного права. Резолюция, констатируя «с удовлетворением проявляемый буржуазией интерес к вопросу об избирательном праве, но подчеркивая справедливость принципов чартера, принципиально отвергает агитацию за меньшую реформу» [2]) и рекомендует чартистам посещать собрания буржуазных реформистов с тем, чтобы, отнюдь не срывая их какой-либо обструкцией, отстаивать свою точку зрения и выдвигать свои резолюции или поправки. Согласно этому постановлению чартистские ораторы повели широкую агитацию на буржуазных собраниях и имели большой успех.

Все это было более или менее интересно и важно, но самого интересного и важного собрание до сих пор, по существу, не обсуждало, а именно вопроса о мемориале, по которому оно имело императивный мандат. Собрание, правда, поручило вновь избранному временному исполнительному комитету снестись с соответствующими властями на предмет получения аудиенции для вручения мемориала королеве. При этом произошли большие прения [3]) относительно того, следует ли обратиться за этим к министру внутренних дел, как это полагалось по конституции, или непосредственно к дворцовому ведомству, а также о том, следует ли депутации, которая пойдет на аудиенцию, соблюдать все необходимые формы придворного этикета. Были такие, которые отвергали такую процедуру вообще и предлагали устроить большой народный митинг под

---

[1]) «N. S.» 13 мая.
[2]) «N. S.» там же.
[3]) «N. S.» там же.

открытым небом и отправиться оттуда всей толпой ко дворцу и требовать аудиенции. В конце концов решено было действовать через небольшую депутацию, которая будет подчиняться всем правилам этикета, и хлопотать об аудиенции не через ненавистного лорда Ресселя, а через министра двора (лорда-камергера). Но во всех этих прениях старательнейшим образом обходился центральный вопрос о том, каковы должны быть дальнейшие шаги, если мемориал постигнет такая же участь, как национальную петицию. А, ведь, для решения этого вопроса и было создано национальное собрание, которому даже было вменено в обязанность в случае неудачи мемориала объявить свои заседания непрерывными и конституироваться в качестве второго, истинно-народного парламента! Но не кто иной, как сам Эрнст Джонс, борясь против проекта массовой подачи мемориала, трезво указывал на то, что обстоятельства в последние недели изменились и что «необходимо основательно организовать народ, прежде чем решиться на бой с теми мятежниками в высоких сферах, которые могут попытаться поднять восстание против принципов британской конституции и защитников народной хартии». Это значило—и все сознавали это—что задача, которая была возложена на собрание, была для него невыполнима, и понятно, что не решаясь открыто признаться в этом и тем обрадовать врагов, собрание всеми силами старалось избегать обсуждения этого трагического вопроса.

Меж тем в провинции, где и настроение было более революционное и знакомство с деталями положения было менее близкое, как раз этому вопросу продолжали придавать большое значение, и тактика молчания собрания вызвала большое раздражение. С разных концов стали прибывать протесты и письма, осуждавшие пассивность собрания по этому кардинальному вопросу, и делегатам присылались инструкции настаивать на вырешении его в кратчайший срок. Это, между прочим, сослужило большую службу О'Коннору, который открыто аппелировал к своим «плисовым курткам» против нападок своих врагов, стал получать и целыми столбцами публиковать на страницах «С. З.» бесчисленные резолюции доверия к нему и осуждения его противникам. Национальное собрание постановило, по предложению Макдуаля, принять резолюцию, категорически заявляющую, что «как целое оно никогда не занималось вопросом о личном характере О'Коннора или кого-либо другого, ибо оно принципиально против внесения личного элемента в споры». Эта резолюция вовсе не имела того значения, какое, быть может, хотелось бы О'Коннору. Она имела

своей целью закрыть рот буржуазной прессе, которая трубила о расколе в партии. Тем не менее О'Коннор признал себя удовлетворенным и выразил свою радость по поводу восстановления единого фронта против общего врага. Но прекращение внутренней расприи между вождями не могло примирить массы с собранием, которое не оправдало их ожиданий, и собрание в конце концов вынуждено было поставить роковой вопрос на обсуждение. [1]) Тут выяснилось его полное бессилие. Один за другим ораторы признавали, что долг собрания—довести дело мемориала до конца, но когда они доходили до вопроса о средствах, то обнаруживался полный тупик. Опять поднимался старый вопрос о «физической» и «моральной» силах, опять одни рекомендовали массовые собрания и петиции, а другие—решительные действия неопределенного характера; некоторые предостерегали против запугивания буржуазии и провоцирования правительства на репрессивные меры, а другие требовали строгого выполнения мандата. Кто-то предложил совсем разойтись и передать дальнейшую судьбу злосчастного мемориала в руки исполнительного комитета; против такого трусливого проекта поднялся сильный протест и некоторые делегаты грозили уходом с собрания в случае принятия его. Один из членов исполнительного комитета, старый партийный работник Лич возымел, наконец, мужество высказать то, что накопилось в душе у каждого: «совершенно бесполезно скрывать правду: мы тут не Национальное Собрание, мы вовсе не представляем Англии, мы не представляем чартера, мы даже не представляем самих себя» [2]). Неизбежное тогда совершилось: утомленное и истерзанное взаимной и бесплодной борьбой и сознанием своего бессилия, собрание постановило разойтись и поручить исполнительному комитету вести дело мемориала дальше. Сам Джонс в глубоко прочувствованной речи, в которой все же звучали и бодрые ноты, поддержал это решение, указывая на «только что произнесенные самими членами собрания надгробные речи». Он думал—и в этом он не ошибался—что собрание только парализовывало движение и что без него комитет, состоящий из таких энергичных борцов, как он сам, Макдуаль, Кидд, Лич и Макрей, поведет работу лучше. Так, ровно две недели спустя после своего открытия, бесславно прекратило свое существование «Национальное Собрание», которое должно было оспаривать власть у олигархического парламента. О'Коннор оказался прав: не следовало созывать Собрания при обстановке, создавшейся

[1]) „N. S.“, 20-го мая.

[2]) „N. S.“, там же.

после 10-го апреля. Но, выставляя это опять на вид в статье, посвященной самороспуску Собрания [1]), он забывает упомянуть, что и он сам нес не малую долю ответственности за такой исход.

Мы приближаемся к концу нашего повествования, но чтобы изобразить все в надлежащей перспективе, нам необходимо бросить взгляд на то, что происходило в это время в стане врагов. Первое, что бросается в глаза при обзоре пройденного нами периода, начиная от 10-го апреля,—это необыкновенная сдержанность властей в использовании своей победы. Они как будто решили не добивать побежденного противника, и не только не произвели никаких арестов, но и дали заведомо незаконному Национальному Собранию собраться и принимать какие угодно решения. Пресловутый закон об охране короны и правительства не применялся, и исключительный закон против иностранцев также остался мертвой буквой. «Таймс» писал: «мы подавили чартизм, но мы не замирили недовольства» [2]), и политика правительства, казалось, была направлена к тому, чтобы, по крайней мере, не увеличивать недовольства ненужными репрессиями. В письме к королеве от 15-го апреля [3]) лорд Джон Рёссель излагает свой взгляд на события на континенте, которые косвенно дают нам представление о соображениях, повидимому, диктовавших ему осторожную, чтобы не сказать мягкую политику по отношению к чартистам на этой стадии. По его мнению, вина за революцию во Франции и за «великое несчастье, которое обрушилось на Европу», падает всецело на Луи Филиппа, который не сумел создать «умеренно-конституционного правительства» у себя, во Франции. Ту же ошибку сделал Меттерних: «не было никакой возможности, чтобы запрещение свободы слова и печати, составлявшее сущность меттерниховской системы, могло продолжаться, и эта система, которую можно было потихоньку исправить, обрушилась с треском, распространяя повсюду разрушение и смерть». Он противопоставляет этой системе английскую практику и прибавляет: «пример Англии однако даст, может быть, Европе передышку для размышления. Ближайшие шесть месяцев будут очень трудны, но результаты могут оказаться лучше, чем мы сейчас в состоянии предвидеть». Очевидно Рёссель много ожидал от своей политики в смысле именно «замирения недовольства».

Но рядом с правительством принялось лихорадочно за дело и так называемое «общество». О'Коннор был вполне прав, когда говорил,

---

[1]) „N. S.", *там же.*

[2]) Цит. в „N. S." 27 *мая.*

[3]) „Письма королевы Виктории", т. II, стр. 201.

что после 10 апреля вся Англия сочувственно заговорила о чартизме, но он ошибался, когда истолковывал это повышенное внимание к нему, как приближение буржуазии к точке зрения рабочего класса. На деле буржуазией при всех ее разговорах о чартизме руководила мысль о том, как бы развратить и выхолостить чартистское движение и отвлечь от него массы. Развращением чартизма специально занялась группа лиц—большей частью духовного звания,—которые явились основателями так называемого, христианского социализма. Центральной фигурой среди них был некий Фредерик Денисон Морис, видный и влиятельный теолог, интересовавшийся рабочим вопросом и основывавший вечерние просветительные курсы в бедных частях Лондона. Накануне 10 апреля он обнаружил свою любовь к рабочему классу тем, что предложил свои услуги в качестве «констэбля», но не был принят по причине своего сана. Не успела окончиться демонстрация, как к нему прибежали одинаково взволнованные событиями близкие друзья его Кингслей и Ледлоу [1]). Из них Кингслей был самый талантливый и самый энергичный автор популярных повестей и популярных проповедей, народник-патриот и теолог-демократ. Они пришли к Морису поговорить о том, что бы такое предпринять, чтобы спасти страну от смуты, а народ от вредных утопий. Поговорили и решили выдвинуть кооперацию (освобожденную, конечно, от оуэновских химер) в противовес чартизму и «внутреннее» освобождение в противовес «наружному». Эту программу они и назвали «христианским социализмом» и немедленно приступили к ее популяризации. Уже на следующий день заборы Лондона были покрыты аншлагами от имени «рабочего священника» (псевдоним Кингслея), в которых чартизм подвергался резкой, но оригинальной критике, и затем каждый день появлялся новый аншлаг. «Я—реформатор-радикал»,—говорилось на одном из них [2]),—и я не принадлежу к числу тех, которые осмеивают события 10 апреля. Я потому лишь несогласен с чартером, что он не идет достаточно далеко. Я тоже хочу, чтобы вы освободились, но я не вижу, каким образом вы можете освободиться через чартер. Помоему, вы впали в такую же ошибку, что и богатые, против которых вы боретесь: и вы думаете, что политическая реформа есть социальная реформа и что людские сердца могут быть изменены парламентом. Если вы покажете мне страну, где чартер превратил негодных людей в честных, а бездельников—в трудолюбивых, то я переменю свое мнение, но не раньше. Нужно быть достойным сво-

---

[1]) Стеббс—Charles Kingsley, стр. 103.

[2]) Стеббс—ук. соч. стр. 116.

боды, и тогда бог вас сделает свободными». Или в другой раз: «вы думаете, чартер сделает вас свободными людьми? Дай бог, чтобы это было так. Но сделает ли вас чартер, действительно, свободными? Сделает ли он вас свободными от рабского преклонения перед 10-фунтовой бумажкой, от рабской преданности водке и пиву?.. Без добродетели не будет истинной свободы, без веры не будет истинной науки, без страха божьего и любви к ближнему не будет истинного труда». Это была пропаганда «внутреннего» преобразования, как источника «истинной» свободы и «истинного» счастья, и велась она с большим искусством, не щадя даже богатых, чтобы внушать доверие беднякам. «Я уверен,—писал Ледлоу [1]),—что многие чартисты и рабочие получат доверие к нему (Кингслею), какого они никогда не питали к духовенству, ибо они увидят, что прежде чем проповедывать удаление соринки из их глаз, он имеет мужество вынуть бревно из собственного».

Одновременно шли попытки расколоть движение. За два дня до 10 апреля несколько ренегатов-чартистов, в том числе Вильям Ловетт, игравший в первые годы движения выдающуюся роль и представлявший из себя тип, по современной терминологии, соглашателя-меньшевика, основал с некоторыми буржуазными радикалами «народную лигу» для «конституционной» борьбы за программу чартера, а вечером 10-го другая группа бывших чартистов и радикалов основала другое общество с подобными же целями под именем «народного чартистского союза» [2]). После 10-го апреля стали создаваться буржуазными радикалами—большей частью членами парламента, но уже без содействия чартистских ренегатов,—одна за другой организации для борьбы за «расширение» избирательного права и т. под. реформы, причем одни предлагали распространить избирательное право на всех домохозяев, другие—на домохозяев и их квартирантов, третьи прибавляли трехгодичные перевыборы в парламент, четвертые принимали почти все пункты чартистской программы, но без парламентских диет, и т. д. [3]). Одна организация возглавлялась радикальным членом парламента Юмом, некогда принимавшим участие в составлении программы чартера и помогавшим чартистам в парламенте, во главе другой стоял бирмингэмский депутат Мюнц, сам участвовавший в первом чартистском конвенте 1839 г., а потом, в качестве председателя суда присяжных, упекавший чартистов в тюрьму на долгие сроки, в третьей подвизался Кобден, злейший враг чартистов, которые платили ему той же монетой, и другие.

1) D-r Ф. Морис. «Life of F. D. Maurice», т. I. стр. 477.

2)Ве с т. стр. 258 и сл.

3) «N. S.» 6 и 13 мая.

Все эти организации проводили большую агитационную кампанию, доказывая, что чартисты гоняются за утопией и что их собственная «сокращенная» программа расчитана на то, чтобы объединить вокруг себя всех истинных друзей свободы всех классов и тем добиться успеха. Против них, как упоминалось, выступали чартисты, и большей частью собрания кончались победою последних. Много позже, а именно в июне, Юм внес в парламент резолюцию, требовавшую расширения избирательного права, и встретил сильное сопротивление со стороны Рёсселя, который доказывал, как вредно было бы при современной политической конъюнктуре на континенте проводить сейчас реформу избирательного права: «сохранение Англией старой формы конституции,—говорил он,— вызвало повсюду уважение и преклонение, и он надеется, что палата не предпримет ничего такого, что умалит это уважение и подорвет всеобщее доверие к Англии как великой плотине, о которую разбиваются волны и на которую спасаются тонущие». Впрочем, он признал, что в недалеком будущем, пожалуй, будет целесообразно дать некоторую реформу избирательного права в виду ««состояния общественного мнения» [1]).

Наконец, была еще третья форма мирной борьбы с чартизмом, а именно, проявлением участия к рабочему классу—приемом, хорошо знакомым в наше время, но тогда еще сравнительно новым даже в Англии. В упоминавшемся уже выше письме к Рёсселю от 10 апреля принц Альберт, выразив пожелание на тот счет, чтобы избежать столкновения между демонстрантами и полицией, продолжал [2]): «но я подробно справлялся относительно безработицы в Лондоне и, к моему огорчению, нашел, что число безработных во всех отраслях очень велико и что число их еще увеличилось, благодаря сокращению правительством всех общественных работ под влиянием требования экономии со стороны палаты общин. Право же, сейчас не время для налогоплательщиков производить экономию за счет рабочего класса, и хотя я не хочу, чтобы правительство следовало по стопам Луи Блана в его системе организации труда, однако я думаю, что правительство все же обязано делать все, что может, чтобы помочь рабочему классу в настоящем кризисе». Правительство, конечно, не вняло этому благому совету, но десять дней спустя сама королева призвала к себе знаменитого поборника и автора десятичасового закона лорда Шэфтсбери [3]), чтобы «узнать его мнение, в виду тревожного состояния страны, каким образом можно

1) „N. S." 24 июля.
2) Письма королевы Виктории, т. II, стр. 199.
3) Холдер, Life of Earl of Shaftsbury, т. II. стр. 246—249.

было бы наилучше проявить монарший интерес к рабочему классу». Шэфтсбери ответил, что принцу Альберту необходимо стать во главе «движений за социальные реформы», и принц, действительно, отправляется на заседание «общества улучшения положения рабочего класса» и произносит речь о необходимости помочь рабочим путем сотрудничества с ним буржуазии, но также и о том, что «истинное улучшение может быть результатом усилий самого рабочего класса» по пути самообразования, самосовершенствования и упорного труда. С тех пор оказание монаршего внимания к рабочему классу стало непременной частью политических обязанностей носителей английской короны, а в то время «смелый» шаг принца-супруга произвел сильную сенсацию. «Вот это и есть настоящий способ победить чартизм», записал тогда в свой дневник лорд Шэфтсбери [1]). Более передовая часть знати последовала примеру принца, и во многих городах основались при их участии общества, поощрявшие сооружение жилищ для бедной части населения, устройство «рабочих коледжей», оказание медицинской и юридической помощи рабочим, организацию эмиграции в колонии, и т. п. Просветительной деятельности, принимавшей форму распространения полезных научных знаний и популяризаций буржуазных теорий по обществоведению, придавали особенное значение, и упомянутый выше Морис писал [2]): «Как преодолеть оуэнизм и чартизм? Вот где лежит трудность. Репрессии оказались недействительными, но королева, в разговоре с лордом Мельбурном, правильно указала на истинный путь—на образование». Все эти формы деятельности и социального патронажа несколько позже приняли большие размеры и сыграли крупную роль, но сейчас это была лишь первая проба, придуманная наспех, и потому не была доведена до конца.

Дело в том, что правительство само не выдержало долго своей роли, несмотря на благие намерения его главы, и поддалось на провокацию своей собственной полиции, которая в этом деле пользовалась поддержкой и даже поощрялась наиболее реакционной частью прессы. Как мы видели, национальное собрание накануне самороспуска назначило агитационный митинг под открытым небом в Clerkenvell Green, одном из центральных тогда пунктов Лондона, на 15 мая. Джонс с самого начала хотел придать этому митингу особое значение: «вдвойне необходимо»,—говорил он еще на заседании собрания,—«чтобы народ тысячами пришел на митинг и показал правительству, что он не обращает ни малейшего внимания

---

1) Ходдер, ук. соч., там же.

2) D-r. Ф. Морис, ук. соч., т. I, стр. 269.

на устарелые законы, и смеет собираться, обсуждать и агитировать за свои права [1])». На митинг пришло, действительно, несколько тысяч человек, и члены исполнительного комитета—Джонс, Кидд, Макдуаль и др.—произнесли «зажигательные» речи, едко высмеивая буржуазных реформаторов, вздумавших конкурировать с чартистами, и резко нападая на правительство, вообразившее, что полицейскими методами и репрессивным законодательством можно уничтожить чартистское движение. Митинг сошел благополучно, несмотря на присутствие полиции, и вслед за ним стали организовываться другие, как в Лондоне, так и в провинции. Угнетенное настроение масс как будто стало проходить и даже перешло в боевое, когда Рёссель, отвечая на запрос Юма в палате, высказал убеждение, что «ни средние, ни рабочий класс не скучали по народному чартеру, ни даже по избирательной реформе Юма»[2]). Чартистский комитет немедленно выпустил призыв к массам выйти на улицу, чтобы опровергнуть клевету Рёсселя, и рабочие, действительно, стали выходить на улицу, устраивая демонстрации и митинги. Полиция тогда не удержалась и, не прибегая к прямым запрещениям на основании закона-кляпа, инсценировала драки и беспорядки, дававшие ей законный повод к нападению и избиению демонстрантов. Митинги и демонстрации постепенно превращались в уличные бои, и перепуганные обыватели опять стали организовать свои гвардии «констэблей» и взывать к правительству о мерах борьбы с анархией [3]). Уж к концу мая атмосфера опять насытилась грозой. Пресса била в набат, полицейский террор и полицейская провокация работали во всю и напоследок стали вмешиваться суды, налагая суровые наказания на лиц, арестовываемых по обвинению в учинении беспорядков и оказании сопротивления властям при исполнении служебных обязанностей. К этому времени относится интересное письмо принца Альберта к своей родственнице в Бельгии [4]): «До сих пор Бельгия и Англия остались стоять на месте без сотрясений и являют из себя полезный пример того, что значит истинная свобода. Однако даже здесь мы имеем массу рабочих, страдающих от голода и нужды вследствие полнейшего застоя в промышленности. Каждую ночь впродолжение прошлой недели происходили у нас стычки между чартистами и полицией, но последняя, благодарение богу, справлялась со своей задачей без помощи военной силы. В одну из таких ночей ей пришлось проломить своими дубинками головы от трехсот до четырехсот человек».

---

1) „N. S.“, 20 мая.
2) „N. S.“, 27 мая.
3) „N. S.“ 27 мая и 3 июня.
4) Мартин, Life of Prince Consort, I., II, стр. 76.

3-го июня в палате лордов обсуждали эти и подобные происшествия и находили, что правительство поступает слишком мягко. Веллингтон и другие требовали решительных мер против уличных демонстраций, а герцог Ричмондский требовал усиленной строгости со стороны судов [1]). Как раз в это время исполнительный комитет, во исполнение своего мандата, и получив отказ от министерства двора в ходатайстве об аудиенции, решил обратиться к самой королеве с письмом, излагая цель испрашиваемой аудиенции и заверяя ее в своем полном к ней уважении. Однако для подкрепления своего шага комитет одновременно постановил в Троицын день (12 июня) устроить в Лондоне и окрестных городах ряд собраний под открытым небом. Это окончательно взорвало буржуазное мнение, и правительство, забыв о международном престиже Англии, сдалось на капитуляцию; особой прокламацией полиция объявила [3]), что «так как в последнее время лица, именующие себя чартистами, проводили большие собрания под открытым небом в Лондоне и окрестностях, на которых произносились мятежные и зажигательные речи и которые создали большую тревогу и страх и привели к серьезному нарушению общественного спокойствия в виде беспорядка, смуты и к физическому сопротивлению закону, и так как некие лица, именующие себя членами исполнительного комитета чартистской ассоциации, огласили свое намерение созвать другие большие собрания, и мирное население боится опасного характера таковых собраний, которые могут вести к беспорядку и нарушению общественного спокойствия, то эти собрания ныне объявляются незаконными»; будут приняты меры к предупреждению их и население предупреждается против участия в них. Действительно, к указанному дню Лондон опять, как двумя месяцами раньше, быль наводнен войсками (до 10.000 человек), улицы были заняты многочисленными чрезвычайными констэблями, и правительственные и другие общественные здания были приведены в «боевую готовность» [4]). Самые площади, на которых имели произойти собрания, были заранее заняты полицией, и когда пришли демонстранты, то им оставалось либо уходить, либо вступать в бой. Чартистам, конечно, пришлось с протестом отступить, но в некоторых местах не обошлось без стычек, спровоцированных полицейскими агентами и хулиганами.

Опять, как после десятого апреля, буржуазия торжествовала победу, но на этот раз и само правительство не удовольствовалось

---

1) „N. S.“ 3 июня.
2) „N. S.“ там же.
3) „N. S.“ 17-е июня.
4) „N. S.“ 17 июня (статья "L'ami du Peuple" (Харнея).

моральными лаврами, а решило — в третий раз в истории чартистского движения — произвести генеральную «чистку» и нанести окончательный удар движению изъятием его наиболее активных вождей. 7 июня три видных лондонских чартиста были арестованы за «мятежные» речи, произнесенные ими на митинге в Clerkenvell Green 26 мая, а в самый Троицын день был арестован в Манчестере находившийся там на агитационной поездке сам Эрнст Джонс и привезен в Лондон. Спустя пару дней был арестован еще один из популярных ораторов партии, и все пятеро были преданы суду, ибо, как выразился судебный следователь, «тон и дух их речей были в высокой степени направлены к тому, чтобы толкнуть невежественную толпу на незаконные действия» [1]).

Еще не так давно Джонс на собрании в Clerkenvell Green 15-го мая, говоря о «законе-кляпе», выражал уверенность, что «правительство не поймает его на неосторожных словах (которые могли бы подвести его под действие закона), что, если оно так думает, то оно ошибается, ибо он, хотя и новый человек в партии, но в таких делах старый воробей» [2]). Увы, Джонс еще верил в то, что существует какой-то закон, хотя и плохой, и что правительству нужно будет «поймать» его на каком-нибудь «неосторожном слове», чтобы задержать его. На самом деле он в своей речи ничего «мятежного» не говорил. Он убеждал своих слушателей не заниматься отдельными и изолированными действиями, а организоваться и еще раз организоваться до тех пор, пока они не в состоянии будут действовать сообща в обще-народном масштабе; тогда, раз начав, они должны выдержать борьбу до конца, хотя бы для этого нужно было умереть. Он и закончил свою речь троекратным призывом к организации. Но правительство вовсе не нуждалось в законном предлоге, чтобы зажать ему рот: в порядке дня стояли не вопросы права и закона, а политики и силы, и все пятеро обвиняемых получили по два года — иные даже еще с двумя-тремя месяцами — тюремного заключения с принудительными работами. Судили их в главном уголовном суде при присяжных заседателях, набранных из лавочников, и судьей был известный тогда реакционер, породнившийся через жену с высшей аристократией, сер Томас Уайльд, который незадолго до этого на одном банкете в Сити вслух заявил: «дайте мне подходящий состав присяжных, а я уже приищу для них соответствующий закон» [3]). Несмотря на такое циничное издевательство над законом и правом, буржуазная пресса находила, что приговор над Джонсом был еще слишком мягок: «Таймс» писал, что Джонс дешево отде-

[1]) «N. S.» 10 июня.
[2]) «N. S.» 20 мая.
[3]) «N. S.» 22 июля.

лался, а другие прямо выражали сожаление, что приговор не оказался более суровым [1]). Нужно иметь в виду, что Джонс сам был выходец из аристократии (его отец был шталмейстером у герцога кумберлэндского, позднее короля ганноверского), и правящий класс не мог простить ему его отщепенства и его талантов, отданных на службу рабочему классу.

На этом месте мы можем остановиться в нашем повествовании. Мы пишем не историю чартизма, а историю революционных событий сорок восьмого года; эту же историю можно считать законченною днем осуждения Эрнста Джонса, 7 июля 1848 г. После него был арестован и также присужден к двум годам принудительных работ другой член комитета партии Макдуаль, затем посыпались массовые аресты, заканчивавшиеся драконовскими приговорами,—в общем, до пятисот человек угодили в тюрьму, и движение было раздавлено. Подобно тому, как 10 апреля приободрило контр-революцию на всем континенте, так кровавые июньские дни в Париже, несомненно, приободрили реакцию в Англии и вдохновили ее на окончательную расправу с чартистами. Это и было достигнуто разгромом их организаций и «изъятием» наиболее влиятельных и опасных вождей на долгие сроки.

От этого удара революционное движение в Англии уже больше не оправилось, и до самых наших дней английская буржуазия не перестает пользоваться плодами своей победы в 1848 г. Правда, не одной этой победой прожила и продолжает жить английская буржуазия: еще более блестящей и значительной была ее последующая победа на идеологическом фронте при помощи своевременных экономических и политических уступок, постепенно примиривших рабочий класс с капиталистическим строем и закрепивших на его шее идейное ярмо буржуазии. Но сама эта вторая победа стала возможной лишь в результате первой, которая, так сказать, перебила пролетариату революционный позвоночник и сделала его гибким и мягким как воск в руках его умных победителей. После 1848 г. в социальной истории Англии открывается новая глава—и даже не глава, а целый новый том, и этот том уже имеет совершенно иное содержание и проникнут совершенно иным духом. Если на континенте Европы этот год отмечает в ы с т у п л е н и е на сцену пролетариата, который отныне борется за свое освобождение, то в Англии он отмечает момент о т с т у п л е н и я пролетариата, который отныне душой и телом впрягается в триумфальную колесницу буржуазии и тащит ее по сей день. В этом значение этого года в Англии, и по этой причине о нем стоило рассказать.

---

[1]) «N. S.» 15 июля.

М. БЭР

ГЕРМАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1848—1849 г.г.

I. Накануне германской революции 1848—49 г.

1. Первый экономический подъем.

Германский союз или Германия в целом (включая сюда Австрию, но без Галиции и Венгрии) в ту пору был еще раздроблен на мелкие части; во главе стояли пользовавшиеся неограниченной властью император, 5 королей и 29 суверенных князей; а населения насчитывалось в 1848 году 46 миллионов, среди них 6 миллионов славян (чехи, поляки, словены, кроаты). Значительная часть германских государств—числом 18—составляли таможенный союз и единое экономическое целое: между ними не существовало таможенных границ и прочих преград для сообщения. Преобладали сельское хозяйство и ремесло, но промышленность уже начинала сильно развиваться и делала быстрые успехи.

В промышленном отношении более всего были развиты западные части Пруссии (Рейнская провинция и Вестфалия), Силезия и Саксония. В Австрии промышленность была развита в нижней Австрии (Вена), Богемии и Моравии.

В 1845, 1846 и 1847 годах на территории таможенного союза производилось в среднем промышленных изделий: железных на 25 миллионов талеров, полотняных на 135 миллионов, хлопчатобумажных на 88 миллионов, шерстяных на 80 миллионов, шелковых на 28 миллионов, стеклянных на 5 миллионов и свекловичного сахара на 4 миллиона талеров. В общем, промышленность на территории таможенного союза производила на 365 миллионов талеров ежегодно.

Австрия находилась вне таможенного союза и держалась политики покровительственных пошлин, сильно затруднявшей ввоз.

Внешняя торговля таможенного союза и Австрии в 1843—44 году выражалась в следующих цифрах:

Ввоз (в центнерах).

	Таможенный союз.	Австрия.
Лен, конопля	228.000	117.000
Шерсть	134.000	53.000
Шелк-сырец	14.000	1.345

Чугун и полосовое железо	3320.000	29.800
Железные товары	68.000	700
Пряжа	490.000	80.000
Льняные, хлопчато-бумажные и шерстяные изделия	56.400	137
Различное	37.000	5.000

Вывоз (в центнерах).

	Таможенный союз.	Австрия.
Лен, конопля	207.000	72.000
Шерсть	119.000	115.000
Сырой шелк	20.000	28.000
Чугун и полосовое железо	95.000	157.000
Железные товары	130.000	103 000
Пряжа	62.000	5.200
Льняные, хлопчато бумажн. и шерстяные изделия	217.000	44.000
Различное	130.300	930

Одна Пруссия производила в 1846 году: чугуна 1.880.869 центнеров, полосового железа 2.520.301.

Многие ее фабрики работали механическими двигателями, но все они еще представляли мелкие производства. Из статистических данных 1840 года видно, что в Пруссии насчитывалось тогда 79.000 фабричных предприятий и 551.000 рабочих, что составляет в среднем от 6 до 7 рабочих на предприятие. На ряду с этим работало 457.000 ремесленных мастеров и самостоятельных ремесленников, у которых работало до 385.000 подмастерьев и учеников. В южной Германии и Австрии ремесленное производство преобладало. Всюду была еще развита домашняя промышленность, при чем рабочие работали у себя в мастерской, но по заказу крупных торговцев и экспортеров. Весьма любопытно, что уже в 1837 и 1838 годах в Англии на рабочих собраниях зачастую слышались жалобы на торговую конкуренцию со стороны Пруссии, особенно в текстильной промышленности; эта конкуренция, говорили английские рабочие, возможна лишь благодаря крайне низкой заработной плате в Пруссии. Германия и особенно Пруссия, начиная с 1830 года, шла по восходящей линии экономического развития и каждое десятилетие отмечено было новым успехом в области производства, торговли и техники. В 40-е годы буржуазия осознала свое значение в государстве и обществе.

Начался этот подъем еще в 18 столетии, но он был прерван наполеоновскими войнами и последовавшей за ними реакцией. Лишь парижская июльская революция (1830), сместившая феодально-клерикальную бурбонскую династию и водворившая орлеанскую в лице мещанского короля Луи Филиппа, разбудила и расшевелила германскую буржуазию, вдохнув в нее новое мужество. Прекрасно рисует

это явление Фридрих Альберт Ланге в своей „Истории материализма" (том III стр. 436): „Июльская монархия и французский конституционализм расположили к себе круги, задававшие теперь тон, своей защитой материальных интересов имущих классов. Теперь стать руководителем общественного мнения Германии мог какой-нибудь купец или грюндер в роде Ганземана. Промышленные союзы и тому подобные общества в начале 30-х годов множились, как грибы после дождя; в области профессионального образования буржуазия преуспевающих городов основывала политехникумы, профессиональные и коммерческие школы". Правительства занялись путями сообщения: германский таможенный союз возник в 1834 году, а первая железная дорога (Нюрнберг—Фюрт) уж открылась в 1835 г.

2. Возникновение либеральной оппозиции.

Первый результат экономического сдвига дал себя почувствовать в религиозной области. В одно время с возникновением таможенного союза (1834) и открытием первой железной дороги (1835) появилось первое свободно-религиозное произведение Давида Фридриха Штрауса „Жизнь Иисуса", содержащее открыто-критический анализ евангелий. В области художественной литературы—тоже в 1835 году—появилось произведение Гуцкова „Валли сомневающаяся"; здесь сказалось не только религиозное свободомыслие, но и стремление к женской эмансипации. Начался подъем естественных наук. Юлиус Либих основал первую немецкую химическую лабораторию. Иоганн Мюллер положил начало современной физиологии, Александр Гумбольдт и Риттер занялись географическими изысканиями. Карл Ф. Гаусс работал над проблемой электро-магнетизма и подготовлял изобретение телеграфа. Мысль и поэтическое творчество покинули область превыспренней, расплывчатой романтики и идеализма. Место идеалистической философии, полагавшей, что идея предшествует чувственно воспринимаемому или играет решающую роль, заняло реалистическое мировоззрение. Теперь говорили: сначала бытие, затем сознание (мышление); сначала самое явление, а затем понятие о нем. Или, выражаясь философски: место идеализма занял материализм.

Громадное значение это имело в области изучения религии. Если раньше полагали, что бог создал человека, то теперь пришли к убеждению, что люди как род, как раса создавали себе бога из всего непонятного, поражавшего из способность понимания и чувства, из умственного отслоения их опыта и из размышлений о мире и человечестве, из всех моральных чувствований, захватывавших и волновавших их

головы и их сердца. Люди обоготворяли собственный дух; они возводили его в абсолют, в сверхчувственную, надмировую силу, возвышающуюся над всеми условиями и всеми ограничениями. Как известно, учение Людвига Фейербаха, изложенное в „Сущности христианства" (1841) и „Предварительных тезисах" (1843), оказало громадное влияние на тогдашнюю образованную молодежь.

Новое течение приобрело большое значение и для философии. Если раньше вместе с Гегелем полагали, что беспредельная идея прогрессивно развивается и в своем развитии порождает мир (минералы, растения, животных, людей) как своего рода внешние видимые формы и ступени, то теперь увидали, что материя существовала искони, что она организовывалась и эволюционировала в силу внутренних, присущих ей сил, и что духовное есть функция органического.

В области поэзии романтическая Германия, идеализировавшая средневековье, тоже уступила место „молодой Германии", обратившейся к настоящему и разметавшей тот ореол, которым окружалось традиционное и мистическое.

Нападение на теологическое и идеалистическое мировоззрение, нападение на бога и ангелов, на идею таинственного и его эманаций развертывалось рука об руку с наступлением на абсолютную корыстную власть и бюрократов. Создают и сохраняют государство не король и полиция, а граждане, занятые промысловой экономической деятельностью,—они вызвали к жизни и поддерживают государство и общество. В соответствии с тем этот класс должен был бы править или по крайней мере участвовать в правительстве.

Оппозиция коронованному деспотизму имела в своей основе стремление германской буржуазии к объединению национальных экономических сил, к национальному единству германских племен, поднятию германского государства на степень нового могущества и величия.

Религиозное свободомыслие на место церковных догм, естественно-научное исследование на место философско-теологических умозрений, свободная хозяйственная деятельность на место полицейского регулирования, либеральная конституция на место личной монархии, национальное единство на место многогосударственности,—такова была программа германской буржуазии, приблизительно начиная с 1830 года. Провозвестниками этого течения в философии были младогегелианцы (Д. Ф. Штраус, 1807—1874; Людвиг Фейербах, 1804—1872; Бруно Бауэр, 1809—1882); в области поэтического творчества—молодая Германия (Гейне, Берне, Гуцков, Прутц, Лаубе). То было бодрое, духовно-одаренное поколение, интересовавшееся всеми про-

блемами человеческой жизни, но лишь немногим из его представителей выпало на долю развиться и оставить длительный след,—да и то лишь в изгнании: во Франции, Бельгии, Швейцарии, Англии, куда они бежали, чтобы не сгнить в германских тюрьмах или не быть изувеченными цензурой.

3. Зачатки социализма.

Занесенные из за-границы социалистические идеи, начиная с 1842 года, давали себя чувствовать в Рейнской Вестфалии, Берлине и Бреславле,—там, где развивалась современная техника или где домашняя промышленность сильно страдала от конкуренции машин. Германский социализм в ту пору был лишь отзвуком французского, особенно сен-симонизма и идей Луи Блана; однако, в лево-гегелианских кругах уже делались попытки вскормить социализм германской философией. Начали учитывать также значение рабочих волнений, разыгравшихся в 1844 году среди ткачей Силезии и Богемии. Фердинанд Лассаль, учившийся тогда в берлинском университете, писал своему отцу, что волнения эти—первые движения коммунизма во чреве матери-капитализма [1]). Энгельс позже тоже писал: „Эти восстания рабочих—не против правительства, а против предпринимателей... дают новый толчок социалистической и коммунистической пропаганде“ [2]). Можно сказать, что 1844 год был годом рождения современного германского социализма. В 1844 году молодой Маркс начал формулировать в Париже свое учение; в 1844 году Генрих Гейне сложил свою „Песню ткачей“ и написал „Германию, зимнюю сказку“, пролог который звучит коммунистически; в 1844 году был основан Берлинский ремесленный союз; тот же 1844 год—год рождения германской социалистической журналистики; в этом году стали выходить „Германо-французские ежегодники“, Париж 1844, „Форвертс“, парижская газета, 1844 г., „Weserdampfboot“ доктора Отто Люнинга, 1844, „Зеркало общества“ Мозеса Гесса, Эльберфельд 1845.

Социалистические идеи заносились в Германию, во-первых, политическими изгнанниками, присылавшими из Парижа свои корреспонденции в немецкую печать, в особенности Генрихом Гейне, который в своих „Парижских письмах“, печатавшихся в „Аугсбургер Альгемейне Цейтунг“ (1843 г.) неподражаемым образом знакомил германскую образованную публику с французским коммунизмом. Во вторую очередь их приносили германские ремесленные подмастерья, работавшие за границей и возвращавшиеся затем на родину с произ-

---

1) Lassalle's Nachlass, herausgegeben von G. Mayer, Берлин 1921. часть I, стр. 102.

2) Энгельс, „Революция и контр-революция в Германии“.

ведениями своего земляка—Вильгельма Вейтлинга. Вейтлинг, родившийся в 1809 году в Магдебурге, изучил портняжное ремесло, отправился в Париж и там в 1837 году примкнул к революционному движению, а с 1842 года выпускал социалистические произведения („Гарантии гармонии и свободы", 1842 г.; „Евангелие бедного грешника", 1843 г.). Они печатались на средства рабочих. Вейтлинг тоже был сторонником революционной диктатуры, но не имел о ней ясного представления, диктатор рисовался ему чем-то в роде коммунистического Наполеона.

Первым германским социалистом, пытавшимся обосновать коммунизм Гегелем и Фейербахом, был Мозес Гесс (1812—1875), не создавший однако ничего прочного и длительного. В конце 1842 года Гесс в Кельне познакомил со своим опытом Фридриха Энгельса. Напротив, на Маркса Гесс не мог оказать никакого влияния, хотя оба в ту пору (1842) работали в „Рейнише Цейтунг".

4. Буревестники.

Король Фридрих Вильгельм III, процарствовавший в Пруссии четыре десятилетия, умер в 1840 году. В 1814 и 1815 году, когда надо было нанести удар Наполеону, он обещал прусскому народу конституцию. Пруссаки поднялись, отразили французов, но король забыл свое обещание, а те, кто нашли в себе мужество ему об этом напомнить, преследовались как демагоги и революционеры. После 1815 года над Германией разразилась самая черная реакция: царь Александр I и его преемник Николай I, князь Меттерних в Вене и король Фридрих Вильгельм III в Берлине наложили на народы центральной Европы цепи Священного союза, пока парижская июльская революция (1830) не вдохнула нового мужества в немцев. Но Меттерних в Вене, германский союзный сейм во Франкфурте на Майне, Фридрих Вильгельм в Берлине и прочие германские властители мелких государств и княжеств подавляли всякое свободное движение, всякую попытку добиться конституции.

Вступление на трон Фридриха Вильгельма IV (1840—1858) окрылило в Пруссии надежды на осуществление былого обещания его отца. Первые шаги нового короля как будто давали основание для таких надежд: несколько свободомыслящих профессоров, пострадавших за свои убеждения, были восстановлены в должности и в почестях; цензура была несколько смягчена, казалось, наступает новая эра. Но следом за первыми лучами надежды пришло горькое разочарование, нашедшее сильное выражение в политической лирике Гервега, Пруца, Салета, Гейне, Фрейлиграта. В 40-ые годы герман-

ская политическая поэзия стояла на очень высоком уровне и черпала свою силу из противоречия между национальным и экономическим подеъмом с одной стороны, и политическим и духовным гнетом с другой. Рудольф фон-Готшаль, в ту пору еще член Молодой Германии, сатирически рисует благочестивых верноподданных, восклицающих:

„Демагоги, якобинцы,—
Эти люди все наглеют,
Молодые ж гегельянцы
В сердце мудрости вникают,
Над святынею колдуют,
Предрекают все реформы,
И бесстыжий смелый разум,
Разум, голую девицу,
Взором похоти встречают,
Богом новым обзывают.
Штраус, Фейербах и Бауэр
В дрожь священную приводят".

Десяти мудрым, ждущим всего от исторического развития и на него указующим, Фридрих фон Саллет отвечал:

„Вы говорите: юность с горячей кровью,
Забудь свободолюбивые мечты.
Добро развивается лишь исторически.
Но разве там, где застой—история?
История—штурм Бастилии
И буря прений в Конвенте.
О карточный дом камарилий!
Мгновение—и сдунут бесследно".

В Австрии общественное сознание будили Альфред Мейснер (1844 г.) и Карл Бекк (1846 г.). Мейснер так рисует фабричный город:

„Проходят дети бледны и тощи,
Пылают горны, колеса метутся,
С угрюмым тактом танцуют тяжко".

Яркие образы дал Мейснер в своем „Жижке", где он излагает социально-этические взгляды гуситов. Непоколебима была его вера в конечное освобождение человечества из духовной и материальной нужды:

„Они наступят, обетованные времена, когда расступятся перед духом все чуждые силы... Уже нисходит дух на бедных и убогих. Близится, близится новоявление обетованной Троицы... А когда придет грядущий спаситель, он искупит наследие греха и бедствий и

будет говорить о разделении труда и равно, по-братски воздаст всем чадам земли, и ты восстанешь лучезарный, увенчанный розами, прекраснее христианского спасителя".

Карл Бекк в своем стихотворении, „Почему мы бедны", восклицает от имени бедняков, обращаясь к богачам:

„Мы даем вам и трудимся, вы копите монету,
Наполняем мы церкви и терпим и молимся,
Мы терпим, в том наша бесконечная вина,
И вот мы бедны".

Но выше всех стоит Генрих Гейне. В письме из Парижа от 15 июня 1843 года, присланном в „Аугсбургер Альгемейне Цейтунг", он сравнивает коммунистов с первыми христианами, которые жили во времена римского императора Нерона, облившего их во время придворного празднества смолой и зажегшего в виде факелов, „чтобы они светили в саду, окружавшем золотой дворец. Но эта остроумная выходка оказалась пагубной: факелы мучеников разметали искры и римская империя с ее гнилым величием запылала". Еще тремя годами раньше в произведении, посвященном Людвигу Берне (1840), Гейне говорил:

„Самыми замечательными изречениями нового завета я считаю некоторые места из Евангелия от Иоанна, глава 16, 12, 13: „многое имею я еще сказать, но вам этого не вынести, когда же грядет дух истины, тот вас наставит к правде. Потому что глаголать будет он не из самого себя, но изрекать то, что слышит, он возвестит вам грядущее". Итак, последнее слово еще не сказано. Вот, пожалуй, кольцо, с которым будет связано новое откровение. Начинается оно освобождением от слова, кладет конец мученичеству и низойдет на землю царство вечной радости: тысячелетнее царство. Вот когда сбудутся все щедрые обетования".

Это—третье евангелие, евангелие социального равенства, общности труда, братского единения людей и народов: коммунизм.

„На скалах мы воздвигнем
Храм новому евангелию,
Третьему новому завету;
Конец пришел страданиям".

5. Карл Маркс и союз коммунистов.

Посреди этих тенденций и течений: либерализма и социализма, живший то в Париже, то в Брюсселе (1843—1846), Карл Маркс ра-

ботал над созданием своего учения, которому суждено было скоро вытеснить все социалистические системы.

Маркс нашел социализм в стадии вероучения или догматической, раз навсегда установленной, навеки незыблемой истины. Он превратил его в движущую силу развития общества по пути от частной собственности к общественной собственности.

Пролетариат и социализм до того времени были раздельны. Маркс слил их воедино, как тело и душу: он вдохнул душу в пролетариат.

Современный пролетариат—монументальное духовное произведение Карла Маркса.

Начиная с 1845 года Маркс и Энгельс стремились к распространению своих новых идей среди германских рабочих в Париже, Брюсселе и Лондоне,—среди тех рабочих, которые еще в 1836 году организовались в Союз Справедливых и были сторонниками утопического социализма. Ново было то, что коммунизм мыслился не как готовый план общественного строя, а как организация пролетариата в самостоятельную политическую партию, которая должна революционным путем овладеть государственной властью и при помощи ее, пользуясь познанием действующих в капиталистическом хозяйственном строе тенденций, преобразовать его в коммунистическом направлении.

Раньше всего получили эти идеи распространение среди немецких рабочих в Лондоне. Начиная с 1840 года Лондон был главной резиденцией Союза Справедливых. В конце января 1847 года центральный исполнительный орган союза послал депутацию к Марксу в Брюссель, чтобы побудить его и Энгельса вступить в Союз. Они последовали приглашению, преобразовали в конечном счете Союз Справедливых в Союз Коммунистов (осень 1847 г.) и написали для него „Коммунистический Манифест“ (декабрь 1847—январь 1848).

Жившие в Брюсселе, Париже и Лондоне германские рабочие отдались тому, чтобы перенести новые воззрения на родину.

Значительные результаты принесла связь Маркса и Энгельса с Прирейнской провинцией и Вестфалией. В 1847 году коммунистические объединения имелись уже во многих германских городах; первый судебный процесс против коммунистов происходил в Берлине в июне 1847 года; портной Ментель и сапожный подмастерье Гетцель были тогда за принадлежность к тайному обществу приговорены к тюремному заключению. Ментель работал раньше за границей и в 1846 году привез оттуда идеи Марксовского коммунизма в Берлин, где он тайно пропагандировал их в Ремесленном Союзе; в конце 1846 года на него поступил донос, и он был арестован.

II. Начало и ход революции.

1. Политические события.

Как уже упомянуто выше, германская буржуазия, начиная с 1830 года, все больше и больше стремилась положить конец абсолютизму и национальной раздробленности и обеспечить торжество либерализму и германскому единству. Живей всего проявлялись эти тенденции в мелких союзных государствах, особенно в южной Германии. Финансовые затруднения правительств, которым крупные банковские фирмы, подобные Ротшильдам, отказывали в помощи, требуя, чтобы долговые обязательства были подтверждены народными представителями, помогали буржуазии и придавали вес тем политическим требованиям, с которыми она выступала перед монархами. К концу 1847 года настроение было уже резко оппозиционным, так как к этому времени разразился экономический кризис, а когда вдобавок пришла весть о начавшейся в Париже февральской революции (1848 г.), буря разразилась и в Германии: в Вене 13 марта, в Берлине—18 марта. Движение в более мелких государствах Союза началось еще в конце февраля. Князья и дворянство вначале испугались грозы; они пустились в бегство или сняли шляпы перед революцией, чтобы спасти свои головы. Подавляющее большинство буржуазии скоро удовлетворилось одержанной победой — отчасти потому, что многие мелкие буржуа и ремесленники жили заказами дворов и аристократии и не выносили „беспорядка“, революции, отчасти же потому, что крупная буржуазия испугалась социально-политических и коммунистических требований выступившего пролетариата. В Берлине буржуазные министры, Кампгаузен и Ганземан, только революции обязанные своими постами в прусском правительстве, вступили в переговоры с королем, чтобы притти к соглашению относительно конституции и образовать буржуазно-дворянское правительство. В Вене мелкая буржуазия и финансисты жаждали возвращения бежавшего двора, чтобы оживить ход своих дел.

Между тем во Франкфурте на Майне в церкви Павла заседало германское учредительное национальное собрание, созванное на основе состоявшихся в апреле всенародных выборов и открывшееся 18 мая. Оно теряло время на многоречивые прения об отдельных пунктах создаваемой конституции или об основных правах и не предпринимало мер к созданию революционной армии и незыблемому укреплению самодержавия народа. По своим воззрениям франкфуртское национальное собрание было умеренно-либеральным. Тщетно издаваемая Марксом в Кельне „Новая Рейнская Газета“ разоблачала слабость и

половинчатость национального собрания и предательство, совершаемое буржуазными министрами Пруссии, предложившими низвергнутой 18 марта королевской власти сделку относительно будущей прусской конституции. Тщетно боролись берлинские, лейпцигские, бреславльские и прирейнско-вестфальские рабочие, которые требовали современной социальной политики. Буржуазия жаждала лишь умеренно-либеральной конституции с конституционным императором во главе: франкфуртское национальное собрание, представитель германской нации, действительно предложило прусскому королю германскую корону. Он отклонил предложение, желая царствовать божией милостью, а не милостью народа, не на основе клочка бумаги, именуемого конституцией.

При таком поведении буржуазии монархи и дворянство скоро оправились от страха перед революцией, и когда в конце июня 1848 года пришла весть о страшном поражении парижского пролетариата, австрийская, прусская, баварская, гессенская, саксонская и прочие реакции подняли голову и начали готовиться к восстановлению старого порядка вещей. В октябре 1848 года князь Виндишгрец пошел приступом на Вену и 1 ноября взял ее штурмом. Вена пала. 8 дней спустя прусский генерал Врангель разогнал берлинский парламент. В марте 1849 года в Австрии было восстановлено до-революционное положение вещей. К концу марта 1849 года франкфуртское национальное собрание закончило выработку „Основных прав", которые были приняты народом, но сурово отвергнуты победоносными князьями; они распустили народные представительства, высказавшиеся за обще-германскую конституцию. Отказ от проведения в жизнь вызвал в мае 1849 года дрезденское восстание (в нем принимал участие Михаил Бакунин и композитор Рихард Вагнер, а руководил им марксист Стефан Борн, о котором речь ниже) и кампанию в Бадене и баварском Пфальце, направленную к защите обще-германской конституции и закончившуюся 23 июля 1849 года капитуляцией в Раштатте (к югу от Карлсруэ). Восстание в Германии подавляли прусские войска, в Австро-Венгрии — славянские войска, подавившие революционные силы в Вене и Венгрии.

Революция 1848—49 года была кончена. Она завершилась как будто победой монархов и дворянства, но им пришлось пойти на компромиссы с побежденными, так как экономическая власть была в руках буржуазии. Войны 1866 и 1870 годов должны были разрешить поставленную 1848 годом задачу при помощи реакционных средств. Получился клочковый продукт, который распался в 1914—1918 году.

2. Социалистические течения 1848—49 года.

Хотя движение 1848 года и носило преимущественно буржуазный характер: либерализм и создание единой национальной хозяйственной территории, однако как в пролетарском, так и в ремесленном лагере пробивались социалистические течения, вытекавшие из тогдашней экономической структуры германского народа. В годы германской революции выпускался ряд газет, носивших более или менее социал-демократический характер. Выражение „социал-демократия" неоднократно встречается уже в этой прессе. К таким газетам принадлежали: „Новая Рейнская Газета" во главе с Марксом, Энгельсом, Вильгельмом Вольфом, Фрейлигратом, Вертом; „Берлинер Цейтунгсхале" П. Юлиуса; „Фольксфрейнд" издававшийся в Берлине Густавом Адольфом Шлеффелем, „Фольк" Стефана Борна; „Verbrüderung"— Берлин и Лейпциг, издававшаяся Борном и Швенигером, „Дер Урвелер" Вильгельма Вейтлинга в Берлине, „Флигенде Блеттер" в Бреславле, Ф. Берендом; „Ди Хорниссе" („Шершень") в Касселе; „Арбейтер Цейтунг" Франкфурт на Майне. Кроме того издавался ряд профсоюзных органов, как-то „Гутенберг", „Прометей", „Конкордия", в связи с организацией „рабочего братства".

Руководящим органом революции была „Новая Рейнская газета", ее основной целью было довести революцию до ее последних логических выводов: до унитарной централизованной демократической республики. Ее главный редактор, Карл Маркс, провел март, апрель, май 1848 года в Париже, наблюдая за развитием февральской революции. Он был свидетелем борьбы Бланки против буржуазно-социалистического временного коалиционного правительства; он видел старания Бланки установить в Париже социалистическую диктатуру и под этим впечатлением возратился в Кельн, где стал во главе редакции. Едва успело пройти четыре недели после того, как он взял на себя редактирование газеты, как ему уже пришлось сообщить о поражении парижского пролетариата (в последнюю неделю июня 1848 года), о чем он высказался в пламенной передовой статье. Одновременно с июньским парижским поражением исчезала надежда Маркса на пролетарскую революцию в Германии. Все его стремление, как упоминалось выше, было направлено на то, чтобы подталкивать буржуазную демократию к доведению ею революции до конца и к созданию вместе с тем почвы для освободительной борьбы пролетариата. Маркс метал стрелы критики в прусских буржуазных министров — Кампгаузена и Ганземана, в профессоров Франкфуртского национального собрания, топтавшихся около „Основных прав", в то время как священный союз (Рос-

сия, Австрия, Пруссия) вместе со своими подручными все теснее и теснее смыкался и все громче и громче глумился над болтовней профессоров и филистеров об „Основных правах". Пока эти последние укрепляли основные права на клочке бумаги, „господа контр-революционеры записывали основы своей власти посредством отточенных мечей, пушек и славянских красных накидок". Кампгаузены и Ганземаны, которые тотчас же по возвращении Маркса из Парижа предлагали ему вступить вместе с ними в берлинское министерство, стали объектом его критических поучений: не следует, говорил он, опираться на так называемый конституционный принцип, но основываясь на самодержавии народа, завоеванном в революционной борьбе, диктаторски использовать государственную власть, разбить и вымести пережитки старых учреждений. Однако германская буржуазия не обладала ни решимостью английского 17 столетия, ни решимостью французского 18 столетия. Германская буржуазии совершала лишь половинчатую революцию. В неравной борьбе погибла и „Новая Рейнская Газета", в последнем номере которой (19 мая 1849 г.) редакция благодарила рабочих за проявленное к ней участие. „Ее последним словом всюду и везде будет: Освобожение рабочего класса!"

Собственно в социал-реформистском движении годов революции можно различить два течения: одно — пролетарское, другое — социал-консервативное (ремесленное). Во главе первого стоял Стефан Борн, во главе второго — профессор Марло.

3. Стефан Борн.

Самой значительной рабочей фигурой тех лет был Стефан Борн. Он родился в Лиссе в 1824 году. Родители его были еврейскими купцами, средства не позволили им дать сыну научное образование. Стефан посещал гимназию лишь в течение 4 лет, затем он работал типографским учеником в Берлине вплоть до 1846 года, с неутомимым прилежанием посвящая досуг дальнейшему самообразованию. Когда он закончил ученье и стал подмастерьем, он уже обладал хорошим общим образованием и некоторыми литературными способностями. В конце 1846 года он встретился в ремесленном союзе с Ментелем и Гетцелем, познакомившими его с социалистическим мировоззрением Маркса. Вот как рассказывает об этом Борн: „В берлинском ремесленном союзе в ту пору (1846) чувствовалось живое дыхание надвигавшейся на Германию новой исторической эпохи... Возвращавшиеся из Парижа к себе на родину в Германию ремесленные подмастерья становились апостолами нового социалистического учения. Ремесленный союз не мог закрыть перед ними двери. Осторожно, ощупью искал

один из таких посланников, по имени Ментель, членов для вербовки в свое тайное общество. Он обращался к наиболее молодым, немногим старше 20 лет, членам союза. Благодаря сапожнику Гетцелю, беспокойной голове, которого он завоевал на свою сторону, я был посвящен в его тайну. Он не примыкал к направлению выступавшего в Швейцарии портного Вейтлинга, наметившего в своих произведениях основные линии построения сложившегося в его фантазии утопического государства равенства, которое отнюдь мне не импонировало, будучи чистейшим воздушным замком; он больше говорил о тайном рабочем объединении, поставившем себе целью освобождение пролетариата от оков капитализма, опорой для чего должна послужить политическая свобода, которую еще надлежит завоевать. Из довольно смутной аргументации Ментеля вытекало, что основная исповедуемая им идея состоит в том, чтобы постоянно иметь в виду исторический процесс созревания грядущего нового общества и поддерживать партию, возникновение которой продиктовано исторической необходимостью и которая рассматривает будничный либерализм как преходящую промежуточную ступень, ею уже теоретически преодоленную". (Born, Erinnerungen eines alten Achtundvierziegers. Leipzig 1898, S. 29—31).

Вскоре Борн отправился в Париж, где он работал по своей специальности, а затем в Брюссель, где он работал наборщиком в социалистической „Дейче Брюсселер Цейтунг", в которой сотрудничали Маркс, Энгельс и Гесс. Борн был также членом брюссельского рабочего ферейна, где выступали с докладами Маркс, Энгельс, Вольф и Гесс. Но Борн никогда не был последовательным коммунистом; он был умеренным социал-демократом или, как позднее выражались, „реформистом". Он был прекрасный оратор и организатор и храбрый баррикадный борец. Когда разразилась германская революция, он приехал в Берлин и скоро достиг положения вождя и редактора. Он руководил первыми берлинскими рабочими собраниями, единолично редактировал основанную в Берлине в 1848 году газету „Фольк", выходившую три раза в неделю, а затем выходившую в Лейпциге „Фербрюдерунг", основал первую крупную германскую рабочую организацию и руководил баррикадной борьбой в майском восстании 1849 года в Дрездене.

После поражения революции Борну удалось бежать через Богемию и Баварию в Швейцарию, где он сначала работал печатником и журналистом, а позднее секретарем кооператива; он посещал цюрихский университет и впоследствии стал профессором в Базеле, где редактировал „Базельские Известия". Основной идеей Борна в 1848—49 году было: рабочий должен помочь буржуазии ниспровергнуть

старый строй и добиться либеральной конституции, но он должен организоваться самостоятельно, так как общество состоит из двух взаимно враждебных классов, между интересами которых не может быть гармонии. Рабочий класс должен действовать в таком направлении, чтобы освободиться от капитала. Но каким путем? Путем самостоятельной политической и экономической организации и основания производительных товариществ при помощи государства. Эти две идеи Борн внедрял в германских рабочих, предостерегая их от слияния с буржуазией и от объединения подмастерьев с хозяевами. Борн боролся как против буржуазных апостолов гармонии, так и против консервативных социал-реформистов, настаивавших на восстановлении цехов. Представителем последнего направления был профессор Марло, агитировавший в ремесленных кругах и публично дискутировавший с Борном.

4. Марло и германская консервативная социальная реформа.

Одновременно с демократическим социализмом и марксовским коммунизмом наметилось и социал-реформистское течение, хотя и занимавшее критическую позицию в отношении либерализма и индивидуалистического способа хозяйствования, основанного на своекорыстном интересе, но считавшее идеалом не коммунизм, а модернизированный средневековый строй. Представители учреждений, построенных на авторитете и традиции: теологи, дворяне, цеховые мастера, романтические поэты и мыслители, не могли освоиться с идеями, требованиями и экономическими формами, предоставившими—или хотя бы предполагавшими—свободу суждения, действия и хозяйствования личности, не взирая на церковь и государство, и ставившими на место подчинения, коллективности, социальной связи своекорыстный интерес и свободное, ничем не ограничиваемое проявление индивидуальности. Новая эпоха казалась им построенной на песке, хаосом, анархией, безнравственной, языческой разнузданностью духовных и экономических сил, долженствующими привести к обострению общественных противоречий, к общей гибели и нигилизму. Пред лицом такого настроения средневековье с его прочным церковным, экономическим и социальным строем, с его верой в бога, феодальными учреждениями, монастырями, гильдиями и цехами—казалось благоустроенным организмом, где каждый христианин знает свое место, где каждый глубоко пустил корни и в качестве члена единого целого питается из общей почвы. Напряженно внимали эти мыслители и поэты жалобам пролетариата, резко критическим тонам социалистов и коммунистов, раскатам революционного грома низов. Они считали эти явления симптомом распада, неизбежным следствием растлевающего влияния ли-

берализма на государство и хозяйство, призывом к христианам, этическим экономистам, монархическим политикам,—дать отпор либерально-капиталистическому миру, указать пролетариату путь, освобождающий его от бедствий, и построить общество вновь на христианской, религиозно-нравственной, общественной и авторитарной основе.

Одним из апологетов этого направления был Карл Винкельблех, защищавший письменно и устно свои идеи в 1848—49 году под псевдонимом „Марло". Он родился в 1810 году в Энсгейме (Баден), штудировал в Марбурге и Гиссене (под руководством Либиха) химию, в 1836—39 году был доцентом химии в Марбурге, в 1839 году был переведен в высшую профессиональную школу Касселя в качестве профессора технологической химии; в 1838—39 году он провел несколько месяцев в Париже; в 1843 году в целях изучения посетил северную Европу, и знаменитую тогда фабрику синьки в Модуме (Норвегия), восторгался машинным оборудованием и дивными деревенскими картинами окрестностей, пока один из работавших там германских рабочих не ознакомил его с ужасающей нищетой фабричного пролетариата. „До тех пор,—пишет Марло,—подобно многим естествоиспытателям, мои взоры были устремлены в промышленных мастерских лишь на печи и машины, а не на людей, лишь на продукты человеческого труда, а не на производителей, и потому я был совершенно чужд этому великому царству нищеты, которое образует ныне фон нашей подрумяненной цивилизации. Убедительные слова рабочего дали мне почувствовать ничтожество моих научных стремлений во всем их объеме, несколько мгновений—и созрело решение понять страдания нашего поколения и их причины и исцелить их" (Marlo, System der Weltwirtschaft, Vorrede. Band I, Abt. 2. Kassel 1857).

Сила Марло, как экономиста, в добросовестном анализе различных экономических теорий с античных времен и до 1850 года. Он не был знаком с современным коммунизмом, а если он и познакомился бы с ним, то отверг бы его, потому что принципом Марло была кооперация, а не экономическая и политическая классовая борьба и не общественная собственность. В его глазах пролетариат был достойным сожаления продуктом строя, который надлежит морально отвергнуть. Его идеалом было модернизированное средневековье, организация всей экономической жизни по гильдиям и цехам, где мастера и подмастерья пользуются социальным равенством, где цена и заработная плата определяются совместно комитетами мастеров и подмастерьев, где ремесленные камеры регулируют закупку и распределение сырья и заказов, и где общественный парламент в составе представителей гильдии должен предлагать и обсуждать все промышленные законы, а затем вносить их на утверждение в политический парламент. Если и

суждено остаться дальше частной собственности на средства производства, то она не должна быть в абсолютном, безусловном распоряжении собственника, как мыслит это римское право, но в духе христианско-германского права должна быть связана с общественными обязанностями. Система экономики и права, рисуемая Марло, отличается от средневековья только тем, что устанавливает не подчинение одних другим, а социальное равенство: мастера и подмастерья должны обладать равным правом голоса в комитетах и камерах, все привилегии, которыми обладали землевладельцы, купцы и цеховые мастера в период средневековья, должны быть уничтожены, они должны уступить место производственной демократии. Производство должно строиться согласно потребностям страны. Марло назвал свою систему федеративным социализмом: отдельные производственные органы должны самоуправляться, а не управляться государством.

Вот как характеризует Борн в своих „Воспоминаниях" Винкельблеха: „Винкельблех был метеором, внезапно появившимся на темном ночном небе германской цеховой жизни в беспокойные 1848—49 годы, появившимся для того, чтобы быстро скатиться, упасть и потухнуть. Только в такой стране, как Германия, где наряду с установленной законом свободой ремесла еще существуют многообразные пережитки средневековых цехов, мог, хотя бы на несколько недель, приковать к себе внимание и сыграть известную роль такой пророк, как Винкельблех.... Пораженный бедствиями трудящихся, Винкельблех внезапно почувствовал в себе святое призвание спасителя и искупителя трудящихся и обремененных. Ликург, Солон, Моисей в его глазах были законодателями, которые, ведомые небесным провидением, из глубины души создали великую единую систему взаимно поддерживающих и дополняющих друг друга учреждений, при помощи которых они вывели свои народы из состояния сумятицы и подняли их выше других народов. Винкельблех был далек от мысли, что эти люди довершили в основных чертах уже имеющуюся экономическую и государственную систему, осознав материальные потребности, рожденные историей, пустившие ростки и постепенно выросшие на особой почве, и осознав тесно связанную с этими потребностями культуру духа. Он не понимал, что эти великие умы лишь собрали воедино, сконцентрировали в фокусе носившиеся в воздухе идеи времени, ярко и выпукло показав их изумленным современникам. Лишь в силу исторического непонимания Винеклъблех мог в разгаре развития капитализма думать о возврате цеховой системы. Он не понимал, что к исторически преодоленному экономическому периоду возврат невозможен, и в силу заблуждения защищал и рисовал соблазнительными красками цеховую организацию. Он думал, что эту „христианско-германскую" организа-

цию можно приукрасить на современный лад при помощи идей французского социализма. Как бы там ни было, то был опасный реакционер" (стр. 191—195).

5. Выступление ремесленных мастеров и подмастерьев.

Вскоре после первых одержанных революцией побед по всей Германии зашевелились ремесленные мастера. В начале то было экономически-реакционное движение: они и слышать не хотели о свободе промышленности, о политической демократии, и жаждали восстановления старых цехов. Они вопили против капитала, против либерализма, против еврейства, но равным образом и против революционно-демократических и социал-реформаторских требований наемных рабочих. После целого ряда местных и провинциальных конференций он собрались на происходивший с 15 июля по 15 августа 1848 года во Франкфурте на Майне съезд. В качестве представителя кассельских ремесленников на этих конференциях выступал профессор Марло, он же выступил на франкфуртском съезде, при чем ему удалось завоевать доверие ремесленных мастеров и обработать их в своем духе; только в вопросе равноправия подмастерьев и мастеров все его усилия оказались тщетны. Франкфуртский съезд в составе 106 делегатов поставил себе задачей выработать промышленный устав (без какой бы то ни было свободы промышленности) и составить план „разрешения социального вопроса". Отсюда видно, сколь высокого полета были планы ремесленных мастеров. Это было дело Марло. Скоро наступило испытание на практике. Подмастерья тоже требовали себе права представительства на съезде и послали делегатов. Но съезд отказался допустить представителей подмастерьев; лишь после ряда протестов мастера решили допустить 10 представителей подмастерьев, но и то лишь с совещательным голосом. Подмастерья отвергли это оскорбительное предложение и собрались во Франкфурте на собственный съезд. На обоих съездах Марло развивал свои идеи и резюмировал их в докладной записке, поданной им экономической комиссии Франкфуртского национального собрания. Эта комиссия,—либеральная, как и национальное собрание,—отвергла его проект, признав его несвоевременным.

Получив инструкции от Марло, ремесленные мастера потребовали установления, вместо свободы промышленности, модернизованного цехового строя, федерации цехов, учреждения ремесленных комитетов, ремесленных палат, создания общественного парламента.

Подмастерья, тоже под влиянием Марло, потребовали равноправия всех производителей и введения распространяющегося на все об-

щественные профессии нового цехового строя, совершенно отличного от прежнего и соответствующего современной ступени высокого развития промышленных отношений: „организации труда". Они требовали основания ремесленных комитетов и ремесленных палат, министерства труда, всеобщего избирательного права, всеобщего обязательного обучения, профессиональных школ для продолжения образования, 12-часового рабочего дня (включая и обеденный отдых), законодательного установления минимума заработной платы, касс для инвалидов, прогрессивно-подоходного и имущественного налога, покровительственных пошлин, ограждающих от ввоза готовых изделий, раздробления земельных угодий, принадлежавших короне, и сдачи их в аренду сельским рабочим и мелким крестьянам, основания переселенческих колоний в Америке для избыточного населения.

6. Выступление пролетариата.

Совсем иные настроения царили в крупных городских промышленных центрах. Уже несколько дней спустя после начала мартовской революции начали говорить о классовых противоречиях между трудом и капиталом. Вот как писала по этому поводу 23 марта 1848 года „Берлинер Цейтунгсхалле": „У нас, как в Англии и Франции, стал уже фактом разрыв между классом буржуазии и рабочим классом". Первый номер возглавляемого Стефаном Борном „Фольк" (26 мая 1848 г.) пишет: „Когда говорят о народе, то обычно понимают всех, но эта газета будет защищать главным образом интересы определенного класса в государстве: рабочего класса...., который находится в положении угнетенного и нанимается ради куска хлеба". Среди рабочих пульс общественной жизни бился все сильнее и сильнее, собрания устраивались все чаще и чаще; скоро возникли рабочие организации и под руководством Борна. „Всеобщий рабочий союз", целью которого было создание самостоятельной политической и экономической организации городского и сельского пролетариата. Органом рабочего союза было „Фербрюдерунг", выходившее в Лейпциге в 1848/49 году и редактируемое с начала октября 1848 до начала мая 1849 Борном. Почитать ее еще и сейчас весьма любопытно. Здесь Борн и другие германские рабочие, в том числе золотильщик Луи Биски, развивали свои социалистические взгляды.

Социализм, заявляли они, не собирается планировать и основывать готовое идеальное государство. Он возник не в головах ученых и не путем философских мудрствований. Все, что вылито в готовую форму, скоро становится реакционным: подлинно прогрессивно лишь то, что развивается, движется. Социализм нас учит, что социальный

вопрос есть лишь выражение всеобъемлющей классовой борьбы, происходящей в обществе,—борьбы между капиталом и трудом. Класс капиталистов хочет сохранить за собой все привилегии, рабочий класс жаждет их отмены. Вот почему рабочим не следует слушать тех людей, которые говорят о гармонии интересов труда и капитала и защищают политическое сотрудничество с либеральной буржуазией. Рабочим надлежит образовать собственную партию и выставить свои требования. Там, где дело касается ниспровержения феодального дворянства, рабочие должны помогать буржуазии в ее борьбе, но не заключать с нею тесных союзов. Но одной политической борьбы рабочих, организованных в особую партию, недостаточно. Надо приступить к экономической организации в целях постепенного создания производительных товариществ. Лишь в том случае, если рабочие объединятся в производительные ассоциации и будут совместно производить необходимые товары, они освободят себя от класса капиталистов.

„Фербрюдерунг" приводило выдержки из „Новой Рейнской Газеты" и социал-демократических газет.

Самым значительным выступлением рабочего союза был рабочий съезд в Берлине (с 23 августа по 3 сентября 1848). На нем присутствовало 40 делегатов, представителей от крупных германских городов (Берлин, Бреславль, Хемниц, Дрезден, Гамбург, Кенигсберг, Лейпциг, Мюнхен). Послал туда свою делегацию и Франкфуртский съезд подмастерьев. Председательствовал старый профессор Неес фон-Эзенбек (1776—1858); вторым председателем был Борн, секретарем золотильщик Л. Биски, пользовавшийся тогда громадной популярностью. Резолюции съезда касались основания рабочего братства в целях политической, профессиональной и кооперативной организации германского пролетариата; учреждения кредитных банков по финансированию производительных товариществ; права на труд; всеобщего избирательного права при выборах в парламент и коммунальные советы; всеобщего обязательного обучения, сокращения срока отбывания военной службы до одного года; отмены требования о представлении удостоверения об имущественном положении при заключении брака; установления 10-часового нормального рабочего дня; воспрещения труда детей моложе 14 лет; привлечения рабочих к выборам и назначению заводских и фабричных мастеров.

Из рабочего союза возникла организация „Рабочее братство", распространившаяся на всю Германию. Во главе ее стояли Борн, Биски и строительный мастер Швеннигер. Они созывали съезды и конференции, руководили агитацией, завязали связь с Марксом, Эн-

гельсом, Вольфом, Шаппером и развернули энергичную деятельность во всех направлениях. В январе 1849 года началось привлечение к „Братству“ южно-германских союзов. В этих рабочих организациях сильно чувствовалось влияние Марло, так как они оставались еще в плену религиозных воззрений. Чтобы окончательно решить вопрос в пользу того или иного направления, рабочие союзы созвали в Гейдельберге съезд, пригласив на него как Марло, так и Борна. Съезд этот заседал 28—29 января 1849 года. Кроме делегатов здесь присутствовали также профессора и студенты гейдельбергского университета, интересовавшиеся словесной дуэлью между Борном и Марло. Борн одержал блестящую победу и южно-германские союзы примкнули к „Братству“. Но такой успех агитации не мог помешать общему крушению революции. В 1850 году погибло и „Братство“, но агитация не прошла даром: она заложила основу германского профессионального движения и позднейшей лассалевской агитации (1863/64), колыбелью которой был Лейпциг, былая резиденция „Братства“, и к которой примыкает основание германской социал-демократии.

Е. ВАРГА

ВЕНГЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1848—1849 г.г.

Введение.

Дважды в течение последних 80-ти лет Венгрия или, вернее, мадьярский народ оказывался на некоторое время во главе революционного движения. Первый раз это случилось в 1849 году, когда венгерская революция, после победы контр революции во всей Европе, в течение целого полугода оказывала сопротивление. В ту пору Маркс и Гейне приветствовали мадьярскую нацию, как авангард буржуазной революции. Вторично во всей Европе это было в 1919 году, когда венгерский пролетариат — единственный, за исключением русского, — установил пролетарскую диктатуру и держался в течение четырех с половиной месяцев в капиталистическом окружении.

Одну венгерскую революцию отделяет от другой целая эпоха общественного развития. В 1848 году Венгрия была феодальной страной. Та революция отнюдь не была буржуазная, как ошибочно полагал Маркс, а **революция венгерского дворянства против Габсбургов**, в которой дворянство путем уступок старалось заручиться помощью крестьянства. В 1919 году Венгрия была уже вполне развитым капиталистическим государством, с промышленностью, достигшей высокой степени концентрации и современного типа пролетариатом.

Несмотря на полное несходство общественной структуры страны, обеим революциям свойственны некоторые характерные общие черты. Носителем революции и в том и в другом случае был мадьярский народ, а не все население страны; и в той и в другой революции национальный момент играл крупную роль; обе революции потерпели крушение благодаря тому, что политическое развитие соседних стран находилось в противоречии с венгерской революцией.

В силу исторической случайности при решении судьбы и той и другой революции важнейшую роль сыграла Россия: революция 1848 года потерпела крушение благодаря непосредственному вмешательству царских войск; венгерская диктатура была низвегнута потому, что продвижение Деникина лишило Советскую Республику возможности оказать помощь венгерской Советской Республике.

Дореволюционная Венгрия.

Дореволюционная Венгрия 1848 года занимала поверхность пространством около 300.000 кв. верст с населением до 12½ миллионов человек. Население это лишь в незначительной части, пожалуй, на 40—50% было мадьярским. Остальная часть была инакоязычной. На севере страны жили словаки, на востоке—румыны, на юге—сербы и кроаты, а разсеянными по всей стране немцы.

В политическом отношении страна была частью Габсбургской монархии. Государственно-правовые отношения регулировались так называемой прагматической санкцией. В этом основном законе говорится, что Венгрия заключает с Габсбургским домом обоюдный договор, согласно которому Венгрия в качестве самостоятельного государства признает наследственное право некоторых линий Габсбургского дома, в остальном же является совершенно независимым государством.

Фактически Вéнгрия не была независимым государством. Ею правили из Вены столь же неограниченно, как и прочими габсбургскими землями. Не было у нее ни собственного войска, ни своей внешней политики, ни своей денежной системы. Независимость Венгрии по существу сводилась к полной независимости венгерского дворянства по отношению к своим крепостным; к тому, что налоги, взимаемые с крестьянства, вотировались сословным дворянским собранием, и к монополии дворянства в деле управления и суда. Страна не была единой в политическом отношении: помимо Венгрии в собственном смысле этого слова, самостоятельными в государственно-правовом отношении были Семиградия (Трансильвания) и юго-западная часть (Кроация, Славония).

Классовое расслоение до революции.

Дворянство. В составе населения численностью в 12½ миллионов душ, дворянства насчитывалось 618.000, т.-е. приблизительно 5% всего населения. Следовательно, в процентном отношении дворян здесь было больше, чем в других европейских государствах, за исключением, пожалуй, Польши.

Дворянство разбивалось на три группы: крупно-земледельческое, „феодальное“ дворянство, затем так называемое „поместное“ дворянство и мелкое дворянство.

„Феодальное дворянство“ насчитывало в своем составе несколько сот семей, обладавших громадной земельной собственностью. Попадались и такие семьи, в руках которых было сосредоточено от $1/_{100}$ до $1/_{30}$ всей поверхности страны.

„Поместное дворянство“ составляло около $1/3$ всего дворянства. К этому слою принадлежали дворяне с владениями средних размеров, но достаточно крупными для того, чтобы жить, не занимаясь каким-либо производительным трудом. Этот слой сосредоточивал в своих руках монополию управления и суда. В деле управления страна разбивалась на комитаты (округа), причем административные должности могли занимать только феодальные и поместные дворяне. Избирательным правом обладало исключительно дворянство. Поместное дворянство составляло подлинное ядро господствующего класса—слой, на протяжении веков находившийся в оппозиции к династии, в то время как феодальное дворянство начинало превращаться в придворных по французскому образцу.

$2/3$ дворянства состояли из „мелкопоместного дворянства“. Оно не обладало ни достаточной земельной собственностью, ни достаточным количеством крепостных, чтобы на это существовать. Значительная часть его жила тем или иным профессиональным заработком: тут были врачи, священники, адвокаты, городские чиновники; попадались и ремесленники, содержатели гостиниц, мясники, сапожники. 4000 из них жили в крестьянских усадьбах и, несмотря на свое дворянское происхождение, наравне с крестьянами отбывали все феодальные повинности перед землевладельцами. Таким образом мы видим что классовое положение определялось не фактом дворянского происхождения, но, наряду с этим, и размером собственности.

Крестьянство. В правовом отношении крестьянство можно разбить на три категории: а) свободные крестьяне, б) феодально-обязанные крестьяне, в) крестьяне арендаторы. Первая категория была совсем малочисленна; она насчитывала около 70.000 человек.

Решающую роль играла вторая категория—феодально-обязанное крестьянство, или крепостные, составлявшие около полутора миллионов. Число крестьян-арендаторов достигало 500.000. Мы займемся лишь положением двух последних категорий.

Около 620.000 феодально-обязанных крестьян имели свой дом, в то время как 900.000 были бездомными постояльцами. Это уже само собой свидетельствует о разнице в экономическом положении тех и других. Таковы же были различия и в размерах собственности. Она составляла одну, пол или четверть гуфы, при чем обладатели целой или половины гуфы обычно имели и собственный дом.

Распределение земельной собственности было чрезвычайно неблагоприятное. В то время как дворянство обладало 32 миллионами иохов (иох—около полдесятины), 12-миллионное крестьянство имело в своем распоряжении лишь $13^1/_4$ милл. иохов феодальной земли, что

составляло в среднем не свыше полудесятины на душу. Несмотря на большой земельный голод крестьянства, крупные землевладельцы, сосредоточивавшие в своих руках монополию суда,—во всех процессах крестьян против землевладельцев судьями оказывались исключительно дворяне,—продолжали отбирать у крестьян землю, в особенности прежние общинные луга, выгоны и леса. То был земельный грабеж при помощи судебных приговоров.

Феодальные повинности крестьянства.

Повинности, лежавшие на крестьянстве, формально регулировались государственным законодательством. Крестьяне отдавали

$^1/_{10}$ урожая католической церкви,

$^1/_9$ урожая помещикам.

Но эта девятая часть лишь номинально была девятой. На самом деле она была значительно больше: в силу монополии суда размер этого налога зависел исключительно от произвола помещика. К этому присоединялись специальные подарки в дни торжеств и по всяким поводам.

Крестьянин, обладавший лошадью и телегой, должен был помимо того из года в год отрабатывать бесплатно 52 дня на земле помещика. Так как трудовую повинность приходилось, естественно, нести в страдную пору, то фактически это означало около $^1/_4$ действительного рабочего времени.

Далее, крестьянин, не обладавший упряжкой, должен был работать лично в течение 104 дней. Затем помещику принадлежало монопольное право охоты и рыбной ловли и исключительное право устраивать бойни, постоялые дворы, мельницы, каменоломни, кирпичные заводы и т. д.; крестьянство было обязано покрывать свою потребность в этих предметах, покупая их у помещиков по установленной ими цене. Кроме того, помещикам принадлежало право таможенного и подорожного сбора.

Затем крестьяне были обязаны по приказу помещика во всех вообще случаях давать лошадей.

Помимо этих повинностей перед помещиками крестьянство несло все государственные расходы. Оно оплачивало целиком как расходы по дворянскому управлению, так и государственные налоги; дворянство было освобождено от каких бы то ни было платежей. Лишь беднейшее дворянство участвовало в расходах по комитатскому управлению—платило так называемые местные налоги.

Помимо прямых налогов, обременяла крестьянство и соляная государственная монополия.

Если подвести этому итог, то окажется, что Тэн был прав, говоря в „Старом порядке“, что французскому крестьянству едва ли доставалось более $^1/_3$ продукта его труда. В таком же положении был и крестьянин Венгрии.

Положение *крестьян-арендаторов* было, пожалуй, еще хуже. В то время, как повинности феодально-обязанного крестьянства по крайней мере формально регулировались законодательством, крестьяне-арендаторы были целиком во власти помещиков. Зачастую им приходилось отдавать, вместо одной девятой, одну шестую урожая, неся одновременно и другие повинности наравне с феодально-обязанным крестьянством.

Разумеется, подобного рода эксплоатация должна была привести всю систему к экономическому крушению. Феодальная система лишь до той поры соответствует экономическим потребностям, пока все хозяйство носит характер натурального. Поскольку помещик не продает в качестве товара отбираемых им у крестьян продуктов, а сам потребляет их со своей челядью, эксплоатации крестьянства ставится естественный предел. Когда все амбары переполнены, феодальному владельцу нет смысла и дальше выжимать продукты из крестьян.

Иначе обстояло дело в Венгрии. Еще несколько столетий тому назад, около 1500 года, возникшие на юге Германии крупные города, подобные Мюнхену, давали венгерским помещикам возможность сбывать в громадном количестве скот, как товар, покупая вместо того предметы роскоши. *Противоречие между феодальным способом производства и отчуждением помещичьего дохода в виде товара уже в ту пору, в 1516 году, привело к грандиозному восстанию крепостных.* Занятие значительной части страны турками в 1526 году имело своим результатом возврат к натуральному хозяйству; реакция эта продолжалась приблизительно до XVIII столетия. За 18-ое и первую половину 19-го столетия Венгрия вновь связалась с более развитым хозяйством центральной Европы. Помещики выбрасывали такие сравнительно транспортабельные продукты крестьянского хозяйства, как скот, вино, сырье, на западно-европейский рынок, следовательно, были заинтересованы в неограниченной эксплоатации крестьянства.

Это вызвало более или менее сознательный саботаж крепостных. Бесплатный труд крестьян, обозначаемый славянским словом „робот“, стал минимально производительным. С другой стороны право феодальной собственности сделало невозможным введение современных улучшений. Несмотря на обширность землевладения, венгерский помещик не имел кредита, так как земельное достояние было неотчуждаемой соб-

ственностью дворянской семьи, а следовательно, не могло служить основой ипотеки.

В 18 м столетии Мария Терезия и Иосиф сделали попытку толкнуть на прогрессивный путь феодальную Венгрию. Побуждало их к этому желание увеличить государственные доходы. Они пытались 1) улучшить положение крепостных и 2) привлечь к несению налогового бремени дворянство. Обе попытки разбились о дружное сопротивление дворянства, в руках которого был сосредоточен весь аппарат управления. Но эти попытки—Иосиф II зашел так далеко, что даже декретировал отмену крепостного права вопреки сопротивлению, оказанному сеймом,—не остались без влияния на крестьянское население: крестьяне ненавидели дворянство, „господ" и ждали спасения от династии. Это обстоятельство весьма существенно для понимания событий во время революции.

Потерпев крушение в своей попытке привлечь к несению налогового бремени дворянство, Габсбургская династия систематически повела экономическую политику с тем расчетом, чтобы косвенным путем обложить венгерское дворянство. Габсбургские монархи усиленно способствовали развитию промышленности в австрийских и чешских провинциях, где влияние их было сильнее, и препятствовали развитию ее в Венгрии, соответственным способом построив всю таможенную систему. Так как, за исключением востока, австрийские провинции все были расположены вокруг Венгрии, то следствием этой экономической и таможенной политики была чрезвычайная промышленная отсталость Венгрии.

Городское население: буржуазия и пролетариат.

Ярче всего характеризует эту отсталость промышленного развития Венгрии тот факт, что в период 1780—1847 г. городское население увеличилось меньше, чем сельское. В то время, как в Англии в 1840 году на города приходилось половина, а во Франции $^1/_3$ населения, в Венгрии в ту пору насчитывалось лишь 20 городов с количеством жителей свыше 10.000 и один город, Пешт, с 109.000 жителей. Промышленное население составляло не более 3% всего населения.

В 1846 году во всей Венгрии насчитывалось до 255.000 купцов и ремесленников, при чем большая часть последних была рассеяна по деревням. Только в одном крупном городе, Будапеште, было тогда 3.600 мастеров, 6.900 подмастерьев и 876 „фабричных рабочих".

К этому надлежит еще добавить, что значительная часть посе-

лений с числом жителей более 10.000 человек фактически представляли просто крупные деревни [1]).

Поселения верхней Венгрии и Трансильвании, носившие характер города, на подобие польских и богемских, были в значительной части населены немцами: они обладали городскими привилегиями и были чужеродным телом среди мадьярского общества.

Вышеприведенные цифры свидетельствуют о том, что о буржуазии в подлинном смысле этого слова в ту пору не могло быть и речи. Ведь в единственном крупном городе этой страны на одного мастера едва ли приходилось более двух рабочих. Еще меньше можно говорить о пролетариате в современном смысле этого слова. Количество ремесленных подмастерьев во всей стране едва ли достигало 100.000. Из одной этой классовой структуры явствует, что венгерская революция не могла быть революцией буржуазной, так как буржуазии, как заметного фактора в стране, вообще не существовало.

Помимо вышеупомянутых слоев в городах было сравнительно много интеллигенции: 33.000 во всей стране, на первом плане адвокаты. Что касается духовенства, то верхушки его принадлежали к феодальному дворянству, а низы вербовались частично из крестьянских сыновей и влачили довольно жалкое существование.

Политические течения перед революцией.

Выше обрисованный упадок феодального хозяйства еще до революции породил ряд новых политических течений. Одним из реформаторов был граф Сечени, богатый аристократ, стремившийся главным образом к повышению земельного дохода и с этой целью пропагандировавший отмену феодального права наследования, чтобы этим самым открыть возможность ипотечному кредиту и усовершенствованию сельского хозяйства. В 1840 г. государственные чины решили допустить добровольное прекращение феодальных повинностей: крестьянам предоставлялось право договариваться с помещиком относи-

[1]) В Венгрии есть населенные пункты с количеством жителей до 50.000; но они носят исключительно земледельческий характер и в экономическом отношении суть не что иное, как колоссальные деревни. Исторически объясняется это тем, что эти так наз. города были подчинены непосредственно турецкой власти в лице султана, в то время как менее значительные деревни были розданы отдельным турецким пашам и беям в качестве источника частного дохода. Эти последние эксплоатировали деревенских жителей больше, чем казна, и вызывали бегство целых деревень в города, которые были подчинены непосредственно султану; в силу этого они сильно разбухли, сохранив в то же время характер деревни.

тельно замены феодальных повинностей единовременными или последовательными денежными платежами. Отдельные попытки подобного рода дали помещикам весьма выгодные для них результаты.

Но в основе своей движение за реформы носило национальный характер. Дела сводились к следующему.

Венгерское дворянство хотело, чтобы страна стала подлинно независимой от династии, т.-е. чтобы вся государственная власть перешла к нему. Дворянство понимало, что добиться этого можно лишь при помощи крестьянства. Вот почему оппозиция в составе наиболее дальновидных представителей имущего дворянства стояла за реформу помещичье-крестьянских отношений при условии непременного обеспечения дворянству руководящей роли. В процессе национальной борьбы дворянства с династией такая реформа была тем более необходима, что крестьянская революция в Галиции 1846 года ясно показала, что царствующий дом склонен оказать поддержку крестьянству в его борьбе с дворянством. Главным защитником и проводником этой политики был Людвиг Кошут: он стремился к реформе, которая оставила бы в неприкосновенности руководящую политическую и экономическую роль дворянства и достаточно бы усилила его, обеспечив ему поддержку мадьярского крестьянства и дав таким образом возможность отстоять полную государственную независимость Венгрии в борьбе с династией; с другой стороны, реформа должна была оставить в неприкосновенности господство мадьяр над не-мадьярским населением. В этом смысле Кошут отнюдь не был революционером. Он не был представителем нового слоя населения, враждебного господствовавшему до сих пор классу, а представлял интересы дворянства в противоположность двору, феодалам, а также и крестьянству.

Выше мы видали, что мадьярской буржуазии не существовало. Но имелось политическое течение, которое, учась на иностранных примерах, защищало интересы этого будущего класса. То была группа так называемых „централистов". Они требовали демократического строя, народного парламента, но с цензовым избирательным правом, которое лишало бы избирательных прав не только пролетариат, но и беднейшие слои дворянства. То была группа образованных политиков, обладавших пока что весьма незначительным влиянием, так как класса, интересы которого они отстаивали, еще не существовало, как политической силы.

В сейме были представлены и города (впрочем представители городов вместе взятые обладали всего одним голосом). Они отстаивали не интересы буржуазии, а цеховые интересы мелких ремесленников. То были реакционеры, цеплявшиеся за цеховую систему и энергично

протестовавшие против всех попыток расширения политических прав.

Интересы громадной массы народа,—крестьянства—еще не нашли своего идеологического выражения. Громадная масса крестьянства была еще безграмотна и неспособна идеологически формулировать свои требования. Люди, поднявшиеся над крестьянским сословием путем образования: адвокаты, духовенство, служащие, почти сплошь переходили на сторону дворянства. Любопытно, что положение немадьярского крестьянства было в этом отношении благоприятнее, так как немадьярская интеллигенция, в силу национальных причин, труднее ассимилировалась мадьярским дворянством и оставалась ближе к своему народу. Немадьярская крестьянская масса имела своих интеллигентных руководителей, мадьярская же оставалась без вождей. Характерно, что единственный человек, которого можно считать идеологическим вождем массы мадьярского крестьянства в период революции, Танчич, был родом кроат. Наряду с ним был еще один подлинный революционер, но он обладал весьма незначительным влиянием. Это был величайший венгерский поэт Александр Петефи.

Идеологию крестьянской массы можно резюмировать следующим образом: отмена феодальных прав без выкупа, раздел помещичьей земли или, по крайней мере, возврат той земли, которая была отнята помещиками у крестьян на протяжении последних двух—трех поколений. Выразитель требований крестьянской массы Танчич пишет в своей книге. „Глас народа—глас божий“, следующее: „Братья крестьяне, вы не должны стыдиться этого названия. Мы даем стране больше, чем все другие. Мы—мадьярские крестьяне, потомки первых, изначальных мадьяр. Дворянство говорит: мы распространим на народ конституцию. Какой грандиозный обман! Точно маленькая группка может включить в свой жалкий круг многомиллионный народ! Когда нам говорят, что говорим так мы, а не народ, то мы соглашаемся: действительно, значительная часть наших собратьев низведена на степень скотского существования; но в своих словах мы выражаем желание целого; ведь, чувствовать тягость бремени может и самый необразованный... Мы требуем равенства! Вспомните Галицию! Вы считаете естественным, что угнетенный и ограбленный народ легко поддается агитации против дворян. А что сделали наши государственные чины? На последней сессии сейма законодатели решили, что крестьянство тоже может рассчитывать на собственность. Если бы у нас была охота шутить, мы задали бы вопрос: не глумились ли законодатели, декретируя, что мы, нищие, тоже можем получить в собственность землю, но такую, которая никогда не принадлежала дворянству?...

Еще одно. Мы хотим освобождения земли, отмены „роботы“ и десятин. Мы должны жить на этой земле и с этой земли, и потому мы имеем право на участок земли, которого было бы достаточно для нашего пропитания. Поворот неминуемо должен произойти, будь то к худу или к добру. Нынешнее положение не может продолжаться. Или вы, братья дворяне, положите ему конец, или мы, крестьяне, а может быть, с вами, должны с этим покончить. Мы сделаем то, к чему вынуждает нас крайняя нужда; ведь, вы знаете знаменитую поговорку „Нужда не знает законов“. Победит сильнейший. Эта земля нам принадлежала, мы ее обрабатывали, а если вы не хотите законодательно зафиксировать нашего права, то мы сами это сделаем, теснимые нуждой“ [1]).

Еще меньше, чем о крестьянстве, можно говорить об идеологии венгерского пролетариата: он был количественно чрезвычайно незначителен, в большинстве инакоязычен и рассеян по всей стране; в силу слабой ее индустриализации, то был исключительно ремесленный пролетариат.

Последняя сессия государственных чинов.

В такой обстановке собрались осенью 1847 года государственные чины (сейм). Ничто не говорило, что этой сессии суждено быть последней. Подготовительный период и первые прения едва ли отличались от того, что делалось на трех—четырех предыдущих сессиях.

Чтобы понять последующее, надо вспомнить, что собрание венгерских государственных чинов состояло из двух палат. Верхнюю палату составляли члены наследственного феодального дворянства и правительственные должностные лица: князья церкви и виднейшие сановники, почти все из высшего дворянства.

Нижняя палата состояла из представителей поместного дворянства. Они избирались по комитатам и получали императивные мандаты. Дворянские собрания комитатов давали депутатам самые детальные указания, как им себя вести, и имели право во время сессии изменять эти директивы и отзывать своих представителей. Связь между двумя палатами осуществлялась письменно, в форме обмена нотами. Инициатива могла принадлежать как нижней, так и верхней палате, а равным образом исходить от государя, но проект получал силу закона лишь в том случае, если его принимали обе палаты и санкционировал король. Присутствовали при этом и представители городов, но они обладали лишь совещательным голосом, и при голосовании их представители вместе взятые имели один голос.

---

[1]) Собо приводит выдержки из разных его произведений в своей статье: „Общественная и партийная борьба в венгерской революции 1848—49 г.“ (на венгерском яз.).

На сессии государственных чинов налицо были все вышеобрисованные течения: консерваторы, которые, говоря по существу, требовали оставления в силе старого положения вещей; национальная оппозиция во главе с Кошутом и централистами, идеологами несуществующей еще буржуазии. Крестьянство, разумеется, не имело своих представителей, а представители городов попросту отстаивали реакционные привилегии городских цеховиков и в первую очередь требовали расширения своего права голосования.

Основными проблемами, помимо вопроса об отношениях к династии, было освобождение крестьян, всеобщее налоговое обложение и вознаграждение помещиков.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы пункт за пунктом стали следить за прениями последней сессии государственных чинов. Мы хотим лишь подчеркнуть, что в первой стадии ее работ не могло быть и речи о том, чтобы какая-нибудь оппозиционная партия стремилась к революционному преобразованию. Миллионы раз повторяемая венгерскими историками легенда, из которой почерпала свои сведения всемирная литература, приписывает венгерскому дворянству добровольный отказ от привилегий и освобождение крестьянства. Это—бесстыдная ложь. Дворянская оппозиционная партия с Кошутом во главе ни в коем случае не думала о жертвах со стороны дворянства: она стремилась к выкупу крестьянских повинностей, которые, как мы уже видели, являлись тормазом для развития и самого дворянского хозяйства; при этом дворянская оппозиция старалась провести выкуп так, чтобы за мадьярским дворянством во всяком случае сохранилась политическая гегемония. При том дворяне вовсе не собирались немедленно освободить крестьянство, а хотели только подготовить реформу. Только февральская революция в Париже, переворот в Вене и революционное движение в Пеште заставили их ускорить освобождение крестьянства. Мы на фактах покажем правильность нашего утверждения, столь резко противоречащего популярной легенде.

Кошут был представителем и вождем оппозиции в пештском комитате. Директивы, им полученные, были более реакционного характера, чем данные другими комитатами. Так, например, он должен был требовать не отмены, а лишь полноценного выкупа крестьянством церковной десятины; сохранения цехов и только их реформы и т. д. Что касается вопроса об освобождении крестьян, то его обсуждали на двух собраниях: 3-го и 6-го декабря [1]). Лишь 21-го декабря этот во-

[1]) Сессия сословного парламента, согласно феодальному обычаю, разбивалась на части по географическому признаку.

прос был поставлен на пленуме нижней палаты. Проект сводился к полному вознаграждению помещиков; нашелся один единственный человек, представитель верхне-венгерского маленького городка, предложивший заменить слова „полное вознаграждение“ словом „справедливое вознаграждение“. Как мало интересовался этим делом Кошут, свидетельствует его речь от 3-го декабря, где он говорит: „Мне прекрасно известно, что при нашей отсталости вопроса не решить в 24 часа“. Чтобы приблизиться к цели, он охотно учтет обстоятельства и соглашается, что на этот раз надлежит сделать лишь подготовительные шаги, с тем, чтобы ближайшая сессия государственных чинов имела возможность окончательно провести дело в жизнь.

При таких обстоятельствах естественно, что верхняя палата лишь 3-го февраля приступила к обсуждению вопроса об освобождении крестьянства, а нижняя лишь 10-го дала свое принципиальное согласие. Время шло, а вопрос о крестьянском освобождении не подвигался ни на шаг вперед.

1-го марта в Пресcбург, где заседал сейм, пришла весть о февральской революции. Это заставило Кошута 6-го марта вновь поставить вопрос об освобождении крестьян в порядок дня. Симптомов революционного настроения все еще не было видно. Принципы, положенные Кошутом в основу его предложения, были таковы:

Добровольное, а не принудительное освобождение крестьян.

Выкуп феодальных повинностей крестьян путем передачи земли помещикам (в первую очередь лугов и пастбищ).

Оценка стоимости феодальных повинностей комитетами комитатов, т.-е. не независимыми судьями, а самим заинтересованным дворянством.

И вновь лишь один представитель счел эти меры недостаточно радикальными и занял самостоятельную позицию по вопросу о смягчении феодального бремени и оценке этого бремени самим дворянством.

Надо было разыграться революции в Вене и революционному движению в Пеште; нужна была легко воспринятая на веру знающим свой грех дворянством ложная весть о крестьянских восстаниях в стране, чтобы сессия государственных чинов встала на более радикальный путь. Под влиянием венского переворота Кошут заявлял: „Чтобы удержать бразды правления в наших руках, мы должны сделать легальную революцию раньше, чем получит всеобщее распространение весть о венских событиях [1]).

---

[1]) Цитировано у Соб. 199.

Вслед за тем уже 14-го марта собрание государственных чинов при всеобщем одобрении приняло законопроект об освобождении крестьян и вознаграждении помещиков государством, а несколько дней спустя вновь назначенный конституционный министр-президент Венгрии Батнани говорил о крестьянском освобождении, что в первую очередь необходима принципиальная декларация по этому вопросу со стороны государственных чинов, „так как каждая минута промедления усиливает опасность". Дворянство видело, что если государственные чины не объявят об освобождении крестьян, то это сделают сами крестьяне, как это уже фактически произошло в некоторых районах Венгрии.

Дворянская революция, облекшаяся в буржуазную маску, единственной своей целью имела обеспечение господства дворянства и предотвращение угрожающей крестьянской революции. Последняя была тем опаснее, что династия могла заключить союз с крестьянством для борьбы с мятежными чинами. Палатин (представитель короля, нечто в роде губернатора), в письме, адресованном в эти дни в Вену, действительно предлагал в борьбе с мятежным дворянством развязать крестьянскую революцию.

В такой обстановке Кошут произнес свою знаменитую радикально-революционную речь, в которой он требовал, чтобы „венгерское дворянство подняло свою политику на уровень времени", и предлагал радикально преобразовать феодальную Венгрию в буржуазное государство.

Дворянство, в данное время потерявшее голову, было на все согласно. В Вену была отправлена депутация, которая от имени государственных чинов потребовала и добилась ответственного министерства, парламента, освобождения крестьян, установления всеобщей налоговой повинности, создания народной милиции, закона о печати и судах присяжных.

Для реакционного образа мыслей венгерского дворянства весьма характерно, что когда прошел первый страх перед революцией в Пеште, и когда весть о быстром крестьянском восстании не подтвердилась, то государственные чины стали саботировать принятые ими уже революционные решения. Освобождение крестьян распространялось лишь на группу феодального крестьянства: половина крестьянства, крестьяне-арендаторы были оставлены в прежнем положении на том основании, что это якобы не область государственно-правовых, а область частно-правовых сельско-хозяйственных отношений. На первом же заседании было решено, что вознаграждение помещиков надо признать „делом чести нации". Господа помещики не довольствовались этим решением и старались всеми средствами более прочно обеспечить удовлетворение своих требова-

ний. Вместо того, чтобы принять революционное решение разойтись, государственные чины заседали еще несколько недель. Деятельность их сводилась к аннулированию елико возможно большей доли их собственных революционных решений.

В заключение упомянем о принятом умирающим сеймом избирательном законе, касающемся выборов в парламент. Здесь уже ярко обнаруживается желание дворянства удержать в своих руках государственную власть. Избирательное право предоставлялось:

всем дворянам без различия имущественного положения и рода занятий;

ремесленникам, у которых работал хотя бы один подмастерье;

крестьянам, обладавшим участком земли в размере не менее ½ гуфы;

прочим лицам, обладавшим имуществом по крайней мере на 300 руб.

Избирательный ценз был столь высок, что количественное преобладание оказывалось на стороне избирателей дворянского происхождения.

Роль Пешта и пролетариата.

Мы видим, какое большое влияние оказала весть о революционном движении в Пеште на сессию государственных чинов, ускорив процесс развития революции. Пештское движение 15-го марта фактически мало отличалось от бунта.

Как видно из вышеочерченной картины социального положения Венгрии, ей не хватало буржуазного и рабочего классов, которые могли бы быть носителями революции. Вот что случилось в Пеште. Получив весть о низложении Меттерниха, молодежь, студенты, молодые служащие, отдельные попутчики из мелкой буржуазии и пролетариата зашевелились. Состоялся ряд собраний, на которых тон задавал Петефи. Приведенная в возбужденное состояние несколькими революционными речами и декламацией знаменитого стихотворения Петефи: „Восстаньте, мадьяры“, масса бросилась в Офен, освободила находившихся там политических заключенных, среди которых известным влиянием пользовался только Танчич. Одновременно с этим была фактически проведена в жизнь свобода печати: революционное стихотворение Петефи и несколько воззваний были отпечатаны, благодаря насильственному захвату типографий. Затем было решено организовать народную милицию и избрать исполнительный комитет. Требования народа были резюмированы в 12 пунктах, которые даже с внешней стороны совпадали с позднейшими решениями государственных чинов.

Промышленный пролетариат играл в этом движении роль простого попутчика. Ничто не свидетельствует о том, чтобы пролетариат выступал в качестве самостоятельного класса, формулируя свои требования как таковой. Мышление радикальных реформаторов было столь консервативно, что никому и в голову не приходило вовлечь промышленных рабочих в движение в качестве таковых. Весьма характерен тот факт, что 18-го марта было решено не принимать в имеющую организоваться городскую оборону ремесленных подмастерьев, так как „они—непостоянные жители города". Вновь организованная национальная гвардия вместе с городской полицией, действительно, уже позаботилась о том, чтобы подмастерья не стали постоянными жителями города. Несколько дней спустя в Пеште было арестовано 846 „бродяг"; 711 из них были высланы в качестве „чужих". В кругах радикальной молодежи не нашлось никого, кто бы—если не на основании принципиальных соображений, то на основании революционного инстинкта—протестовал против подобного отношения к пролетариату.

Поскольку в последующие дни и месяцы 1848 года рабочие заговорили, как класс, они потребовали, чтобы облегчили подмастерьям достижение самостоятельного положения (совершенно реакционное требование) но также повышения заработной платы и сокращения рабочего времени.

С этой целью созывались народные собрания ремесленных подмастерьев, приводившие к столкновениям с полицией. В конце-концов стали запрещать и разгонять такие собрания. Только печатникам удалось благодаря дисциплинированно проведенной борьбе добиться заключения первого в Венгрии коллективного договора с пештскими типографиями. Цехи сохранялись до самого крушения венгерской революции.

Позиция крестьянства.

Дворянство не обманулось в своих расчетах, связанных с освобождением крестьянства. Хотя это освобождение и носило половинчатый характер, оно предупредило крупные крестьянские восстания. Здесь надлежит отметить, что крестьянское освобождение в первую очередь пошло на пользу богатым крестьянам, тем, которые обладали целой или половиной гуфы, т.-е. как раз руководящим элементам крестьянства. Те же слои, которые были обделены при реформе, т.-е. беднейшее крестьянство, крестьяне-арендаторы, были не в состоянии без руководства крупных крестьян организовать восстание в крупном масштабе. Несмотря на это, следует сказать, что в обоих слоях крестьянства царило большое недовольство. Это недовольство выявилось впервые в

газете Танчича „Газета Рабочих". Название не соответствует содержанию: это была газета не пролетариата, а радикально-революционная, вполне националистическая крестьянская газета [1]). Хотя тираж ее не достигал и тысячи, все же это была единственная влиятельная газета в период революции. Из писем, которыми забрасывало венгерское крестьянство со всех частей страны редакцию газеты, видно, что венгерские крестьяне уже не питали иллюзий относительно роли дворянства. Их требования в первую очередь сводились к отмене всех феодальных повинностей, следовательно, и тех, которые еще не были отменены государственными чинами. Таковы, напр., право на устройство боен, пивоваренных и винокуренных заводов, кирпичных заводов, трактиров, монополии в области охоты и рыбной ловли, права таможенного и рыночного сборов и т. д., а также требование возврата земли, которая в последние десятилетия, благодаря пристрастным решениям дворянских судов, была отнята у крестьянства. Самые радикальные требования говорили об отмене феодальных повинностей без какого бы то ни было вознаграждения дворянства и о разделе земли.

Было бы любопытно подробнее ознакомиться с документами этого движения. Но мы не хотим слишком расширять наше изложение. Действительные восстания произошли, кроме районов, населенных инакоязычными, лишь в немногих частях Венгрии. Кое-где крестьяне отказывались итти в национальную армию и требовали в качестве вознаграждения раздела помещичьих полей. В нескольких пунктах дело дошло до нападений на дворянские усадьбы. В период крупной национальной опасности мобилизовались войска, назначались чрезвычайные суды, а в некоторых городах дело дошло до арестов сотен крестьян и до расстрелов. Несомненно, что недовольство крестьянства, его явный или тайный отказ принять участие в национальном сопротивлении много содействовали неудаче венгерской революции, поскольку дело касается ее национальной стороны.

Инакоязычное крестьянство.

Мы уже указывали, что инакоязычное крестьянство, хотя помещики-мадьяры угнетали его сильнее, чем мадьярское крестьянство,

[1]) Танчич колебался в выборе между национализмом и классовой борьбой. В конце-концов его национализм как будто победил. В ту пору, когда венгерской революции грозили габсбургские войска, Танчич для успокоения умов вновь и вновь заявлял, что парламент положит конец всем несправедливостям, и дошел даже до того, что распространял легенду о якобы добровольном отказе дворянства от своих прав.

было в лучшем положении, поскольку у него были вожди [1]) из рядов собственной интеллигенции, способные организовать движение.

Вот почему движение инакоязычного крестьянства, и в первую очередь румын, направленное против дворянства, стремившегося под буржуазным покровом сохранить в силе свое господство, носит более целостный и широкий характер, чем движение мадьярского крестьянства. В средине апреля в Баллаш-фалу состоялось собрание румын, в котором приняли участие представители крестьянства всех частей Трансильвании, во главе с румынами-интеллигентами.

Этому движению оказали поддержку расположенные в Трансильвании габсбургские войска. На севере были чешские легионеры, ворвавшиеся в словакскую область и организовавшие там национальное крестьянское восстание словаков. Положение обострилось благодаря тому, что в этих населенных инакоязычным крестьянством районах имелось много крестьян-арендаторов и что мадьяры-помещики не провели в жизнь тех постановлений государственных чинов, а позднее парламента, которые касались отмены крепостного права, а через несколько месяцев принудили крестьян к отбыванию „робот" (барщины). Дело доходило и до более широких восстаний инакоязычного крестьянства; они были подавлены организованной дворянством национальной армией, но значительно ослабили национальное сопротивление габсбургам. Это явление усугублялось тем, что вожди, стоявшие во главе габсбургских войск, Елачич, Виндишгрец, Шлик, проходя через ту или иную область страны, тотчас же возвещали, что царствующий дом соблаговолил вполне освободить крестьян. В этом пункте классовые интересы дворянства резко противоречили национальным интересам революционного государства.

Первый парламент.

Ход выборов в первую венгерскую палату депутатов и их результаты показали, что дворянству фактически удалось, хотя бы и под буржуазной маской, сохранить свое господство. Что касается выборной кампании, то имелась лишь весьма незначительная группа радикалов, стоявших за дальнейшее развитие законодательства в радикальном направлении; к ним принадлежал Танчич и два величайших венгерских поэта, Петефи и Арани. В то время как Танчич был избран крестьянством в двух районах одновременно, другие кандидаты-ради-

[1]) Общеизвестен тот факт, что мадьярское дворянство на протяжении столетий систематически стремилось заменить своих мадьяр-крепостных, оказывавших известное сопротивление эксплоатации, словакскими и румынскими. Таким образом целые общины словакского крестьянства оказались среди чисто венгерских областей.

калы, в том числе и популярный Петефи, потерпели поражение. Петефи в своей программной речи должен был признаться, что хотя республиканская форма правления есть наилучшая и он принципиально за нее, в настоящее время она не актуальна. Путем предоставления избирательных прав исключительно наиболее богатым элементам крестьянства и цеховиков и благодаря тому факту, что дворянство все без исключения обладало избирательным правом, а также благодаря тому, что администрация, монополизированная в руках дворянства, агитировала на выборах, во вновь избранный народный парламент. попали по существу те самые люди, которые раньше сидели в сословном сейме. Официальных цифр, характеризующих состав парламента, не имеется, но установлено, что в составе 415 депутатов, явившихся в Пешт, было 16 графов, 10 баронов и только 4 крестьянина, считая в том числе и Панчича, и не было ни одного не-мадьяра. Весьма вероятно, что кроме четырех крестьян, четырех ремесленников и одного рабочего, все остальные члены парламента были дворянского происхождения, т.-е. принадлежали к классу землевладельцев,

Мы не будем подробно останавливаться на работе первого парламента. Ей сильно мешали военные события. Констатируем лишь, следующие факты:

1) Хотя парламент и работал в течение целого года, он не выработал закона об освобождении крестьян-арендаторов и окончательном упразднении пережитков феодализма. Разрешение этого вопроса саботировалось бесконечными прениями. А Кошут вновь и вновь подчеркивал, что регулирование этих вопросов, когда нации грозит опасность, невозможно, потому что натравливание классов друг на друга помешало бы общей борьбе мадьярской нации против врагов. Реакционность доходила до того, что в конце декабря 1848 года на газету Танчича был наложен такой крупный штраф, что он должен был прекратить ее издание. Таким образом заткнули рот единственному органу, отстаивавшему интересы крестьянства.

2) Несмотря на провозглашенный Кошутом принцип, что не следует касаться вопросов, способных нарушить единый национальный фронт, вопрос о вознаграждении помещиков неделями и месяцами вновь и вновь появлялся в порядке дня парламента. Целыми неделями обсуждали, как подойти к оценке того, каков должен быть размер выкупа, предоставляемого помещикам в различных частях страны, и как обеспечить выкуп. Историк-марксист этого периода Эрвин Собо пишет по этому поводу: „Начиная с осени 1848 г., когда по всей линии началась открытая война, подавляющее большинство парламента знало лишь одну положительную заботу за-

конодателя: каким бы образом так обставить применение мартовского закона, чтобы класс, лишенный общественных и частных привилегий, не только сохранил неприкосновенным свое дореволюционное экономическое и социальное положение и свой перевес, но по возможности укрепил бы и расширил его".

До конца года, в то время когда вражеская армия Габсбургов стояла уже в 30 километрах от столицы, парламент все еще упорно продолжал дебатировать вопрос о вознаграждении помещиков. Были выставлены требования, которые в три или в четыре раза превосходили те действительные убытки, которые потерпело дворянство вследствие отмены феодальных повинностей. Когда возникла опасность, что большинство сойдется на каком-нибудь приемлемом решении, часть парламента предотвращала решение путем ухода с заседаний, срывая таким образом кворум. Жадность помещиков была так велика, что они обсуждали этот вопрос в сочельник 30-го декабря; когда враг стоял в 30 километрах от Будапешта и теснил венгерские войска и на других границах,—парламент все время невозмутимо продолжал свои прения о вознаграждении помещиков. Франц Деак, позднее один из руководящих политиков Венгрии, в суровой речи требовал отсрочки вопроса. Он между прочим говорил: „случилось то, чего я боялся: мы пишем весьма некрасивую страницу истории. В то время, когда страна находится под угрозой великой опасности, венгерский парламент продолжает спорить о том, сколько можно еще взять из кассы государства, за существование которого еще приходится бороться. Нам должно краснеть перед будущим, если теперь мы тратим время на это... Отложим же обсуждение этого вопроса, и когда позволят обстоятельства, спокойно возвратимся к нему; но не будем грязнить страницы истории, обсуждая сейчас вещи, особо интересующие депутатов... Мы не имеем права обсуждать сейчас интересы своих карманов,—тем более что следует помнить, что хотя мы и избраны на основе всеобщего народного голосования, но получающих вознаграждение в парламенте больше, чем не получающих".

Парламент наконец решил отложить вопрос. Два дня спустя он уже бежал из Будапешта.

Подобно тому, как не мог парламент решить вопрос об освобождении крестьян и вознаграждении помещиков, неспособен он был решить и вопрос о всеобщей налоговой повинности. Долгое время по этому поводу дебатировали, но дворянство вплоть до крушения революции фактически оставалось свободным от налогов [1].

[1] Характерно для невежества и слабо развитого классового сознания угнетенных классов то обстоятельство, что Танчич, исходя из принципа равенства, выступил против выдвигавшегося крестьянами требования прогрессивного налога на том основании, что „между человеком и человеком не должно быть разницы".

Внешняя политика и поражение венгерской революции.

Тот факт, что венгерская революция носила лишь маску буржуазной революции, в действительности же была дворянской революцией, направленной против Габсбургов, определил внешнюю политику венгерской революции и привел в конечном счете к ее поражению. Дворяне, вожди венгерской революции, были не в состоянии охватить связь этой революции с европейским революционным движением. Они по существу были враждебны этому движению, имевшему совсем иную социальную основу.

В начале 1848 года власть Габсбургов была сильно расшатана. Восстали не только мадьяры, но и Вена, итальянские провинции, Ломбардия и Венеция, и чешские области. Царствующий дом выехал в австрийскую Вандею, в Инсбрук в Тироль, не для того, чтобы отказаться от борьбы, но чтобы вести ее систематически и успешно.

Так как восстание итальянских провинций больше всех других могло расчитывать на международную поддержку, в особенности со стороны Франции, при известнцх обстоятельствах и Англии, притом провинции эти были густо населены и богаты, то в первую очередь решено было нанести удар этому повстанческому движению. Для контр-революционного духа последней сессии государственных чинов характерно, что они, без особой оппозиции, согласились отпустить венгерские войска на помощь для подавления итальянских повстанцев. Радецкому удалось к 25 июля вновь подчинить Италию, но еще раньше, 15 июня, Виндишгрецу удалось подавить пражское восстание.

Первая попытка двора нанести удар мятежному мадьярскому дворянству потерпела крушение. Наместник Кроации Елачич был назначен военным главнокомандующим и 11 сентября со своим войском ворвался в Венгрию, но был скоро обращен в бегство организованными мадьярскими войсками и оттеснен к австрийской границе.

Габсбургам приходилось мобилизовать большие силы для борьбы с венграми.

В данном случае особенно ярко сказалась разница между венгерским пролетариатом и мадьярским дворянством в смысле понимания международной общности антигабсбургского революционного движения. 6-го октября войска должны были выступить из Вены на Венгрию. Венский пролетариат помешал этому революционным выступлением [1]).

[1]) Характерно, что австрийское крестьянство после своего освобождения было совершенно равнодушно к дальнейшим судьбам революции и покинуло в нужде как венский пролетариат, так и венгерскую революцию.

В течение трех недель Вена оставалась в руках пролетариата. Но реакция успела уже лучше сорганизоваться и Виндишгрецу удалось после яростной борьбы взять в конце октября город и окончательно раздавить пролетариат. Но в то время, как венский пролетариат энергично и самоотверженно боролся за дело Венгрии, дворяне вожди мадьярской революции совершенно не понимали, что падение Вены равнозначаще крушению венгерской революции. Венгерские войска сделали слабую попытку продвинуться в австрийскую область и освободить осажденную Вену, но при первом же сопротивлении отступили.

После падения Вены Габсбурги сосредоточили свои силы против Венгрии. Виндишгрец наступал с запада, Шлик с севера, а оставшиеся в Трансильвании войска, к которым уже тогда примкнуло некоторое количество русских войск, наступали с востока. В конце декабря Виндишгрец вошел в Будапешт и дело венгерской революции, казалось, было проиграно.

Но случилось иначе. Оттесненный вглубь венгерской провинции Кошут со свойственной ему энергией и настойчивостью организовал сопротивление. Весной 1849 года произошел поворот военного счастья, как это предсказывал Маркс в одной из статей в „Новой Рейнской газете“: вновь образованные революционные войска повсюду одержали победу над габсбургскими наемными войсками и в апреле 1849 года вся Венгрия была очищена от габсбургских войск. 14-го апреля габсбурги были объявлены низложенными, а Венгрия — республикой с Людвигом Кошутом во главе.

Мадьяры вновь имели возможность, продвинувшись на запад, вдохнуть новую жизнь в венцев и итальянскую революцию, обеспечив таким образом в международном масштабе победу: но национальная ограниченность вождей помешала использовать эту возможность, что, пожалуй, привело бы к совсем иному обороту европейской истории.

В этот момент в венгерскую революцию вмешалась Россия. На свидании царя Николая с австрийским императором в Мюнхенгреце, состоявшемся в 1833 году, оба императора обязались оказывать друг другу помощь при каждом революционном движении. Поэтому австрийский император обратился теперь к царю Николаю с просьбой прислать ему на помощь войска для подавления венгерской революции. Царь не заставил себя долго просить: через два часа по получении просьбы был уже дан приказ приготовить необходимые войска. Новое личное свидание двух монархов укрепило контр-революционный союз. На Венгрию наступала русская армия в составе 130.000 человек. Одновременно с этим с запада прорвались австрийские войска.

Венгерская революция не могла выдержать этого объединенного наступления. После ряда жестоких схваток верховный главнокомандующий венгерской армией Гёргей сложил 13-го августа при Вилагоше оружие перед русскими войсками.

Последствия венгерской революции.

После поражения венгерской революции началась габсбургская реакция. Но эта реакция была по существу не социальной, а национальной. То, что было сделано дворянской революцией социально-прогрессивного, освобождение крестьян, проведение всеобщей налоговой повинности, осталось. Потерпела крушение лишь попытка мадьярского дворянства создать самостоятельное государство из зависимой составной части габсбургской монархии. С другой стороны, господство Габсбургов ни в коем случае не знаменовало общественного прогресса. Дворянский землевладельческий класс сохранил за собой гегемонию и после поражения. Когда же после проигранной австро-прусской войны 1866 года Габсбурги были вынуждены заключить мир с продолжавшим оказывать пассивное сопротивление мадьярским дворянством, когда в 1867 году была выработана новая конституция австро-венгерской монархии, то, несмотря на парламентскую конституцию, власть мадьярского дворянства, мадьярского землевладельческого класса оказалась целиком восстановленной. Венгерский парламент и впредь оставался парламентом дворян-землевладельцев; до мировой войны пролетариат был исключен из него совершенно, а не-мадьярские элементы, составлявшие до половины населения, почти совершенно. Венгрия никогда не знала буржуазной революции, подобной английской или французской. Землевладельческий класс отчасти обуржуазился, устроив различные сельско-хозяйственные промышленные производства и связавшись с банками и промышленными предприятиями; с другой стороны, развившаяся в последние десятилетия венгерская буржуазия идеологически вполне приспособилась к мадьярскому дворянско-землевладельческому классу. В Венгрии дело обстояло так, как в России; только диктатура пролетариата окончательно и бесповоротно смела бы здесь то, чего не могла смести буржуазная революция.

Ю. МАРХЛЕВСКИЙ

ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1848 г.

Дипломаты держав победительниц на Венском Конгрессе 1815 г. проделали такую же работу, как их наследники на наших глазах в Версале в 1919 г., и проделали ее с такими же результатами. Одним из самых сложных вопросов, которые тогда пришлось решать дипломатам, был вопрос о судьбе польского народа. О восстановлении самостоятельного польского государства, конечно, не было речи. Наполеон в 1807 г после побед над Пруссией и Россией, создал из части земель Речи Посполитой, отошедших к Пруссии, новое государство, „герцогство Варшавское" с саксонским королем Фридрихом Августом, как наследственным герцогом во главе. Это „герцогство" мыслилось французским императором крепостью Франции, плацдармом на случай новых осложнений в Европе; действительно, во время похода на Москву в 1812 г. этот плацдарм сыграл серьезнейшую роль, став базой французских операций, при чем маленькая страна (всего 1860 кв. миль с 2.400.000 жителей) дала армии Наполеона около 60.000 отборных войск. На Венском конгрессе Александр I потребовал для себя этого „герцогства", против чего протестовали Австрия и Пруссия. Из-за этого вопроса союзники чуть не подрались между собой, и только известие о десанте Наполеона, бежавшего с острова Эльба во Францию, заставило их примириться. После долгих торгов в 1815 г. состоялось относительно польских земель следующее решение: 1) Россия удержала за собой восточные области, доставшиеся ей при первых разделах Польши, и округ Белостокский, который при третьем разделе отошел к Пруссии, но в 1807 г. был отнят у нее; 2) Австрии оставили „королевство Галиции и Ладомерии", т.-е. восточную и западную Галицию, увеличив ее надел округом Тарнополя и Велички с ее богатейшими залежами соли; 3) Пруссии отдали часть „герцогства" с департаментами Познань и Бьедгонц (Бромберг) и данцигский порт; 4) Краков объявили „вольным городом" с территорией в 23½ кв. мили, под протекторатом России, Австрии и Пруссии; 5) оставшуюся часть „герцогства" превратили в „царство Польское", вошедшее в состав Российской империи, но с собственным государственным строем, основанным на конституции. Наконец, было решено, что Россия, Австрия и Пруссия введут для своих польских

подданных конституцию, удовлетворяющую их национальным интересам.

Это хитроумное решение, конечно, окончилось крахом. Первое восстание вспыхнуло в „царстве". На первых порах Александр увлекался ролью конституционного монарха и в „царстве" водворилась администрация, соответствующая, если не интересам польского народа, то интересам польской шляхты. Она пользовалась широкой автономией, которую осуществляла в сейме. Все административные должности были в руках поляков, существовала польская армия,—словом, „царство Польское" связывалось с Российской империей исключительно в лице монарха: самодержец российский являлся конституционным королем Польши. Такая комбинация, конечно, вела к конфликтам. Русское чиновничество никак не могло помириться с ней, и очень скоро начались трения. Вызывал их, в первую очередь, „наместник" короля-императора великий князь Константин Павлович, доводивший своим самодурством до отчаяния не только чиновников, но и офицеров польской армии, главнокомандующим которой он состоял. Эти трения повели к тому, что конституция очень скоро стала нарушаться. Переменчивый в своих взглядах Александр, по мере того, как подпадал под влияние мистиков-реакционеров, отказывался от своих конституционных симпатий. Константин Павлович и Новосильцев, русский чиновник, посланный ему в помощники, прилагали все усилия к тому, чтобы конституцию свести на нет. Это вызывало оппозицию, которая прибегала к тайным сообществам, а это, в свою очередь, навлекало гонения. После смерти Александра, при Николае I, реакция еще более усилилась, при чем главным поводом явилось то, что царскими сыщиками была установлена связь между тайными польскими сообществами и декабристами. Преследования привели, наконец, к восстанию, которое началось 27 ноября 1830 г. нападением воспитанников военной школы „подхорунжих" на Бельведерский дворец, в котором проживал Константин Павлович. Демократы старались придать восстанию революционный характер, но этому сопротивлялись вожди шляхты. После упорных боев военные силы Польши в конце 1831 года были подавлены. Николай I уничтожил конституцию и ввел режим, направленный к уничтожению польской культуры и насильственному обрусению поляков.

Разгром восстания повел к обеднению края и к подавленному настроению среди тех, кто сопротивлялся иностранному игу. Во время боев некоторые части польских войск вынуждены были перейти на территорию Пруссии и Австрии, где солдат разоружили и заключили в тюрьму. Но все-же несколько тысяч человек были впоследствии освобождены и нашли приют во Франции и Англии. Эмигрировали

также многие политические деятели. Таким образом в тридцатых и сороковых годах в Западной Европе, преимущественно во Франции, сосредоточилась польская эмиграция, насчитывавшая несколько десятков тысяч человек. Там были и представители польской аристократии, которые уповали на „торжество справедливости", т.-е. на помощь западных держав в деле восстановления Польши, и демократы, которые надеялись на торжество демократии во всей Европе и указывали на то, что в интересах этой демократии польский народ должен быть освобожден от иностранного ига, ибо демократия может быть прочной лишь при том условии, если уничтожит всякое насилие, а, следовательно, и насилие одной нации над другой. Последнее, демократическое направление преобладало среди эмиграции. Во главе его стали выдающиеся ученые, как Лелевель и Мохницкий, к ним присоединились великие поэты Мицкевич и Словацкий. С одной стороны, среди эмигрантов-демократов шла усердная научная работа и подвергалась суровой научной критике вся шляхетская идеология; с другой—они завязывали многочисленные сношения со всякими революционными организациями в странах Запада. Но эмигранты не отказывались и от непосредственного возобновления вооруженной борьбы за освобождение Польши. Уже в 1835 г. Иосиф Заливский организовал отряды для нападения на русские гарнизоны в Польше, расчитывая на поддержку крестьян, и такие тайные революционные организации возрождались и после. Но все эти попытки кончались неудачами и стоили больших жертв: многие из участников погибли на виселицах и в тюрьмах России, Пруссии и Австрии. Лишь в начале сороковых годов демократы сумели создать дееспособную организацию в Познани, откуда они распространяли множество революционных брошюр и воззваний во всех трех частях Польши. Это повело к возникновению целой сети тайных организаций, которые вели широкую пропаганду революционных идей в разных местах Польши.

Интересно, что и первые проявления социалистической пропаганды в Польше возникли в этой эмигрантской среде. Часть солдат польской армии, разоруженных в 1831 г. в Пруссии и заточенных в крепости Грудзнондз (немецкое Грауденц), после долгих мучений попали в Англию. Там им отвели лагери, выдавали кое-какие средства на содержание. И вот среди этих солдат, борцов за национальную свободу, начинают распространяться идеи социализма. Они сознают, что восстание погибло потому, что не весь народ принял в нем участие, что господствующий класс шляхтичей-помещиков ничем не поступился с своей стороны: если-бы помещики немедленно отдали землю крестьянам, то крестьяне сумели-бы эту землю защитить от „москалей". Вывод простой: чтобы освободить Польшу, нужно, чтобы восстал весь кресть-

янский народ, отнял землю у помещиков и выгнал врагов отечества. Но с этой революционной идеей сочетались идеи религиозные. Таким образом возникла „громада Грудзнондз", сообщество, основанное на социалистических принципах. Главным пропагандистом этих идей был Станислав Ворцель. С другой стороны, в самой Польше, в окрестностях Люблина, под влиянием революционной пропаганды эмигрантов, ксендз Петр Стеченный образовал тайное крестьянское сообщество, которое провозгласило социализм и революционную борьбу против царского правительства. В 1844 г. Стеченный был захвачен жандармами и сослан на Нерчинскую каторгу.

В 1846 г. демократические организации готовили новое национальное восстание во всех трех частях Польши по плану, выработанному Людовиком Мирославским. По этому плану восстание должно было иметь характер крестьянской революции: лозунгом было наделение крестьян земельной собственностью и устранение всех остатков крепостничества. Но заговор был раскрыт и прусские власти арестовали Мирославского и значительное число его товарищей-организаторов. В Кракове, однако, произошел взрыв; австрийский гарнизон сбежал и заговорщики провозгласили „народное правительство", во главе которого стал Дембовский. Провозглашались лозунги революционные и отчасти социалистические, и объявлялась борьба против шляхты и против иностранных угнетателей. Но такая постановка вопроса вызвала сопротивление краковских обывателей. Начались распри среди самих заговорщиков и вся борьба была парализована. Австрийское правительство расправилось с этим восстанием таким образом, что через своих агентов повело крестьян, возбужденных агитацией повстанцев, против тех же повстанцев: в окрестностях Тарнова произошла резня, жертвой которой пали, в первую очередь, те помещики, которых агенты правительства считали сторонниками восстания. Произошли также попытки бунта кое-где в „Царстве". Начались бешеные репрессии и значительная часть заговорщиков была казнена. Политическим результатом этого заговора был договор между Россией, Пруссией и Австрией об отмене постановления венского конгрессса касательно „вольного" города Кракова: город был отдан в распоряжение Австрии.

Не удивительно, что после этих тяжелых поражений настроение среди польских демократов-революционеров в Польше и в эмиграции было. подавленное. Особенно Тарновская резня не могла не произвести самого тяжелого впечатления и дала повод консерваторам к ярым нападкам против демократов.

Таково было положение в Польше, когда разразилась революция 1848 года. „Народы" восстали против правительств, против королей,

провозглашались лозунги свободы и братства народов. В кругах польских революционеров сразу создался подъем. Польские эмигранты во Франции немедленно пошли на баррикады с парижскими рабочими, в Италии Адам Мицкевич призывал к организации польских легионов для борьбы за освобождение Италии от Габсбургов, и в эти легионы спешили старые боевики, участники наполеоновских войн и бывшие повстанцы, закаленные в боях 1830 г.

В Берлине в мартовские дни революционеры вспомнили поляков, борцов за свободу, которые томились с 1846 г. в тюрьмах. По обычаю того времени к королю была отправлена депутация, которая заставила его подписать амнистию, на основании которой освобождались Мирославский и его сподвижники. Они немедленно примкнули к берлинским революционерам и старались воздействовать на население в польских провинциях Пруссии. Под давлением революции правительство обещало реформы и была организована комиссия из поляков и немцев для выработки новых начал самоуправления в этих провинциях.

Одним из требований, которые выдвигали революционеры в Пруссии, была подготовка войны против России на случай, если бы царь вздумал двинуть свою армию для подавления революции. Понятно, что Мирославский сейчас же предложил свои услуги в этом деле. Это был человек с военным образованием и пользовался широким авторитетом среди революционных кругов. Не дожидаясь решения правительства, он приступил к организации военных отрядов в польских провинциях. Однако прусское правительство и не думало о войне с Россией, оно, напротив, тайком сносилось с Петербургом, и когда через несколько недель революционная волна пошла на убыль, оно потребовало роспуска польских отрядов. Мирославский и его сторонники отклонили это требование, но „национальный комитет", образовавшийся в Познани, настаивал на подчинении приказу: в нем преобладали защитники помещичьих интересов, далекие от всяких революционных стремлений, которые в расчете на то, что „законная власть" удовлетворит национальные стремления поляков, не хотела „раздражать короля". Мирославскому пришлось уступить.

В местечке Ярославце состоялось соглашение с представителем правительства генералом Виллисеном; отряды были разоружены; оставалась лишь милиция в числе 2.800 человек. Вскоре однако и эта милиция подверглась нападению со стороны прусских войск; Мирославский пробовал было сопротивляться и у местечек Милослав и Вржесня произошло несколько стычек. Однако победа осталась за королевскими войсками, которые принялись беспощадно истреблять польских революционеров. В мае месяце революционное движение в польских провинциях было окончательно раздавлено.

Эпилог разыгрался во франкфуртской учредилке, о чем придется говорить ниже.

Австрийское правительство использовало опыт 1846 г.: декретом от 15 апреля было объявлено, что император освобождает крестьян от крепостной зависимости, и чиновники начали демагогическую агитацию против „бунтовщиков", которые мешают императору осчастливить народ. Одновременно агенты правительства всеми средствами старались разжигать в Восточной Галиции национальную вражду между поляками и румынским крестьянством. Вследствие этого в Галиции, кроме незначительных выступлений в Кракове и во Львове, во время революционной борьбы в Вене, все было спокойно. Крестьянство пошло на удочку правительственной демагогии и, конечно, жестоко поплатилось за это, ибо впоследствии „отмена крепостных повинностей" была проведена таким образом, что у крестьян отняли значительную часть земли в пользу помещиков.

В „Царстве" и на Литве взрыв мартовской революции вызвал усиленную деятельность тайных сообществ, которые еще уцелели от преследований. Но царские власти были на чеку и заговорщикам не удалось вызвать никаких серьезных столкновений.

Когда в Германии началась вооруженная борьба между революционерами и монархией, Мирославский поспешил вместе с многочисленными эмигрантами-поляками на помощь революционной армии; и благодаря своей военной подготовке, эти польские революционеры сыграли серьезную роль в боях в Бадене и Пфальце.

То же самое повторилось в Венгрии: когда царь двинул русскую армию для подавления революции, отряды польских революционеров под командою опытных офицеров, участников восстания 1830—1831 г., Бема, Высоцкого, Дембинского, и др., поспешили на помощь венгерским революционерам. После подавления революции остатки польских легионов нашли убежище в Турции, и многие солдаты и офицеры перешли на турецкую службу, где принимали потом участие в крымской войне.

Итак, мы видим, что несмотря на все усилия революционеров-заговорщиков, мартовская революция 1848 года не нашла широкого отклика в Польше. Одной из причин был, несомненно, разгром тайных организаций в 1846 г. Но главной причиной, конечно, является тогдашнее социальное положение в Польше. Революция 1848 года являлась революцией буржуазной, и она могла развиваться, главным образом, благодаря тому, что промышленный пролетариат, который во Франции и даже в Германии в это время составлял уже заметную общественную силу, всецело поддерживал революционную борьбу. В Польше же в это время промышленного пролетариата почти не

существовало. Если в 1830 году возможна была вооруженная борьба польского народа против царизма, то это объясняется существованием организованной военной силы в виде польской армии в „царстве Польском". Благодаря этой армии революционное правительство могло достигнуть того, что народ был вовлечен в вооруженную борьбу против царизма. В 1848 году этой вооруженной силы не было и поднять на борьбу темное и разрозненное крестьянство не оказалось в Польше возможным, несмотря на все усилия заговорщиков-революционеров.

Спрашивается, какой же общественный слой представляли эти польские революционеры? По своему происхождению громадное большинство из них принадлежало, несомненно, к шляхетскому, помещичьему классу. Преобладали военные, офицеры-эмигранты, а затем молодежь, сыновья помещиков, вовлеченные в конспиративную революционную деятельность. Большинство этих эмигрантов было воодушевлено исключительно патриотизмом: освобождение Польши от иностранного ига было их заветною целью. Но обстоятельства сложились так, что единственная возможность сокрушить силу поработителей польского народа заключалась в революционном движении, направленном против монархической власти Романовых, Габсбургов и Гогенцоллернов, вследствие чего эти патриоты-заговорщики и шли в революционное движение. Классовые интересы польской шляхты, несомненно, были на стороне реакции, но это могло бы вполне обнаружиться при успешном ходе и в особенности исходе борьбы. Раз вступив на революционный путь, эти патриоты захватывались революционной идеологией того времени, включительно до социализма.

Выше мы упоминали, что вопрос о реформах и, вообще, о польско-прусских отношениях был перенесен во франкфуртское учредительное собрание. Польский вопрос обсуждался здесь в августе 1848 г. Вопрос, прежде всего, шел о том, должны ли войти польские провинции в состав германского государства. Тут оказалось, что германская буржуазия и не думала разрешать польский вопрос революционным путем. Прежде всего, она попыталась произвести новый раздел польских земель. Так как прусский король дал обещание ввести в польские провинции реформы, которые удовлетворят национально-культурным интересам польского населения, то представители немецкой буржуазии во Франкфурте прежде всего подняли спор о том, на какой территории должны быть введены эти реформы, и пришли к заключению, что не вся территория, захваченная Пруссией при разделе Польши, населена поляками. Дело в том, что уже во время существования Речи Посполитой, города—особенно на западе Польши—насчитывали значительное число немецкого населения, а начиная с первого раздела Польши в 1772 г., прусские власти всеми средствами

старались поощрять немецкую колонизацию в захваченных провинциях. Туда посылали в большом числе немецких чиновников. Кроме того долгое время существовал закон, по которому земля, которая продавалась с торгов вследствие задолженности владельца, могла быть продана только немцу, а не поляку. Таким образом в 1848 г. в этих провинциях, действительно, скопилось довольно значительное число немцев. Поэтому депутаты учредилки заявляли, что если в польских провинциях будет введена автономия в пользу поляков, то необходимо, для ограждения несчастных немцев, выделить из этих провинций те части, которые заселены в значительной мере немцами. Это и был новый раздел польских земель. В конце концов, однако, все эти толки в учредилке ни к каким результатам не привели: когда реакция восторжествовала окончательно, то прусское правительство никаких реформ в польских провинциях не ввело, а напротив, усилило политику насильственной германизации. Для нас, марксистов, этот эпизод особенно интересен потому, что прения во франкфуртской учредилке дали повод Карлу Марксу написать ряд блестящих статей по польскому вопросу в „Нейе Рейнише Цейтунг" [1]).

Один ученый историк, некий Штенцель, написал для учредилки обширный доклад, в котором старался оправдать захват польских земель прусским правительством и защищал притязания немцев на эти земли. Это дало повод Марксу изложить в общих чертах историю польско-немецких отношений. Он безжалостно разоблачает все фразы о „культурных благодеяниях", которые немцы, колонизируя города, оказали полякам, горько смеется над псевдонаучными, а по существу реакционно националистическими выводами немецкого ученого и показывает, что захват польских провинций был просто грабежом, а хозяйничание прусского чиновничества в этих провинциях — одним сплошным преступлением, позорящим немецкую нацию. Потом Маркс со свойственным ему сарказмом разоблачает „либеральные" фразы о симпатиях „к несчастной, угнетенной нации", которые тогда были в ходу в Германии, высмеивает лживую сентиментальность мещанского либерализма и с пламенным гневом обрушивается на те варварские преступления, которые солдатчина проделала после Ярославецкого договора, разоружая польские отряды. Он заявляет: „Первые разделы Польши до 1815 года были захватом земель вооруженной силой; раздел 1848 года является кражей,"—и приводит факты, как все время правительство и чиновничество Пруссии обогащались грабежом польского населения. „Беспочвенный и нецелесообразный немецкий энтузиазм (в польском вопросе) не дал других результатов, кроме того,

1) Статьи эти вошли в известное „Литературное наследие".

что стал предлогом для самых грязных действий новейшей истории". Затем Маркс указывает на роковые последствия раздела Польши: „Черта, которую провели три державы по польской земле, является ремнем, который связывает их между собой: общий грабеж заставляет их быть солидарными. С момента первого ограбления Польши, Германия попала в зависимость от России. Россия приказывает Пруссии и Австрии сохранять абсолютистический монархический строй, и Пруссия и Австрия не смеют ослушаться".

Затем Маркс указывает, что во время раздела Польши аристократия Польши оказалась на стороне держав-захватчиц: эта аристократия спасалась от аграрной революции, ища защиты у милитаристских держав. Борьба поляков за самостоятельность является революционной борьбой и потому их угнетатели становятся еще более контр-революционны. „Особенно с момента Краковского восстания 1846 г. борьба за независимость Польши становится одновременно борьбой аграрной демократии—единственно возможной формы демократии в восточной Европе—против патриархально-феодального абсолютизма".

Отсюда вывод: „Помогая угнетать поляков и присоединив одну из частей Польши к Германии, мы сами оказались прикованными к России и к русской политике на все время, пока мы не сможем разрушить до основания патриархально-феодальный абсолютизм у себя. Создание демократической Польши является первым условием создания демократической Германии". И дальше Маркс говорит „Германия могла бы дать Польше гарантию в восстановлении ее государственной независимости и при этом обеспечить свои собственные интересы и свою собственную честь, если бы у нее хватило мужества после революции потребовать у России в собственных интересах с оружием в руках выдачи польских земель. Но в виду колоссальной чересполосицы на границах и особенно на морском побережьи, обе стороны были бы вынуждены к взаимным уступкам, и то, что часть немцев должна была бы стать польскими гражданами, а часть поляков немецкими, понятно само собой и не могло быть препятствием". Но, говорит Маркс, хотя немецкие краснобаи изливали свои чувства в сентиментальных речах в честь польских борцов за свободу, они не были способны понять великие задачи революционной политики. „Революция не расширила, а сузила наш кругозор. Все вопросы рассматривались с самым трусливым, ограниченным и узким филистерством, и этим, конечно, мы компрометировали еще раз наши действительные интересы. Вследствие этого мелочного филистерства великий вопрос об освобождении Польши был сведен к крошечной фразе о реорганизации одной части познанской провинции и энтузиазм в пользу поляков кончился применением

разрывных бомб и адского камня" [1]). „Единственно возможным, единственным способом спасти честь Германии и оградить немецкие интересы была бы война против России. На это не решились, и наступило неизбежное: „солдатчина реакции, разбитая в Берлине, подняла голову в Познани; под предлогом, что она спасает честь и национальность Германии, она подняла стяг контр-революции и задушила поляков-революционеров, наших союзников, и обманутая Германия одно мгновение кричала „ура" своим победоносным врагам". В дальнейшем Маркс подвергает уничтожающей критике речи ораторов, выступавших по этому вопросу в национальных собраниях, не щадя ни ораторов справа, ни демократических краснобаев в роде Руге и Роберта Блюма.

С тех пор, как Маркс писал эти статьи по польскому вопросу, прошло семьдесят пять лет, и „польский вопрос" был решен революционным путем: русский пролетариат, уничтожив царский абсолютизм, создал положение, при котором восстановление политической независимости польского народа стало неизбежным. Но интересно то, что во время германской половинчатой революции 1918 года немецкие политики оказались такими же узколобыми филистерами, какими были немецкие демократы во время половинчатой буржуазной революции 1848 года. Господа Шейдеман, Гаазе, Носке, в руки которых попала власть в ноябре 1918 г., эти „марксисты" соглашательского толка, и в польском вопросе сыграли ту же идиотскую роль, какую в 1848 г. сыграли германские демократы. Вместо того, чтобы стать на революционный путь и, по примеру большевиков, немедленно провозгласить отказ Германии от всякой претензии на польские земли, они оказались такими же шовинистами, как члены пресловутой франкфуртской учредилки, и этим содействовали тому, что польская буржуазия и польские социал-предатели бросились в объятия империалистической Франции, ища защиты от немецких притязаний. Результатом явилось то, что сейчас Польша, которая, как доказывал Маркс в 1848 году, была очагом революции, является орудием в руках реакционного империализма.

Но разница в том, что в эти семьдесят пять лет вырос польский пролетариат, возглавляемый Коммунистической Партией, и Россия, которую Маркс клеймил, как оплот мировой реакции, является сильнейшей опорой мировой пролетарской революции. „Польский вопрос" в том смысле, как он существовал во время буржуазной революции для Маркса, не существует больше. Но существует вопрос об освобождении польского пролетариата, и он будет решен революционным путем.

---

[1]) „Адским камнем" в Пруссии клеймили польских пленных, заброшенных в казематы крепостей.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ

РЕВОЛЮЦИЯ 1848 ГОДА В ИТАЛИИ

ГЛАВА I.

Введение.

Революционные события в Италии, принявшие уже 27 января 48 г. в Сицилии решительный характер восстания, дали первый толчок к великому революционному движению 1848 г. Мало того, они составили один из самых ярких и показательных эпизодов этой гигантской социальной трагедии.

Как и другие революции, итальянская революция 48 г. прежде всего и главным образом была национально-политической. Раздробленные или подчиненные нации в ходе процесса своего капиталистического развития выдвигали одна за другой и к 48 г. в достаточной степени выдвинули буржуазию, и в особенности интеллигенцию, как носительницу своего национального единого сознания. Идеологически это рисовалось, как идеал свободного народа, верного духу своей расы и своей культуры. Славяне, венгры, итальянцы и сами немцы подымали каждый свое пестрое знамя. Экономически это означало стремление капиталистических групп, развернувшихся внутри каждой нации, приобрести некоторый защищенный внутренний рынок для своего дальнейшего развития и свой политический аппарат, который не только приводил бы к подчинению капиталу крестьянские и пролетарские массы внутри страны, но и мог бы организовать военно-дипломатическую машину для защиты интересов этого капитала вовне.

Конечно, чем меньше была развита нация и чем меньше она была едина, тем более оборонительный характер носила эта идеология. Чем больше нация была зрелой, тем более просвечивала уже известная империалистическая окраска.

Италия в этом отношении стояла как раз по средине наций по своему развитию. Во Франции национальный вопрос занимал уже второстепенное место. Первоначально даже казалось, что он не играет вовсе существенной роли. Франция давно уже была великой державой. Правительство, вышедшее из Февральской революции, казалось только политически освобождающим средние и высше-средние слои буржуазии, задавленные до тех пор банкирскими сливками, и, конечно, соответ-

ственно, от лица к лицу с большей или меньшей искренностью, кокетничающим с народными массами. Только дальнейшее развитие, через Кавеньяка к Наполеону III, и возобновление империи показало, что одной из главных движущих пружин французской революции было стремление национальной биржи развернуться с тем мишурным блеском раздутой спекуляции, какой превратился в вакханалию при второй империи.

В то же время совсем отсталые народности, как, например, западные славяне, только начали осознавать себя и мечтать о самостоятельности.

Италия была раздроблена и унижена, но у нее было несравненное прошлое и громадная возможность единства, заложенная и в географических, и в культурных условиях. Вот почему в Италии заметны как бы обе черты: с одной стороны к 48 году идеи национального единства как будто еще не осознаны, и Италия мало способна даже на оборону, так что ее лозунг „Italia fara da se“ (Италия сама устроится). казался своего рода чванством; с другой стороны идеи итальянского мессианства, возрождения великого Рима и республики, вся эта мистическая или маниакальная мишура уже тоже играла роль.

Было бы. однако, в высшей степени неправильно предполагать, что все революционное движение 48 года имеет этот национальный, на тенденциях буржуазии. и еще глубже, на потребностях изменившейся экономики. зиждущийся характер.

Нет, под этим слоем жил другой. Там копошились иной раз совершенно анархические, иной раз складывавшиеся в какой-то полубесформенный еще кристалл,—другие движения.

То было глубоко демократическое движение, уже тогда окрашенное в социализм; студенты. ремесленники, верхи пролетариата мечтали о республике. разумея под этим не только свое реальное участие в управлении своими судьбами, но и неясные еще контуры изменения самой общественной жизни в направлении какого-то коренного улучшения их быта.

Если даже в передовой Франции дело сводилось сначала к вредному декоративному социалистическому миражу Луи Блана и Альбера, а потом к отчаянному конфликту парижского пролетариата с буржуазией, при измене радикальной демократии с ее Ледрю-Ролленом, если в Германии демократы—за малыми исключениями—оказались болтунами, а пролетариат почти не успел проявить себя в качестве самостоятельного класса, то в Италии положение было еще более мутным.

Здесь мы не встречаем совсем социалистов, разве только какие-то подделки социализма в миросозерцании того или другого деятеля. Сама демократия здесь тоже была рыхлая, и только наличие внеш-

него врага—Австрии—придает некоторую металличность ее лучшим элементам.

Итак, социальная революция, народническая революция в Италии в 48 году играла весьма второстепенную роль и являлась как бы прерывающимся басовым аккомпаниментом к воинственным мелодиям националистически настроенной республиканской демократии, к отвратительным лицемерным псалмам конституционалистов и фальшивым руладам прожженной дипломатии правительства.

Я хочу уже здесь вкратце обрисовать роль отдельных классов или больших классовых группировок в итальянской революции. Внизу массовым населением было крестьянство. Оно оставалось почти целиком пассивным. Австрийцев оно не ненавидело, иногда склонно было почти поддерживать их (были случаи, когда прямо поддерживало). Своих правительств оно не любило, но не достаточно интенсивно, чтобы быть способным на активное восстание. Много, много, что в некоторых местах случались аграрные беспорядки, но они направлялись против тяжелых требований новых демократических правительств еще чаще, чем против налогов старых правительств. Крестьянство чрезвычайно редко было другом и тогда чуть-чуть тепловатым, чаще всего равнодушным свидетелем революции, иногда довольно опасным врагом.

Итальянская революция была в подавляющем проценте городской. Низами городского населения Италии являлась безработная чернь, тот люмпенпролетариат, который Кавеньяк сумел использовать и в Париже против пролетарской революции. От города к городу люмпенпролетариат в Италии играл различную роль. В Неаполе, как читатель увидит дальше, он сыграл роль жестокую, фатальную и позорную. В Сицилии он колебался между беспринципным разбоем и героическим бунтом. В Генуе и Ливорно склонен был к взрывам, но неспособен к стойкости. В Милане в лучшие моменты он поддерживал революцию. В Венеции,—за ничтожными исключениями,—он был выше всяких похвал. Конечно, такая различная роль люмпенпролетариата в разных городах объяснялась не только разницей его физиономии и расовых особенностей (хотя, конечно, тот или другой социальный характер, та или другая складка быта или сознания сказывались здесь), сколько самой политикой по отношению к нему. В Неаполе король Бомба был другом и любимцем лаццарони, специалистом по части их развращения. Они были там многоголовой черной сотней, а он их вождем. В Сицилии они были лишены руководства: у них не было вождя, и мелкая буржуазия не давала им вождей. В Милане общее героическое увлечение увлекало и их самих. Наконец, в Венеции обаятельная политика величайшего из вождей итальянской

революции, Манина, сумела перебросить мосты между всеми элементами населения.

Но настоящей опорой революции, ее главной силой была мелкая буржуазия. Сюда нужно отнести ремесленников, включая некоторый, зародышевый еще к этому времени пролетариат, мелких торговцев и в особенности студентов. 14.000 нищих баккалавров Италии—это был главный кадр ее республиканского национализма. К ним примкнула и лучшая часть остальной интеллигенции.

Разношерстная, не ясно мыслящая, энтузиастическая и быстро охлаждающаяся, эта масса выдвигала соответственных вождей. Если у Мадзини было много характера, то зато и величайший туман в голове. Если Гверацци был очень яркой личностью и ловким политиком, то он весь амфибиально двойственный, и даже сам Гарибальди, рыцарь без страха и упрека, в отношении социальной теории и политического такта был то, что немцы называют „конфузионсрат" („конфузии советник"). То же относится и к другим. Опять таки только сверкающая личность Манина выделяется на этом фоне, как звезда первой величины.

Выше шли слои средней буржуазии. Сюда относились средние и крупные торговцы, часть мелкого дворянства или дворянства национально-идеалистически настроенного, часть чиновничества и даже прогрессивная часть духовенства и, наконец, бóльшая часть лиц свободных профессий.

Эти группировались вокруг знамени конституционализма, они, как всегда, изменяли революции, подставляя ей палки в колеса, и вписали немало страниц позорной трусости, хитрого самообмана в эту общую книгу бесславия, которая называется социальной биографией средней буржуазии.

Еще правее стояло большинство дворянства, крупное чиновничество и светские правительства. Дальнейшее изложение даст несколько изумительных по карикатурности черт заигрывания этих господ с конституцией, их пугливой блудливости, их подлого вероломства, их бездарности и свирепости. Наконец, еще правее стояло наглое правое духовенство, руководимое мерзавцами и извергами в роде Антонелли, имевшее авангардом иезуитов и действующей армией сантофедистов, родных старших братьев нынешних фашистов господина Муссолини.

И вся эпопея представляет собою ткань из этих нитей, куда однако вплетается еще кровавая беспощадность 80-летнего солдафона Радецкого, холодное вероломство Пальмерстона и дряблая, болотная политика Франции.

Читая книгу об итальянской революции, живо представляя ее себе, не столько обогащаешь себя какими-либо глубокими социально-

аналитическими представлениями,—все тут, с точки зрения социального анализа, давно ясно,—сколько с волнением переживаешь огромный исторический опыт, и невольно у тебя исторгается то крик восторга перед тем или другим подвигом, то проклятие перед той или другой подлостью. Быть может, ни одна революция, именно в силу разбросанности итальянской жизни, не представляет столько психологических красок, как итальянская, если говорить, конечно, о революциях той эпохи.

ГЛАВА II.

Положение Италии ко времени революции 48 года.

Ко времени революции 48 года Италия представляла собою целое лоскутное одеяло. Ломбардия и Венеция принадлежали Австрии. Самостоятельными государствами были Пьемонт, Тоскана, папские владения и королевство обеих Сицилий. О более мелких герцогствах, в роде Модены и Пармы, мы говорить не будем, они волей-неволей переживали судьбу своих более сильных соседей.

Самым сильным между государствами Италии был, конечно, Пьемонт. Сравнительно небольшое государство, лежавшее между наследственными врагами, Австрией и Францией, оно отстаивало свою самостоятельность в течение долгого времени именно в силу соперничества двух крупных хищников и соответственно развило в себе значительную долю дипломатического коварства и двуличия.

На одном двуличии, однако, в этом положении держаться было нельзя. Пользуясь своим крестьянством, которое характеризуют, как ограниченное, лишенное идеала, но крепкое и цепкое (горные крестьяне всегда почти таковы), пьемонтское правительство развернуло сравнительно очень сильную армию. За образец оно брало Пруссию и, действительно, являлось,—и в конце концов явилось,—именно итальянской Пруссией.

По всему своему характеру Пьемонт был отсталой страной. Один дворянин охарактеризовал его строй так: „У нас есть только король, который повелевает, дворянство, которое его поддерживает, и народ, который ему повинуется“. Дворянство представляло собою замкнутую военную касту. Церковь, деятельно поддерживавшая трон, тяжелым бременем лежала на нации. Торговля, за исключением Генуи, которую, однако, убивала конкуренция Триеста, не была развита. Промышленность была в зародыше.

Три четверти бюджета шло на армию. Солдатский материал был превосходный, дворянство, в качестве офицеров,—храбро, генералы были исключительно тупы, интенданты—сверхестественные воры. Ге-

нералы и интенданты являлись главными „союзниками" Австрии и червем, который высосал сердцевину военного сопротивления Италии. Один публицист пишет: „Государи Пьемонта и по необходимости, и по влечению были фельдфебелями, а Турин наполовину казармой, наполовину монастырем".

Следующим крупным слагаемым Италии были подчиненные Австрии провинции. Не надо думать, что положение в них было хуже, чем в остальной Италии. Наоборот, Милан был безусловно интеллектуальной столицей всего полуострова. В сущности говоря, за исключением разве Тосканы, итальянцы нигде не пользовались такой свободой, как в австрийских владениях. Но не надо преувеличивать и надо помнить, что это не мешало австрийскому режиму быть безотносительно невыносимым. Итальянцы еще помнили сравнительно либеральный и во всяком случае какой-то одухотворенный режим правительства Богарнэ (во времена Наполеона). Австрийская бюрократия, мелочная, но прежде всего, педантическая, неповоротливая, смешная внушала им омерзение. Между тем Меттерних не уставал повторять: „Ломбардцы должны забыть, что они итальянцы".

Ломбардия в смысле народного просвещения опередила всю остальную Италию. Она не могла сносить австрийской цензуры, хотя она была не хуже, чем цензура доморощенных правительств. Она нетерпеливо сносила проказу шпионства и полицейского надзора, хотя полиция австрийская была ничуть не хуже римской или неаполитанской.

Дворянство не играло в Ломбардии почти никакой роли, было австрофильским, к чему склонялось и крестьянство, но это была единственная часть Италии, рядом с Венецией, имевшая довольно сильную промышленную и торговую буржуазию. К ней примкнуло довольно значительное количество интеллигенции. В общем, средний класс Ломбардии и Венеции представлял значительную силу и по богатству своему, и по интеллектуальному развитию, и даже в моральном отношении.

Все, что сказано о Ломбардии, может быть отнесено и к Венеции с прибавкой того, что великий торговый город, полный славных воспоминаний о своем изумительном прошлом, страдал во всех слоях своего населения от подавления своей торговли австрийцами и конкуренции растущего Триеста.

Меттерних, который старался отвлечь и своих венцев от мысли развлечениями, пускался на ту же политику и в Милане, и в Венеции. В Милане, и особенно, в столице Адриатики Венеции балы сменялись балами, одни народные празднества другими, театры, игра в любовь и карты свирепствовали, так что старичина Радецкий,

ухмыляясь, говорил: „Уж во всяком случае не итальянцам заниматься военным делом".

Однако, Радецкий ошибался. Именно веселый Милан и легкомысленная Венеция скоро показали Австрии свои зубы, оказавшиеся достаточно острыми, чтобы на время, по крайней мере, парализовать железные руки Радецкого.

Великое герцогство Тосканское было распутным. Каким-то правительственным распутством была и смесь полицейщины и полулиберализма, которые в нем замечались.

Самая черная реакция лежала на остальной Италии, на папских владениях и на юге. Папские владения руководились коллегией кардиналов, зловещих стариков, хитрых, распутных, жадных и реакционных. Больтон Кинг отмечает „светский, суетный характер римского двора". Кто мог бы подумать! двор наместника Христа и вождя всех боголюбивых аскетов,—вдруг самый суетный и светский из всех дворов Европы!

Правительство черных воронов, конечно, раздавило промышленность своей глупой таможенной политикой, несмотря на наличность в Романьи таких сравнительно больших производственных центров, как Болонья. Само законодательство представляло собою, как пишет Кинг, „чудовищную смесь постановлений всех столетий". Шпионство развернулось в такой кошмар, что в сравнительно небольшом Риме было 3.000 лиц под гласным надзором полиции. В полицейских документах их называли: „лицами, принадлежащими к классу, называемому мыслящим". Римская полиция, таким образом, раньше чеховского баньщика, находила подозрительным, если у человека есть „идеи".

Еще более курьезно вела себя святая инквизиция. Генерал-инквизитор Пезари издал в 41 году такой декрет: „Повелеваю всем гражданам тщательно собирать и доставлять сведения о всех проживающих в их соседстве или ставших им известными еретиках, евреях и волшебниках, а также о всех недовольных правительством, и в особенности сочиняющих сатиры на папу и духовенство".

Монсиньер Д'Азелио с грациозной улыбкой, обмахиваясь душистым платком, объяснял римским дамам, что „невежественным народом легче управлять". А кардинал Ламбрускино особым распоряжением воспретил евреям „вступать в дружеские отношения с христианами."—„Спекуляция вечным спасением—говорит Кинг—производилась с тем же бесстыдством, как и в дни Лютера". Города и провинции ненавидели папское правительство. У романьольцев была пословица: „Лучше турок, чем папа". Рим составлял предместье папского дворца и, по словам Сисмонди, „каждый римлянин носил либо тонзуру, либо ливрею, либо лохмотья".

Худо было в Риме, но не лучше в прекрасном Неаполе и его сказочно великолепных владениях. Здесь издавна заключен был союз между омерзительнейшим представителем омерзительных Бурбонов и населением Санта-Лучии, вшивыми лаццарони, гревшими на солнце животы и с необыкновенным аппетитом бросавшимися на грабеж города по первому призыву „отца отечества“. Еще в 1799 году великий английский адмирал Нельсон напустил на город неаполитанских грабителей с их вождем Фра-Диаволо во главе. Город был залит кровью. Это совсем не было похоже на оперетту „Фра-Диаволо“, которая сейчас заставляет улыбаться москвичей, ни на того Нельсона, которого показывают нам на кино экране фильмы „Лэди Гамильтон“. Это была сплошная черносотенная гнусность, где левая рука однорукого лорда крепко пожимала испачканную в грязи и крови руку продажного черносотенного бандита.

Правление Мюрата было одним из самых удачных среди всех экспериментов наполеоновской политики и внешне надолго создало в Неаполе бумажный либерализм. Бурбоны, ненавидевшие Мюрата, не осмеливались отнять у народа всех данных ему вольностей, но вынули у них всю сердцевину.

В Неаполе, в сущности говоря, было два правительства: тайный заговор карбонариев, особенно сильный в Калабрии, и иногда по влиянию своему равнявшийся правительству, но превратившийся постепенно из благородного и серьезного рода масонства в союз личных интересов, достаточно беспринципных, хотя и окрашенных в розовую краску; и бурбонская полиция, которая обладала всеми полномочиями, секла заключенных, пытала их, имела у себя на откупе,—как впрочем и карбонарии,—профессиональных убийц. Правительство и карбонарии убивали друг друга взапуски. Промышленный класс был в зачаточном состоянии. Крестьянство трудолюбивое, на юге неаполитанского королевства склонное к независимости и к отпору, но дикое.

Неаполь был самым большим городом Италии и насчитывал в то время 300.000 жителей, из которых 40.000 принадлежало к благородному сословию лаццарони. Уже в то время складывалась подлая организация „Каморры“ для использования взрывчатого распутства этого беспросветно суеверного и беспечного плебса.

Резко отличалась от неаполитанского королевства в собственном смысле подчиненная тем же Бурбонам Сицилия. Эта полутропическая страна со своим итало-греко-нормано-сарацинским населением была полна необузданных страстей, но способна на высокие порывы великодушия и бесстрашного рыцарства. Сицилийский народ во всей своей истории проявляется как лишенная головы, но одаренная большим

сердцем масса. Сицилия издавна была житницей, но ее превратила в страну бедняков дурная администрация, жадность дворянства. Хлебная торговля, процветавшая еще в древности, пала, благодаря отсутствию дорог. Плантаторы, фермеры и нанятая ими сволочь организовали подобное каморре общество маффия. Неграмотность была общая. Даже дети дворян иногда не умели читать. Страна кишела монахами. Но вместе с тем Сицилия была настроена напряженно-революционно по отношению к Неаполю. Именно здесь под горячим солнцем, раньше, чем где бы то ни было, созрели плоды той национально-буржуазной, с примесью неясного народничества революции, которая потрясла Европу в 48 году.

ГЛАВА III.

Люди и события до битвы при Кустоцце.

Пятью главными действующими лицами социальной трагедии выдвинувшимися из ее массовых проявлений, являлись два короля— фальшивый конституционный Карл Альберт и едва дававший себе труд притворяться черный реакционер Фердинанд II, затем сентиментальный истерический эпилептик папа Пий IX и два крупнейших революционера: Мадзини и Манин.

Краткая биография каждого из них послужит еще одним вступлением к изложению ярких событий 48 года.

Имя Карла Альберта выдвинулось еще в то время, когда он был предполагаемым наследником престола в связи с революционным движением 21 года в Пьемонте. Он был воспитан в Париже, служил в наполеоновской армии, и Наполеон сделал его даже графом империи. Отсюда априорное убеждение, что он либерал, так как даже реакционнейшие сподвижники Наполеона казались все же либералами на фоне „нормальных" государственных людей Пьемонта. И действительно, честолюбивый молодой человек оказался не прочь от скользких шашней с карбонариями, представлявшими из себя в то время в Турине довольно разношерстную и неразборчивую компанию.

В январе 21 года Карл Альберт обещал карбонариям поддержку в восстании против абсолютно тупого и реакционного Виктора Эммануила. На другой же день он однако отправился к этому почтенному главе фамилии и самым предательским образом выдал своих товарищей по заговору. Правда, Кинг со свойственным ему либеральным добродушием приписывает этот низкий поступок тому, что принц „испугался и раскаялся"; я лично думаю, что он сознательно поступил здесь как провокатор, с тем неослабляющим вину обстоятельством, что в душе его не было никакого единства, и он неоткрытыми гла-

зами смотрел на свою провокационную роль, действительно, некоторое время колебался и не знал, кого предать, кому изменить.

12 го марта 21 года бунт разразился, и офицеры отказались приказывать солдатам стрелять в студентов. Предательство Карла Альберта не спасло короля. Виктор Эммануил отрекся от престола и на престол должен был вступить его младший брат, столь же черный Карл Феликс. Пока регентом провозглашен был Карл Альберт. Революционеры, не знавшие, что он их предал, требовали от него конституции до приезда настоящего короля. Карл Альберт театрально ответил, что умрет за королевское дело, но когда студенты и гарнизон окружили дворец, этот несчастный господин, который так и ушел в могилу с прозвищем „Король колебаний“, подписал конституцию, при чем оговорился, что делает это, чтобы сохранить государство для нового короля. Однако, новый король прислал проклятие и самый злобный черносотенный манифест. Карл Альберт опять испугался, раскаялся и тайно бежал к своему патрону.

Вот каков был человек, которому Италия хотела вручить свои судьбы и который являлся ее мечом и защитником, мечом, конечно, картонным, и защитником, полным измен, как это будет видно из всего дальнейшего изложения.

Революция 21 года была подавлена самым изумительным образом. Дело в том, что королевские войска Карла Феликса и Карла Альберта расстреливали народ вкупе и влюбе с австрийцами! Ну, как же после этого не согласиться с тем, что Карл Альберт был во всяком случае „великим патриотом“.

Карл Феликс процарствовал недолго. Реакция при нем была беспросветной.

В апреле 31 года на престол вступил Карл Альберт. Несмотря на его не столько сомнительное, сколько несомненное прошлое провокатора и изменника, буржуазия, утомленная идиотически злым Карлом Феликсом, приветствовала нового короля, а Мадзини написал письмо к нему, в котором призывал его стать во главе патриотов. В ответ на это Карл Альберт приказал немедленно арестовать автора письма, что и толкнуло Мадзини окончательно в ряды революционеров. Не без его участия наспех устроен был заговор против нового короля, который был открыт, при чем 12 человек было расстреляно. Король покорнейше просил судей быть беспощадными.

Мадзини, бежавший в Швейцарию, создал там полк из 700 эмигрантов и вторгся в Савойю.

В этой безнадежной авантюре участвовал и Гарибальди, тогда еще безвестный молодой матрос. Кучка людей, конечно, была разбита на голову. Карл Альберт утвердился на престоле окончательно.

Между тем в Пьемонте, отчасти в противовес организованному Мадзини новому обществу „Молодая Италия“, стала крепнуть либеральная партия. Крупнейшим ее представителем в то время был не Кавур, еще очень молодой и мало влиятельный человек, а патер Джоберти, недюжинный философ, вообще довольно крупная фигура, пересадивший мессианизм Мадзини и его высокопарную мораль, горячий итальянский патриотизм на либеральную почву и снабдивший все это кроме того, значительной долей нео-католической преданности папе. Все это, конечно, было в рамках полнейшей законности и верноподданности по отношению к Пьемонтскому королю. Книги его, в особенности „Prolegornini“, вышедшая в 45 году, имели огромное влияние. Менее значительной, но тоже влиятельной были фигуры одного из вождей революции 31 года Мамиани, вернувшегося из изгнания поседевшим и охладевшим, Чезаре Бальбо, розового либерала, автора нашумевшей книги „Надежды Италии“; наконец, талантливого, но поверхностного демократа Д'Азелио, который хоть по крайней мере был в некоторой степени антиклерикалом. Вокруг этих людей создалось все то, что хотело как-либо мыслить и свободно жить, но что пугалось тайных обществ, граничащих с терроризмом, призывов, граничащих с народническим социализмом крайней левой партии, возглавляемой Мадзини.

Здесь надо сделать маленькое отступление от изложения событий царствования Карла Альберта, необходимых для его характеристики, и вернуться к Мадзини. Мадзини был пьемонтец. Он родился в Генуе в 1805 году. Ко времени революции он был, таким образом, вполне зрелым человеком 43 лет. Еще юношей он выдвинулся, как своеобразный критик романтической литературы, человек обладающий огненным пером. На 25 году жизни он попал в тюрьму. Мадзини представлял собой странную фигуру, ненавистную для одних, божественную в глазах других. Характерно, однако, что наши великие мастера Маркс и Энгельс относились к нему всегда, как к явлению сумбурному, довольно несерьезно и,—несмотря на весь него радикализм,—глубоко мещанскому.

Его заслугой являлось то, что он стал объединителем лучшей части радикалов, прежде всего студенческой молодежи. „Поставьте молодежь во главе революции“, писал он, организовывая свою „Молодую Италию“. Он первый достаточно ясно подчеркивал необходимость заинтересовать в республике народные массы обещанием социальных реформ. Эти социальные реформы, однако, вытекали из чувства „справедливости“ и отличались самой утопической туманностью. Все же активизм Мадзини и его народничество быстро вытеснили старую, еще более сумбурную школу карбонариев.

Этому содействовало и многое в личности Мадзини, чрезвычайно подходившей для романтической экзальтации юношей. Суровый аскет, пламенный писатель и оратор, мистик, во главу угла своего мистицизма поставивший веру в третий Рим и в призвание Италии вновь быть руководительницей народов, человек решительный, беспощадный до терроризма и сентиментальный—он естественно стал центром притяжения для взбудораженной и нервной радикальной Италии. Но надо отметить, что Мадзини в высшей мере был свойствен также оппортунизм. Но, чтобы быть оппортунистом в тактике, оставаясь твердым как скала в принципах, необходимо иметь также твердые принципы. У Мадзини, к сожалению, вместо принципов была, может быть, и горячая, но киселеподобная жижа.

Считая, что единство Италии еще выше республики, Мадзини с появлением Джоберти и кристаллизацией либеральной партии сейчас же пошел на уступки, прекратил республиканскую пропаганду и проповедывал своим последователям верность Альберту, если последний решится стать хотя бы на почву программы минимум, которой он считал либеральную путаницу Джоберти, во многом подобную его собственной радикальной путанице.

Карл Альберт испытывал муки Тантала. Его двойственная, в корне изменчивая натура опять не знала, кого предать. Он кокетничал с либералами, которые не только обещали ему любовь народа, но и всеитальянскую корону, и по прежнему ханжествовал с попами, заявляя о своей богобоязненности и верности старым традициям: трус от природы, он не только тянулся и к прянику абсолютизма в руках ксендзов, и к сусальной итальянской короне в руках либералов, но и боялся крутых мер с их стороны. „Я нахожусь между кинжалом карбонариев и отравленным шоколадом иезуитов!“ восклицал злополучный „король колебаний“. Наконец, колебания его прекратились. Робко вступил он на путь реформ: „Правительство должно итти в авангарде прогресса“, попмёзно заявил он в рескрипте и стал прописывать стране гомеопатические дозы наиумереннейшего либерализма. Таковы были делá с Карлом Альбертом к тому времени, когда народное движение выдвинуло его в качестве всеитальянского вождя и меча революции.

Менее сложна и более остра характеристика низкого собрата Карла Альберта по ремеслу—Фердинанда II, по прозвищу „Король Бомба“.

На трон королевства обеих Сицилий этот зловещий персонаж вступил в 1830 году. Он публично осудил правление своего реакционного отца. Народ был очарован переменой. Фердинанд был красавцем и гордился своей популярностью. Он любил таскаться по тем квар-

талам Неаполя, где жили беспринципные хулиганские толпы лаццарони, разговаривал с ними на неаполитанском жаргоне, шутил и упивался влюбленным благоговением этих жалких париев. Возвращаясь к себе во дворец, этот король, один из наибольших негодяев, какие когда-либо носили корону, любил повторять: „Мир хочет, чтоб его дурачили“. „Король должен быть искусным мастером в этом деле“ или „мой народ не похож на французов, и я могу спокойно думать один за него“. Уже тогда в его королевской голове твердо созревал план возможности сломить всякую революцию путем натравливания жадной до грабежа массы нищих на трудовое население и на буржуазию.

Деятельность карбонариев, довольно грозное восстание в Сицилии в 38 году, хотя и подавленное, все это заставляло Фердинанда быть на стороже, и он усиливал свою армию, которую укреплял исключительно преданными себе офицерами, которых он всячески баловал. Увеличивал количество наемных швейцарских солдат, составлявших его лейбгвардию. Развращал Неаполь весельем по Меттернихскому рецепту и гладил грязную голову неаполитанского лаццарони, готовясь спустить его в нужный момент на свой дорогой народ.

Папа Григорий, один из самых безобразных, как физически, так и морально из всей омерзительной серии этих кащеев на престоле Петра, умер в 46 году. Романья была накануне восстания. В самом Риме тошнота по отношению к папскому режиму дошла до края горла. Однако, если кардинал Мастаи был выбран 17 июня папой, то не за свой либерализм, хотя репутацию либерала он имел, а потому, что хотели подгадить Австрии, которая его терпеть не могла. Мастаи, назвавший себя Пием IX, происходил из бедной дворянской семьи, был офицером и светским человеком. На духовную карьеру толкнула его тяжелая эпилепсия. Обладая известной фантазией и припадочным мистицизмом, он прославился, как проповедник. Иезуиты считали его хорошим дипломатом и ловким сватом между разными враждебными партиями. На самом деле он не был умен, он был только покладист и красноречив, а внутренне это был суеверный, легкомысленный и слабодушный человек, очень трусливый, внешне льстивый, скользкий, полный деланного пафоса актер. Актером Пий IX был прежде всего. Актером, встреченным аплодисментами и преисполнившимся вследствие этого чванным самодовольством, актером, освистанным потом совершенно заслуженно. Папа Пий IX считал себя учеником Джоберти и зачитывался его книгой. Он мечтал о том, что он и есть тот папа-мессия, который сделает Рим на самом деле столицей обновленного мира.

Амнистия, которую он даровал после восшествия на престол, слава либерала, приятный голос, изящные манеры, тонкое одухотворен-

ное лицо, льстивость по отношению к народу—все это способствовало тому, что не только либералы восторженно толпились вокруг папы, но на некоторое время увлекались им и римские народные массы, а за ними сознательная часть народов всей Италии.

Однако, реакционность большинства кардиналов и иезуитский орден не спускали его с ниточки и заставили его, например, оставить на своих местах реакционных чиновников Григория. Правительство якобы либерального кардинала Джиали лишено было всякого влияния. И на самом деле санфедисты и их покровители продолжали делать, что хотели. В свою очередь и подданные папы Пия IX скоро начали выходить из терпения. Пия IX, жаждавшего популярности, сердила оппозиция его двора, но он не находил в себе силы прикрикнуть на свою челядь. Он сам боялся санфедистов, которые поговаривали о перевороте и не прочь были, фигурально говоря, выставить кокетничающему эпилептику кончик кинжала из-под своего романского плаща.

Но даже в этом виде либеральный папа на короткой ниточке кардинальской коллегии показался Меттерниху, как он объявил во всеуслышание, „величайшим несчастием века". В результате интриг Меттерниха австрийский гарнизон занял папский город Феррару. С папом Пием IX сделался припадок, и он совершенно вышел из себя. Этот поступок Австрии толкнул его в оппозицию и сблизил с Карлом Альбертом.

Оставляя в стороне весьма второстепенных вождей каких бы то ни было партий, которых нашла для себя революция в Тоскане и Ломбардии (самым крупным из них был писатель Гверацци, на котором мы еще остановимся), остановлюсь на наиболее симпатичной и по своему изумительной личности—венецианском адвокате Манине.

Манин был еврей, кажется, единственный из крупных революционеров Италии того времени. От природы это был человек тщедушный и до крайности болезненный. С молоду он взял себя в руки и решил установить для себя определенный гигиенический режим, чтобы сберегать драгоценные капли своей энергии. Он заявлял, что в нормальное время считает себя стоящим ниже самого среднего человека. И действительно, физически он целыми часами чувствовал утомление и сонливость, словом, крайнюю неврастению. Но даже в эти часы упадка мысль его продолжала работать с громадной яркостью. Зато иногда и притом довольно часто и—главное—всегда, когда это было нужно, Манин, словно лампа с великолепной горелкой, но малым количеством масла, возжигался с неожиданной силой. И в такие минуты поражал не только железной энергией, хладнокровной активностью, изумительным красноречием, равного которому тогда

Италия не знала, но и необыкновенной проницательностью ума, безошибочно судившего о каждом положении.

На спутанном фоне итальянских событий, среди ошибок, падений, фанфаронства, измен благородно рисуется профиль Манина, всегда делающего то, что нужно. Его имя еще в большей мере, чем имя Мадзини и Гарибальди, связано для 48-го года со славой этой революции, которая, как бы то ни было, насчитывала в своем активе несколько замечательных страниц: пять дней в Милане, защита Рима в 49 году, сицилийская революция и—прежде всего и выше всего—революция в Венеции и самооборона Венеции, героем каковых событий был именно Манин.

Первое яркое революционное событие в Европе в 48 году произошло 12 января в Палермо. Сицилийская революция дала сигнал к европейской революции, как я уже говорил. Все государства Фердинанда I взволновались. Сеттембрини опубликовал протест к народу обоих Сицилий, который оканчивался таким призывом: „Единственное средство—это оружие". Калабрией фактически правил революционный комитет из бывших карбонариев. Еще осенью 47 года вспыхнуло восстание в Мессине, подавленное королевскими войсками. 47 человек было расстреляно. Сицилия была наиболее готова к революции и это потому, что там неаполитанцев считали чужестранцами, а крепкий характер, страстная восторженная стойкость делали легко воспламенявшуюся и довольно стойкую массу опорой либеральной интеллигенции и националистически настроенного дворянства. Во главе восстания стоял тот самый Криспи, несомненно человек выдающихся способностей, который позднее был одним из реакционнейших министров объединенной Италии.

12 января по призыву революционного комитета студенты и ремесленники Палермо взялись за оружие, а за ними восстали и другие города.

Неаполь не сразу откликнулся, тем более, что единственный решительный вождь неаполитанской революции—Поэрио—был в тюрьме. Однако 27 января Поэрио был освобожден. Король заметил колебание в своих войсках и поручил архиумеренному либералу Бонелли составить конституцию. Таким образом, плут Фердинанд, прямо заявивший, ухмыляясь, что рад оказать „такую услугу" своим братьям-королям и подставить им ножку, опередил Карла Альберта. Карл Альберт поторопился дать конституцию и Пьемонту. За ним последовал и легкомысленный герцог тосканский Леопольд. Мадзини пригласил папу последовать доброму примеру. Получив письмо от страшного революционера, папа до того перепугался, что с ним сделался обычный припадок. К этому времени все уже разглядели, что актер-то он в

сущности плохой и, по крайней мере, близко стоявшие к нему римские массы давно перестали ему аплодировать. Кардинал Антонелли, всем известный шельма и развратник, стоял в то время во главе правительства Пия IX. События в Неаполе, Пьемонте и Флоренции были все же слишком предостерегающи. Они довольно картинно передвинулись и в Рим. Кардиналы, поломавшись, согласились, наконец, дать конституцию.

Конечно, римская конституция—при том обстоятельстве, что вообще никакая конституция с поповским режимом не совместима—была самой мишурной, но велика-ли была ценность конституций и других итальянских государств? Сообразительный молодой человек, будущий божок дипломатов, Кавур писал в своем дневнике; „Конституция имеет своею целью привлечь умеренных и подавить демократов".

Рабочие и мелкие ремесленники оказались ею совершенно обойденными, хотя и в Турине, и в Неаполе, и в Палермо они, конечно, рядом со студентами—являлись единственно подлинными активными гражданами.

Посреди этих событий грянул гром и над Парижем. Правительство короля-буржуа было низвергнуто и победой народа воспользовалась болтливая интеллигенция с прекраснодушным, воображавшим себя политиком, беллетристом Ламартином во главе. Но во всяком случае эти события имели для Италии огромное значение. Правительство Луи Филиппа было чуть-чуть что не австрофильским. Республиканская Франция в двух отношениях не могла остаться равнодушной к Италии. Во-первых, с Австрией ее ничто не связывало, как предыдущую династию, и она могла естественно плыть по фарватеру исконной дипломатической розни между Францией и Австрией, которая определялась их положением в Европе. Во-вторых, французская республика должна была естественно искать союзника в распространении республиканского образа правления, и даже поэт Ламартин, и даже астроном Араго, и даже близорукий, туповатый и сентиментальный Гарнье Пажес понимали, что итальянскую революцию надо поддержать.

Радикалы Италии потянулись было к Франции. Ламартин со своей стороны не прочь был сразу вмешаться в готовящуюся австро-итальянскую распрю. Но этот союз Италии с Францией так и не состоялся. Пьемонтское правительство делало вид, будто не верит искренности намерений французов, хотя о завоевании французами какой-либо части Италии по обстоятельствам того времени не могло быть речи. Итальянские радикалы были преисполнены патриотизмом и считали, что у Италии достаточно сил для своего освобождения. И за этими жалкими

аргументами потянулась почти вся Италия вплоть до Мадзини! Один только великий Манин понимал, что союз с Францией и ее военное вмешательство есть единственное спасение для итальянской революции, но „один в поле не воин".

Февральская революция в Париже пришпорила события в Италии. Иезуитов выгнали отовсюду. Манин говорил все резче, призывая венецианцев к протесту против австрийской ферулы. Наконец, он был заключен в тюрьму вместе с поэтом Томазео. Кстати, этот последний был несомненно благородным и искренним демократом и довольно талантливым поэтом. Он верой и правдой играл вторую скрипку при Манине и только к концу событий стал ворчать и нервничать, воображая себя левее Манина, а на деле будучи просто сумбурнее его.

Над Ломбардией и Венецией лежала к этому времени ледяная тень фельдмаршала Радецкого. Ему было 80 лет. Это было настоящее воплощение Кащея Бессмертного. Костлявый, неуступчивый, злой, грубый, во всех делах кроме военных, глупый, без лести преданный, как Аракчеев но в то же время великолепный хладнокровный генерал, много научившийся у своих великих противников во время наполеоновской эпопеи, Радецкий держал в ежевых рукавицах все светские австрийские власти, а тем более общественные круги Ломбардии и Венеции. Заметив, как кипит у него под ногами, он стал требовать присылки дополнительных войск, но вместо подкрепления с горестью услыхал о революции в Вене. Движение венских рабочих и студентов, в то время еще поддерживаемое либеральной интеллигенцией и передовой буржуазией, заставило императора издать эдикт, который был расклеен в Милане и в Венеции, так же как и в других городах империи.

Еще до венской революции Радецкий столкнулся с миланским населением настолько круто, что ему ясно было, какие результаты произведет эдикт. Дело в том, что в 48 году миланские либералы призвали население бойкотировать австрийскую табачную монополию и отказаться от курения. Австрийские и кроатские офицеры вышли на улицу с громадными трубками и вонючими сигарами и начали пускать дым в нос миланским кавалерам и дамам. Последовали драки кулаками, тростями. Тогда Радецкий приказал стрелять и в результате 20 человек было убито, а 60 ранено. Это заставило вспыхнуть весь город. В ответ на протест рабочих, граждан и даже архиепископа Радецкий издал приказ: „Солдаты, я горжусь вашим поведением. Преступные усилия фанатизма сокрушатся о ваше мужество, как стекло о камень. Я 65 лет ношу шпагу и еще крепко держу ее в моей старой руке. Император полагается на вас. Седой главно-

командующий надеется на вас". И вместе с тем он усилил военные суды.

Естественно, что появление эдикта на стенах города, отнюдь не успокоившегося после этих событий, привело к столкновениям, предвидя которые Радецкий и требовал подкрепления.

На голубых афишках с текстом императорского эдикта ночью были наклеены красные ленты с надписью: „Слишком поздно".

На следующее утро огромная толпа захватила городского голову Казатти, который дрожал всеми членами от перепуга, и с ним „во главе", т. е. толкая его впереди себя, отправилась в дом губернатора. Она ворвалась в этот дом и заставила губернатора Одонелли с пистолетом у виска подписать декрет о распущении полиции и организации гражданской милиции.

Трепещущий Казатти стал после этого просить толпу позволить ему вступить в переговоры с Радецким и Карлом Альбертом, но молодежь об этом и слушать не хотела. Они прежде всего требовали, чтобы австрийцы убрались вон из Милана. Радецкий вывел своих солдат и стал с музыкой ходить по городу. В солдат стали бросать камнями, обливать их кипящей водой. В одном месте батальон отступил под градом бутылок. С разных сторон возникали баррикады. Ночью эти баррикады выросли как грибы сотнями, и едва взошло солнце 19 марта, как начался достославный в летописи революции бой.

У Радецкого были превосходно дисциплинированные, преданные солдаты, но они натолкнулись на совершенно львиное мужество студентов и ремесленников. Был случай, когда на одной баррикаде два молодых человека продержались целый день. Женщины и дети сражались тоже. И в то время как австрийцы совершали неописуемые жестокости, миланцы держали себя рыцарски вплоть до охраны семейств австрийских чиновников и т. п. Радецкий приказал убивать пленных, и все же 20 числа он очистил собор, с колокольни которого он обстреливал город, и предложил взволнованной толпе перемирие.

Воспрянувший народный лев отвечал ревом: „Никакого перемирия, вон из Милана!" Пожимая плечами, Радецкий произнес свою историческую фразу: „Я не узнаю моих итальянцев". К вечеру этого дня Радецкий решил вывести свою армию из Милана. Так, лишенная вождя и плохо вооруженная толпа выгнала 13.000 ветеранов с замечательным полководцем во главе.

Вся страна ликовала.

Услышав о событиях в Милане, Манин немедленно поднял восстание. В Венеции стояло 7.000 австрийцев и она окружена была военными кораблями, которые могли разрушить большую часть го-

рода. В этом смысле положение казалось почти безнадежным. Тем не менее Манин приказал поднять трехцветное знамя и ударить в набат в соборе Святого Марка. Его спрашивали, с кем пойдет он на революцию, что может сделать легкомысленная, развращенная и праздная венецианская чернь? Он отвечал: „Вы не понимаете их, мое единственное достоинство в том, что я понимаю их и что они понимают меня".

Манин не ошибался. В течение всего времени венецианской республики эта толпа гондольеров, торговок, ремесленников и матросов проявляла чудеса героизма.

Манин, еще окруженный австрийцами, провозглашает республику, и это волшебное для венецианцев слово, напоминающее им всю пышную славу их отцов, приветствуется всеми.

Во главе небольшой группы лиц Манин лично отправляется в арсенал, где был самый богатый склад оружия во всей Италии и который рассматривался как центральный укрепленный пункт австрийцев. Комендант и офицеры были настолько ошеломлены смелостью и мужеством Манина, что не осмелились сопротивляться. Правда, среди солдат и персонала было много венецианцев и далматинцев. Как бы то ни было, арсенал был взят, австрийцы окончательно пали духом и без боя вышли из Венеции. Фактическим диктатором новорожденной республики сделался Манин.

Провинциальные города Ломбардии и Венеции, герцогства Пармское и Пьяченца немедленно примкнули к движению. Из Болоньи— еще без разрешения папы—двинулись волонтеры. Через день двинулась колонна волонтеров из Рима. Еще через несколько дней бывший карбонарий, генерал Пэпэ, повел 12.000 неаполитанцев против австрийцев. Теперь все взоры устремились на Пьемонт, ибо Пьемонт был единственной силой, которая была способна противопоставить австрийской регулярной армии серьезные регулярные войска.

Хотя честолюбие толкало Карла Альберта на войну, неизбежность которой казалась всем ясной, тем не менее он тянул и мямлил. Надо сказать, что после своего героического подъема миланцы, выбравшие довольно неудачное временное правительство, также не делали ничего для того, чтобы использовать свою победу.

Больтон Кинг прав, когда говорит: „Будь у пьемонтцев талантливый полководец, он двинулся бы с небольшой армией вниз по По и овладел Мантуей, затем взял Феррару, и тогда Радецкий, отброшенный к Вероне и отрезанный волонтерами от Тироля, был бы окружен и принужден сдаться".

Так, конечно, сделал бы какой-нибудь Наполеон, может быть так сделал бы даже Гарибальди, если бы он к этому времени имел

достаточно власти, но, конечно, на это были неспособны абсолютно тупые генералы Карла Альберта; при этом он, считавший себя естественным главнокомандующим своей армии, еще во многом уступал им. Мало того, Карл Альберт, боявшийся волонтеров, в качестве республиканцев, сделал все от него зависящее, чтобы дискредитировать их и парализовать их натиск. Он приказал им отступить и войти в состав вновь формируемых ломбардских полков. Вообще, Ломбардия, не просто объединив свои силы с Пьемонтом, а признав (правда, она была вынуждена к этому) верховенство Карла Альберта, тем самым уже нанесла непоправимый удар всему своему делу.

Открывая фактически военные действия под давлением общественного мнения, Карл Альберт всячески подличал. Он еще накануне войны послал заявление австрийскому императору „об укреплении дружеских связей, соединявших оба государства, которые король льстит себе надеждой сделать еще более тесными".

Поверенный французской республики Биксио прямо говорил в своем рапорте правительству, что „король полагает, что сделает услугу монархической власти, решившись вмешаться в движение, чтобы потом подавить его". Подобное же заявление дипломаты Пьемонта официально сообщили английскому правительству. На предложение Франции приготовить известную помощь для Италии в случае тяжелого положения гордо отвечали: Italia fara da se.

Пьемонтская армия была хорошо вооружена и состояла из отличных солдат, имела храбрых офицеров, но, как я уже выше сказал, генералы ее были тупы, а интенданты воры.

Первое серьезное сражение между пьемонтцами и австрийцами произошло 6-го мая при деревне Санта Луччия. Итальянцам удалось одержать победу, но Карл Альберт самым бездарным образом не сумел использовать ее. Явная неспособность генералов и начавшаяся уже голодовка солдат в силу подлости интендантов даже после этой, в общем, блестящей победы, создали скорее упадок настроения, чем его подъем.

Рядом с этим шли бесконечные интриги. Интрига Англии, которая старалась во что бы то ни стало не допустить вмешательства Франции; некоторая интрига и Франции, которая тайно мечтала о возможности вознаградить себя присоединением Ниццы; интрига между отдельными итальянскими правительствами, которые ненавидели друг друга; наконец, интрига правительств против республиканцев, против всех волонтеров вообще.

Папа Пий очень не желал воевать. Только грозная народная волна принудила его благословить знамена волонтерской армии, во главе которой стал генерал Дурандо. Но и тут с самого начала уже

Пий IX воспретил ему переходить границу до того, как положение выяснится. Министры приказывали Дурандо лететь на помощь Ломбардии, а папа удерживал его от этого. 29 го апреля этот конфликт между папой и его правительством выразился эпилептической речью, явившейся явным отказом папы от поддержки национальной войны. Последствия были роковые. Не только папа порвал после того последнюю связь между собою и народом, не только его росказни о том, что он—прежде всего глава всех католиков и что де все народы ему одинаково близки,—сделали как бы официальной его измену общему делу, но он нанес и прямой удар этому делу, ибо, во-первых, волонтеры не знали, как понимать разницу между приказом Дурандо, в котором говорилось, что знамя Радецкого есть знамя сатаны, и заявлением папы, что все народы ему одинаково близки; во-вторых, они даже юридически не были уверены, что при взятии их в плен их не будут расстреливать, так как нельзя было с уверенностью сказать, можно ли считать армию римских волонтеров регулярной при том условии, что государь Рима заявил о своем нейтралитете в этой войне. Все это в значительной степени подорвало моральную силу двадцатитысячного отряда Дурандо, который в остальное время войны действовал в общем слабо и неудачно.

А между тем Пий IX продолжал ломаться. Он говорил о „неблагодарности“ своего народа и патетически восклицал: „Popule meus, quid feci tibi?!“ („Народ мой, что я сделал тебе?“). Но народ не хотел больше его слушать и оказался способным устроить столь серьезную, столь явно непочтительную демонстрацию, что Пий IX, несмотря на кваканье своих кардиналов, вынужден был призвать к власти либеральное министерство со светским главой—Мамиани. В смысле продолжения войны этот факт не имел большого значения, но он послужил переходом к дальнейшим крупным событиям в Риме.

Вслед за папой изменил общему делу неаполитанский король.

После самоосвобождения Ломбардии и Венеции и описанного нами выше переворота в Неаполе, вызванного главным образом сицилийской революцией, король вынужден был разрешить популярному генералу Пэпэ, бывшему карбонарию, собрать значительную армию, частью из волонтеров, частью из некоторых отрядов регулярных войск. Пэпэ выступил на помощь в венецианскую область. Но король уже тогда вместе со своими чиновниками делал все от него зависящее, чтобы саботировать войну. Пэпэ чрезвычайно страдал от этих интриг. Между тем интриги эти шли глубоко. Король—опытный реакционный демагог—подогревал ненависть лаццарони не только к имущим классам, но и к трудовому населению. Камарилья, офицеры, попы действовали во всю.

15-го мая должен был впервые собраться парламент. Король придумал такую формулу присяги, которая заранее лишала конституцию всякой силы. Парламент не соглашался. Народ волновался. Было построено несколько баррикад. Повидимому, Фердинанд сознательно провоцировал народный мятеж, будучи уверенным, что он подготовил для революции достаточную ловушку. Выждав момент, когда на площади против дворца собралась довольно большая толпа, король выставил против них наиболее верные части своих войск и, в особенности, своих наемных швейцарских телохранителей, при чем перевес на стороне короля был до того очевиден, что только безумцы при таких условиях могли решиться принять бой. Но раздраженные либералы и радикалы, неаполитанское пылкое студенчество, ремесленники и рабочие не желали отступать. Тогда из их рядов какой-то провокатор направил два выстрела против швейцарцев, и начался не столько бой, сколько избиение. Войска не давали пощады. Фердинанд, свесившись с перил своего балкона, науськивал их, как собак на зайцев. Священники с распятиями в руках, во главе больших банд вооруженных ножами и пистолетами лаццарони с характерным криком: „Смерть нации!“ бросились на отступавших и разбегавшихся революционеров. Видя, что в городе начинается грабеж, и всюду совершаются убийства, министры потребовали от короля остановить битву, на что король со свойственной ему наглой улыбкой отвечал: „Дело начато, надобно его кончить“. Министры обратились к дипломатическому корпусу, прося лорда Нэпира, английского посла, бывшего старшиной корпуса, вмешаться, но Нэпир умыл руки. Город загорелся с разных концов. Пьяные лаццарони с дикими криками бандами сновали по нему и, не разбирая либералов от мирных жителей каких угодно воззрений, просто грабили. Генерал Пэпэ посвящает этому гнусному событию в своих мемуарах такую страницу:

„Солдаты с бешенством невероятной жестокости злоупотребляли победой. Варварство перешло в зверство. В половине XIX столетия цветущий и цивилизованный итальянский город был свидетелем ужасов, достойных времен Нерона по своим чудовищным гнусностям; и Европа, имевшая здесь свои эскадры, смотрела на кровавое зрелище бесстрастно и холодно. Убийства, грабежи, расстрелы, зарезанные дети, старики, женщины. К стыду человечества ничто из всего этого не было пощажено. Несчастный Неаполь был предан на жертву всевозможным мукам. Чернь увенчала дело, предавшись вместе с солдатами хищничеству и насилованию женщин... Все солдаты национальной гвардии, взятые с оружием в руках, были расстреляны... В ночь на 15 мая прекраснейший город Италии представлял зрелище, которое страшно описывать: палаццо в огне, Толедская и соседние улицы завалены

изуродованными и окровавленными трупами; последние стоны умирающих, заглушаемые непристойными криками толпы. Везде дымящиеся следы опустошительного действия артиллерии, повсюду печаль и зверство. В каждом семействе беспокойство, горе; во всех сердцах страх и ужас".

Палата, как и надлежит всякой палате, „заседала" в это время, воображая, что она величаво напоминает Римский сенат своим спокойным протестом. Наконец, отряд солдат явился в зал заседания и разогнал штыками и прикладами болтунов. Фердинанд издал прокламацию, в которой писал: „Палата будет снова созвана. Ее твердость, мудрость и благоразумие помогут мне, ибо я нуждаюсь в мудрых советах в деле полезных реформ. Население призывается вернуться к обычным занятиям".

Кажется, не было города в Италии, где бы неаполитанская контрреволюция не отозвалась глубокой скорбью. Сжигали чучело короля, крича: „позор и презрение королю-убийце,—королю-изменнику!"

Другие короли, несколько менее подлые, чем Фердинанд, трепетали на своих престолах, слыша яростный рев раздраженного народного льва, и тем не менее никто ничего не мог поделать против контр-революции, и через несколько времени Сицилия,—правда, после необыкновенно геройской защиты, перемежавшейся целым рядом предательств и подлости со стороны средней буржуазии,—тоже вынуждена была, вся покрытая ранами, пасть к ногам этого изверга.

Войне Фердинанд немедленно нанес колоссальный удар. Он тотчас же послал гонцов вслед уходившей армии Пэпэ с приказом всем верноподданным вернуться. Сам Пэпэ не захотел повиноваться своему господину, он заявил, что пойдет дальше, но из его двадцатитысячной армии за ним согласились последовать только две тысячи. Правда, в их числе было несколько хороших офицеров, которые вместе со своим честным главнокомандующим сумели оказать немалую поддержку Манину в последние дни геройской борьбы Венеции за свою независимость. Но, увы, вместо армии, которая предрешила бы безусловно свободу Венеции, до нее докатилась лишь кучка остатков.

И все же шансы революции, несмотря на контр-революцию в Неаполе, были еще велики. Почти во всех остальных городах крепли именно республиканцы. К ним приливала симпатия населения, да и в Европе положение не было еще безнадежно. Венские студенты выгнали императора, Венгрия и Богемия отложились, во Франкфурте заседало еще национальное собрание. Карл Альберт имел в своих руках пока непобежденную и более сильную, чем у Радецкого, армию. Победа была еще столь возможна, что Карл Альберт считал ее даже несомненной.

Пальмерстон, вмешавшийся в это время, уговаривал Австрию пойти на уступки. Он требовал от австрийцев отказа от Ломбардии и Венеции, и само австрийское правительство было настолько испугано, что согласилось вступить в переговоры с Пьемонтом при посредстве Англии и предложило Ломбардию освободить совсем, а Венецию превратить в вассальное эрцгерцогство с либеральной конституцией и собственной армией.

Но Карл Альберт, несмотря на то, что некоторые из министров энергично советовали ему согласиться в то время, несмотря на измену папы и Фердинанда и, может быть, даже отчасти учитывая, что измена их делает его окончательно единственным претендентом на корону объединенной Италии, отвечал горделивым отказом: „Австрийцы должны очистить всю Италию, или война продолжается".

Война продолжалась, но она продолжалась самым глупым образом. В то время, как в этой фазе войны самым важным являлось парализовать успех австрийцев в венецианской области, бо́льшую половину которой они постепенно заняли вновь, ко.оль, недовольный тем, что правительство Манина не согласилось еще прямо провозгласить его па·роном Венеции, оставляя в Венеции республиканскую форму правления, не оказывал Венеции ровно никакой помощи и тем самым со свойственной ему близорукостью и тупостью пилил сук, на котором сидел.

В высшей степени странно, что Больтон Кинг объясняет это военными соображениями генералов, правда, неразумными и не видит в этом изм ны. Нет, это была самая настоящая и притом самая сознательная измена. Только король, в то время, в результате битвы при Санта Луччия, возомнивший себя великим полководцем, воображал, что, принудив австрийским оружием венецианцев укрыться под его порфирой, он успеет еще после этого выгнать австрийцев из венецианской области.

Вскоре ему пришлось раскаяться в этой своей иллюзии. Правда, итальянской армии суждено было одержать еще одну победу—при Минчио. Австрийцы были довольно сильно разбиты. Войска уже приветствовали Карла Альберта, как короля Италии, и нет никакого сомнения, что в этот момент положение Радецкого было совсем критическим. Надо было итти вперед, продолжать наступление, но Карл Альберт отправился служить молебен в Пескьеру.

В то время как Радецкий пришел уже в отчаяние, получив известие о новом восстании в Вене, и ожидал ежеминутно, что его отзовут защищать самый трон, злополучные пьемонтские генералы топтались на месте, прозевали Винченцу, а интенданты продолжали морить голодом победоносных солдат.

В Турине понимали, что эта медлительность и страшное расстройство хозяйства в войске могут быть роковыми. Может быть, потому создано было правительство с Джоберти во главе, как признанным вождем либералов, в которое вошел в качестве представителя Милана и миланский городской голова Казатти. В то же время Гарибальди предложил свои услуги Карлу Альберту. Услуги его были отвергнуты. А те генералы, которыми располагал Карл Альберт, словно заснули, истощая терпение солдат.

Но хитрый старичина Радецкий не дремал. Несмотря на то, что войска его были потрепаны в высшей степени, что в тылу у него была австрийская революция, он все же сам решил перейти в наступление, которое совершил во главе сорокатысячной армии во время страшной бури в ночь на 23-е июня.

Нельзя сказать, чтобы последовавшая 25-го числа битва при Кустоцце была совсем бесславна для итальянцев. Нет, сражались героически. Голодные пьемонтские солдатики, поставленные в дурацкое положение своими генералами, дрались со стойкостью изумительной, с отвагой, которая была выше всякой похвалы. Нельзя не отметить также несколько блестящих кавалерийских атак, произведенных герцогами; но общие диспозиции были так глупы, враждебность крестьянского населения настолько очевидна, голод среди армии столь мучителен, что никакое личное мужество не могло спасти положения, и Радецкий одержал при Кустоцце решительную победу.

Это было крушением всех надежд, и тем не менее в эти страшные для него дни король прежде всего постарался ввести себя в качестве законного государя в конституцию Ломбардии и Венецианской области.

Открылась новая эра итальянской революции. Теперь все короли были одинаково разоблачены, как изменники или ничтожества. Скорбный Милан, как мы увидим сейчас, показал, как он относится к „мечу Италии", „пьемонтскому рыцарю-монаху". Венецианцы, предоставленные себе самим, Рим, изгнавший папу, Флоренция, покинутая своим герцогом, поздно, но решительно вступили на путь народного государственного творчества и народной воли. Но тут можно говорить о народе, лишь памятуя, что дело шло главным образом о прогрессивной половине населения городов.

Надвигалась ночь контрреволюции, но тем ярче горели алым пламенем лучи революционной зари. Эта картина борьбы более или менее осознавшей себя, наконец, демократии и контрреволюции, которая смогла победить демократию только мечом австрийцев и мечом французов, наконец, вмешавшихся в итальянские дела, но против Италии, и будет предметом изложения последней главы этой статьи.

ГЛАВА IV.

Демократия и контр-революция.

Несмотря на то, что ломбардское временное правительство давно уже признало Карла Альберта своим покровителем и господином, все же оно продолжало исполнять свои функции.

Когда королевские войска были разбиты при Кустоцце, то наиболее решительные радикалы Милана считали своевременным игнорировать в дальнейшем ставшую совершенно бесполезной зависимость от Пьемонта, и предложили взять судьбу Ломбардии в руки миланских общественных сил.

Временное правительство склонялось к этому предложению. Выбрана была комиссия обороны со смелым и способным генералом Фанти во главе. Первой мерой, принятой при этом триумвирате Фанти, Растелли и Маести, отличавшемся сравнительной быстротой решимости и удачностью замыслов, было снаряжение колонн волонтеров. Рассчитывать решено было главным образом на восстание населения в тылу австрийцев, и туда посланы были способные эмиссары. Гарибальди во главе небольшой четырехтысячной армии отправился к Бергамо, опять таки в тыл австрийцев. Лучшие революционные силы Милана—Каттанео и Чернуский—сами занялись агитацией в провинции. Однако эти меры были не совсем правильно рассчитаны в том смысле, что всей глубины развала пьемонтской армии генерал Фанти не учел. Он был уверен, что отрыва между Миланом и силами гарибальдийских инсургентов не произойдет, так как пьемонтские войска хоть некоторое время удержатся на берегах Адды. Но стремительный отход пьемонтцев продолжался, что нанесло планам Фанти большой удар.

Тогда комиссия призвала к оружию всех граждан от 18 до 40 лет и решила вести оборону Милана самыми отчаянными революционными средствами. Вот для примера мужественной решимости миланских радикалов, которую саботировал потом подлец Карл Альберт, выдержка из одной прокламации:

„Было единогласно решено военным советом, что Милан будет отчаянно сопротивляться. Воодушевимся энергией и пылкостью наших бессмертных пяти дней. Воздвигнем новые баррикады. Разорвем мосты, перережем шоссе, улицы. Отделим себя пустыней и разрушением от неприятеля. Покажем, что мы умеем бороться с несчастием, и что если нас подавят более могущественные силы, то мы будем достойны помощи и сочувствия всей Европы“.

Милан почувствовал себя действительно на той высоте, на которую он поднялся в знаменитые пять дней, как вдруг в город является один из подручных Карла Альберта генерал-лейтенант Оливьер с двумя комиссарами, доктором Тригелли и маркизом Монтезимео. Он устраняет временное правительство и комиссию обороны от дел и заявляет, что именно эти три лица будут отныне править в Милане и Ломбардии именем его величества.

Я не разделяю исторического пафоса, с которым Гарнье Пажес рисует при этом состояние вождей миланской революции: „Они покорились своей судьбе. Со сложенными руками и смертью в груди они должны были присутствовать при раздирающем сердце зрелище агонии своего отечества“.

Конечно, если бы эти радикалы были на несколько градусов поэнергичнее, они выгнали бы в шею трех лакеев короля и продолжали бы свое дело. Но, повидимому, средние слои населения не согласились бы поддержать их, все еще расчитывая, что пьемонтский король со своими связями в Европе, с помощью французов, которая стала теперь как нельзя более своевременной, сможет быть сильным патроном.

Пьемонтские чиновники втолковывали населению, что армия сильна и что она идет на выручку Милана. Но надежды на эту силу рассеялись на другой же день. 4-го августа Радецкий во главе тридцатипятитысячной армии был уже в виду Милана, и австрийская армия сумела уже привести себя в полный порядок, между тем как солдаты Карла Альберта по обыкновению были голодны и отвратительно распределены. В этот же день к 3-м часам пьемонтская армия была разбита и бежала в Милан.

С утра этого дня народные массы требовали постройки баррикад, крича, что надо ударить в набат и созвать всех на защиту родины. Генерал Фанти со слезами на глазах уговаривал генерала Оливьера принять эти меры, но Оливьер ответил, что баррикады будут мешать действию пьемонтской артиллерии. Только тогда, когда пьемонтская армия в виде толпы беглецов бросилась в город, Оливьер сознался, что „ошибся“, и дал миланцам свободу действия.

Между тем Карл Альберт, самолично явившийся в город, созвал военный совет.

В то самое время, когда миланцы взламывали мостовые и стаскивали все, что можно, чтобы соорудить баррикады, раздавали оружие и готовились умереть раньше, чем сдаться,—генералы Карла Альберта единодушно и равнодушно постановили, что город защищать нельзя.

Ночью—тайно от миланцев—два генерала были посланы к Радецкому и подписали капитуляцию.

Наступил день 5-го августа. Баррикады были закончены и миланцы готовились биться до последней капли крови. Вдруг разнесся слух, что король предал Милан, и что пьемонтцы капитулировали.

Со всех сторон раздались проклятия и крики гнева. Некоторые разбивали свое оружие о камни, рвали на себе платье. Большая взбешенная толпа собирается вокруг дворца, откуда в то время выезжает коляска Карла Альберта. Народ отпрягает лошадей и вдребезги разбивает экипаж. Он требует короля к себе. Бледный от страха, злополучный король появляется перед народом. Он говорит разные печальные слова: „ему де жаль жизни миланцев, он боится, что город будет сожжен, он исполняет свой долг". Но народ кричит: „Смерть или свобода!", и „король колебаний", изменяя себе и своим генералам, заявляет: „Вы хотите сопротивляться? Хорошо, я останусь с вами и буду погребен под развалинами вашего города".

Между тем, как только толпа разбегается с известием, что сопротивление будет продолжаться, архиепископ и несколько именитых граждан отправляются уговаривать короля быть верным прежнему решению. И вот борцы баррикад опять узнают через час или два, что капитуляция—несмотря на помпезные обещания Карла Альберта—все же подписана! Многие пьемонтские офицеры и солдаты рыдали от стыда, срывали с себя эполеты и заявляли, что умрут вместе с миланцами. Толпа опять бросилась к дворцу и окружила его кольцом баррикад. Раздавались крики: „Смерть королю изменнику!" Но наступила ночь. Часовые начинают стрелять в граждан Милана. Революционеры отвечают выстрелами в окна дворца. Через задние ворота с двумя своими сыновьями Карл Альберт трусливо бежит из города, под развалинами которого обещал быть погребенным. Вслед ему несутся проклятия и пули.

Таким образом эта подлая фигура приказала окончательно овладеть Миланом своим чиновникам за два дня до того, как бесстыдно отдала его австрийцам!

Множество миланцев не пожелало отдаться австрийцам и вместе с голодной отступающей армией пьемонтцев шла громадная, мрачная отступающая толпа миланцев с женами и детьми.

В то же самое время и отрезанный Гарибальди—после нескольких чудесных ударов австрийцам—вынужден был отступить в Швейцарию и разоружиться.

Что же Франция?

Теперь ведь Карлу Альберту было самому ясно, какою глупостью была чванная фраза „Italia farà da se"? Теперь уже не оставалось сомнения, что прав был только один Манин, который с самого начала

настаивал на призвании французских войск для объединенной защиты демократии против королей.

Но к этому времени уже совершились июньские события.

Главой правительства стал генерал Кавеньяк, а министром иностранных дел—тупой Бастид, при чем оба они хотели сохранить этикетку республиканцев, но на самом деле были заведомо людьми реакции.

Кавеньяк теперь наотрез отказался вмешаться, хотя по распоряжениям прежнего правительства значительные французские силы, до 200.000 человек, стояли близко к итальянским границам. Их вмешательство, как бы ни ворчала против этого Англия, сразу перевернуло бы все события и сделало бы положение Радецкого совершенно отчаянным.

С холодной гримасой Кавеньяк заявил обратившимся теперь к нему с мольбами итальянским дипломатам и патриотам: „Италия должна нести наказание за свое сумасбродство".

Худо обстояло дело и с посредничеством Англии. Читатель помнит, что во время трудного для Австрии положения Англия настаивала на передаче Пьемонту Ломбардии и Венецианской провинции. Австрия соглашалась уступить Ломбардию и либерально реформировать Венецианскую область, а Карл Альберт требовал согласия Австрии на все условия, предлагавшиеся Англией.

Теперь Карл Альберт обратился к Пальмерстону с мольбой побудить Австрию быть верной своим прежним обещаниям, т.-е. вывести войска из Ломбардии и дать некоторое облегчение Венеции. Он предлагал также перемирие. Радецкий отверг все эти условия. Он понимал, что дело итальянцев проиграно и что Австрия оставит за собой все свои владения. Действительно, вскоре после этого в битве при Новаре военные силы Пьемонта были почти окончательно уничтожены, и победа австрийцев в Северной Италии оказалась полной.

Но за несколько дней до сдачи Милана Карл Альберт еще сделался и королем Венеции. Туда тоже посланы были его комиссары. Они обратились к Манину с требованием, чтобы венецианское правительство провозгласило Карла Альберта королем. Вождь венецианских умеренных либералов Кастелли просит Манина не ставить препятствий к полному объединению с Пьемонтом, так как только это дает хоть какую-либо надежду.

На собрании депутатов Манин сделал отчет о состоянии венецианской республики. Он указал на то, что необходимо требовать вмешательства Франции, но находил, что положение не безнадежно.

Вождь либералов Кастелли говорил после него и прежде всего ссылался на пустоту казны. Свою речь он кончил такими словами: „Или гибель или принятие денег и солдат Карла Альберта!“.

С резкой речью выступил поэт Томмазео, который доказывал, что если Карл Альберт ничего до сих пор не сделал для Венеции, то потому что он не мог, а если так, то зачем ему корона венецианская? Если же это не так, если Карл Альберт ставит ценою своей помощи признание его королем, то в таком случае это низкий человек, на которого не следует расчитывать.

Наконец, Манин, чувствуя общую растерянность, произносит полную волнения и печали речь. Он указывает на то, что несомненно в самой Венеции происходят раздоры, что силы распадаются, что в случае поражения республики конституционисты-либералы, которые не хотят помогать ей как следует, возложат на республиканцев всю ответственность. Он призывает всех к единству и соглашается на признание Карла Альберта, кончая однако свою речь такими словами: „Республиканцы, я говорю вам, будущее принадлежит нам! Вся нынешняя путаница—временна. Только всеитальянский сейм решит, как управлять Италией“.

Тогда Кастелли бросается на грудь Манина: „Отечество спасено! Это дело Манина!“ Сто двадцатью голосами из ста двадцати девяти республика объявлена провинцией пьемонтского королевства и министром выбран Кастелли.

Но вскоре начинают распространяться зловещие слухи о Кустоцце. Тот же Кастелли вновь бежит к Манину и передает ему о том, что пьемонтская армия безнадежно разбита и что только Манин может как-нибудь спасти положение. И Манин, живший в течение этого короткого срока как частное лицо, решается опять вернуться к кормилу правления в это безнадежно скомпрометированное либералами время. Даже Гарнье Пажес замечает по этому поводу: „Странная судьба этих людей, которые появляются в трудное время с тем, чтобы служить народу преданно и самоотверженно, и отстраняются, как только наступают спокойствие и радость“.

Отчаяние венецианцев было крайнее и, конечно, сказалось ненавистью к Карлу Альберту и пьемонтцам. Генерал Колли, представитель Карла Альберта, не хотел однако уступать возмущенной народной массе. Кастелли театрально заявил, что может передать Венецию только самому народу. Но народ так зарычал на Кастелли, вышедшего говорить с ним на балкон, что тот поскорей ретировался. Тогда к народу обратился Манин. Он сказал, что будет созвано народное представительство для решения вопроса о судьбе Венеции в течение 48 часов, во время которых он будет править, как диктатор.

Народ—после бурных аплодисментов—спокойно разошелся, полный доверия к своему вождю.

13 августа венецианское правительство опять объявило Венецию республикой и Манина диктатором, и с этого дня началась печальная и славная эпопея агонии города, прославившегося своим легкомыслием за предшествовавшие этим дням столетия, и вдруг поднявшегося до высоты самого подлинного героизма.

В то время как дело на севере Италии было проиграно, благодаря ошибкам и преступлениям пьемонтского правительства, средняя Италия пережила бурный подъем демократии, ибо короли теперь были достаточно развенчаны. Юг показал во всем блеске монархию в лице главы убийц и хулиганов—Фердинанда, а север в лице колеблющегося изменника себе и другим—Карла Альберта. Такие фигуры, как великий герцог тосканский Леопольд и Пий IX, не могли, конечно, больше импонировать народу. Рост революционного сознания демократии сказался прежде всего во Флоренции. 30 июля начались серьезные беспорядки с республиканским уклоном. Правительство Леопольда объявляет осадное положение. Революционеры, несколько напуганные этим, как будто затихают. Но в портовом городе Ливорно матросы, грузчики и ремесленники продолжают восстание.

Популярнейший радикал Флоренции, знаменитый писатель и красноречивый адвокат Гверацци посажен в тюрьму. Флорентийцы, узнав о событиях в Ливорно и об аресте Гверацци, захватывают оружейные магазины и освобождают Гверацци. Войска, двинутые министром Каппони против толпы, братаются с ней. Это произошло 23 августа. Герцог Леопольд просит Гверацци содействовать ему в прекращении мятежа, к которому как будто примешались санкюлоты, и который, по его словам, грозит перейти в грабеж. Гверацци берет на себя временное управление и своим красноречием, а также и решительными мероприятиями приводит в порядок Флоренцию и Ливорно.

Леопольд, ненавидевший Гверацци, приглашает другого радикала, гораздо менее яркого, Монтанелли, создать левое конституционное правительство. Но Монтанелли не верит себе и говорит, что единственный популярный человек, единственный человек с государственными способностями—это Гверацци, и заявляет, что без Гверацци управлять не будет.

Рядом с мягким Монтанелли его сотоварищ Гверацци, конечно, сделался сейчас же господином положения. Это была очень оригинальная фигура. Вольтерианец по своему воспитанию, человек, выбившийся из самых народных низов, исключительно благодаря таланту, беспрестанно сидевший в тюрьме за свои эпиграммы и смелые речи, автор

романов, расходившихся по всей Италии,—он был вместе с тем человеком до крайности нервным, порою как бы невменяемым, склонным к припадкам ярости и упрямства. Ему принадлежит несколько изречений, характеризующих его довольно ярко: „Месть за великие преступления наполняет радостью сердце бога“, или: „Не важно, благословляет ли нас небо или проклинает. Важно, чтобы оно заставило нас жить энергично“. Это был честолюбивый и восторженный человек.

Но вместе с тем Гверацци, очень боявшийся (может быть, и справедливо) флорентийских и ливорнских собратьев неаполитанских лаццарони, вынужден был занять среднюю колеблющуюся линию. Не решаясь провозгласить республику и одинаково ненавидимый через несколько дней после достижения власти правыми, для которых он был слишком лев, и левыми, для которых он был слишком прав, он, несомненно, в сильной мере обескровил свою власть.

Между тем у Гверацци был не плохой план: воспользовавшись затруднениями папского правительства, о которых мы еще будем говорить, предложить Пьемонту, Неаполю и Тоскане поделить папские владения и на этом добиться соглашения всей Италии и противопоставить ее под руководством триумвирата—Мадзини, Манина и Гверацци,—триумвирата несомненно блестящего—европейской реакции. Мадзини в общем был не против этой комбинации. Вероятно, на нее охотно согласился бы и Манин, но события не дали времени для осуществления этого не лишенного остроумия плана.

Во-первых, в самой Флоренции, как я уже говорил, почва ускользала из-под ног Гверацци. Крайние демократы были им недовольны. а он отвечал на это недовольство неуместными мерами строгости. Герцог, слабохарактерный и изменчивый, страшно жалел о дарованной им широкой конституции. Под каким-то предлогом он ускользнул из Флоренции и поселился в Сиенне. Там он получил письмо от папы. уже переселившегося на дачу к Фердинанду Бурбонскому в Гаетту и приглашавшего его туда же, и письмо от Радецкого, обещавшего помощь.

Тогда Леопольд бежал в маленький порт Сан-Стефано. Флорентийский народ, в крови которого жила старая республика, собрал сходку возле Лоджиа Орканьи и низложил Леопольда. Был избран триумвират: Гверацци, Монтанелли и Маццони.

Между тем Леопольд не был лишен сторонников. Консервативное крестьянство, крайне недовольное новыми налогами, восстало и пробовало даже ворваться во Флоренцию. Очень недовольны были и многие слои еще темных рабочих. Гверацци удалось избегнуть гражданской войны.

Мадзини приехал в Тоскану и деятельно помогал Гверацци. Он

требовал от Гверацци прямого провозглашения Тосканы республикой. Гверацци колебался и ругался с Мадзини, но в конце концов уступил. При помощи Мадзини Гверацци все-таки удалось частью силой, а частью уговорами, разбить всю монархическую оппозицию и ненадолго сделать из Тосканы республику.

К сожалению, Гверацци не доставало прямоты. Считая себя единственно умным человеком не только в Тоскане, но и в Италии, он мудрствовал и хитрил. Между тем, пользуясь слабостью правительства и приводя в ужас буржуазию, санкюлоты во Флоренции и Ливорно приобретали все большую свободу и нервировали этим Гверацци. Левые требовали соединения с Римом и выработки окончательной конституции в римском сейме. Гверацци, употребляя в ход лукавство, добился того, чтобы решение вопроса поставлено было в зависимость от тосканской палаты. Трудно сказать, было ли это ошибкой Гверацци или сознательной изменой республике, в которой он по отношению к римскому правительству, возглавляемому Мадзини, должен был попасть на второй план. Как бы то ни было, но этим решением судьба Тосканы в значительной степени была поставлена в зависимость от реакционных крестьян.

Тосканское учредительное собрание собралось только после окончательного поражения Пьемонта при Новаре. Гверацци на нем высказался против республики, но остался диктатором. Он уговорил учредительное собрание отложить слияние с Римом, словом, продолжал какую-то неясную дипломатию, в то же время теряя почву под ногами.

Между тем умеренные либералы интриговали среди крестьян и вели среди них деятельную пропаганду. 11-го апреля, придравшись к якобы насильственным действиям ливорнских отрядов, которые Гверацци ввел во Флоренцию, как надежную силу, они подняли мятеж. Заранее собравшаяся вокруг Флоренции толпа крестьян ворвалась туда. Муниципальный совет с либералом Рикасоли во главе провозгласил себя временным правительством, и Гверацци, который несомненно еще мог бы сопротивляться, вдруг потеряв присутствие духа, сдался либералам.

Так довольно бесславно кончилась демократическая республика во Флоренции. Такой конец объяснялся частью реакционностью крестьян и крайней темнотою и подвижностью низших слоев флорентийской демократии, но в значительной степени также и шаткостью Гверацци.

Конечно, никакие личные качества не могли уже спасти республику средней Италии. Но в то время как Гверацци привел Флоренцию к концу темному и бесславному, такие люди как Манин, Гари-

бальди и Мадзини по крайней мере создали для Рима и Венеции финал, полный блеска и способствовавший созданию великой революционной традиции.

—

После измены папы итальянскому делу народные волнения заставили его тем не менее призвать к власти умеренных либералов с Мамиани во главе. Папа терпеть не мог Мамиани, кардиналы же его буквально ненавидели. Понятно, что при таких условиях власть Мамиани оказалась совершенно призрачной. Его саботировали со всех сторон. Он принадлежал к числу либералов, являвшихся сторонниками социальных реформ в пользу народных масс. Он наметил несколько таких реформ, сделавших его популярным среди крестьянства Романьи.

Но когда Карл Альберт был разбит при Кустоцце, ничто не могло спасти Мамиани и ему пришлось выйти в отставку.

Однако Пий IX не осмелился сразу порвать с либералами. Он передал власть бывшему послу во Франции, очень неглупому человеку— Росси. Росси был единомышленником Мамиани в отношении реформ и, хотя он презрительно относился к республиканцам, „к черни", тем не менее этот экономист старой школы, материалист в философии, стал осуществлять программу Мамиани, отчасти даже расширяя ее и этим самым создавая себе лютых врагов в коллегии кардиналов.

С другой стороны Росси, сменивший популярного в народе Мамиани, все же подвергался серьезным нападениям слева. Республиканский заговор рос. Затибрский квартал, считавшийся самым суеверным, но и самым демократическим, населенный рабочими и ремесленниками, сделался центром республиканского движения. Конечно, оно еще больше захватило всегда революционную Болонью.

15 ноября Росси вынужден был, наконец, несмотря на сопротивление папы и собственное нежелание, созвать палату. К этому времени были захвачены письма к нему одного генерала, который советовал расстрелять картечью красные рубашки, т.-е. гарибальдийцев, и переарестовать романьольских патриотов. Росси поехал в палату среди криков и угроз толпы. В то время как он поднимался по лестнице, неизвестный поразил его кинжалом.

Никто не жалел особенно о гибели этого человека, несомненно честного, умного, мужественного, но попавшего между двух стульев. Республиканцы решили использовать события. Громадные толпы солдат и граждан, которые возглавлялись несколькими представителями крупной буржуазии и аристократии, произвели 18 ноября демонстрацию перед окнами папы. Пий заявил, что не желает входить в переговоры с „бунтовщиками" и предпочитает „мученический венец".

Швейцарцы начали стрелять в толпу и, может быть, Пий мечтал пережить картину успеха своего дорогого сына Фердинанда, но и на этот раз дело не вытанцовалось. Римляне ответили швейцарцам стремительной атакой. Папский двор охватил смертельный ужас. Мученический венец в последний момент не улыбался Пию и, с кротким вздохом заявив, что уступает насилию, он поручил создать министерство вождю римских радикалов Стербини.

Это решение папы толпа приветствовала громкими криками радости. Но. конечно, папа сдался только внешне. 24 ноября в каком-то комическом маскарадном костюме папа выбрался из своей столицы и помчался к гостеприимному Фердинанду Бурбонскому. Там к нему приставлен был самый подлый и хитрый из кардиналов—Антонелли. Папа Пий знал, что Антонелли подлец, развратник и вор, но тем не менее быстро подпал под его влияние. Он предал проклятию римское временное правительство и, поручив Антонелли свои светские дела, заявил, что хочет отдаться размышлению о духовных предметах. Кроме того, за каждым обедом он объяснял всем окружающим, что является самым несомненным христианским мучеником и при этом не из последних.

Вот это-то комическое мученичество и это опереточное изгнание и привлекали к Пию истинно католические сердца Европы!

Папа писал письма своему дорогому сыну, императору австрийскому, который обещал ему помощь; но такую же помощь обещал ему и республиканец Кавеньяк! Франция еще при Кавеньяке приготовилась вонзить нож в грудь молодой римской республики, но выполнил это уже Наполеон III, для которого это было не первым и не последним мерзким преступлением. Папа заигрывал со всеми. Правым глазом он подмигивал австрийцам, левым французам, а Джоберти, тогдашнему министру Карла Альберта, обещал короновать его патрона короной северной Италии.

Из Рима выехали почти все богатые люди, весь пышный двор. Народ как-то испугался этого. Примчавшийся в декабре в Рим Гарибальди был встречен холодно. Тем не менее Монтанелли, Гарибальди. Стербини и даже Мамиани деятельно вели антипапскую линию. Сначала во главе правительства стоял Мамиани, потом демократический священник Мудзерелли. Но в январе 49 года выяснилось уже, что Рим и римские провинции изверились в умеренных, что агитация радикалов возымела свое действие, и народ склонен к решительным мерам. 5-го февраля собралось римское учредительное собрание. Несмотря на то, что во время выборов лишь очень немногие выдвинули республиканскую программу, несмотря на то, что сами выборы были прокляты папой, палата пользовалась влиянием и в то же время 120

голосами против 22-х объявила папскую власть уничтоженной, а Рим провозгласила республикой.

С тех пор фактическим главой в Риме оказывается Мадзини.

Все эти события и настроения отражались, конечно, и в Пьемонте, и там умеренные теряли почву под ногами и Джоберти перестал быть популярным человеком. Особенно резко демократически настроен был опять-таки портовый город Генуя. В феврале Джоберти вынужден был уйти в отставку.

Между тем в соседней Ломбардии царил ничем не прикрытый австрийский террор.

Новое министерство генерала Кроде в Турине мечтало о продолжении войны. Даже Карл Альберт вдруг выпалил: „Лучше республиканский колпак, чем унижение перед Австрией". И вот весной война возобновилась. В тупости пьемонтских генералов Карл Альберт повидимому убедился и, под влиянием общественного мнения, согласился не командовать своими солдатами сам. Дело было поручено польскому генералу Кшановскому, оказавшемуся отменно плохим полководцем. Интенданты оказались верными себе. Пьемонтские солдаты, совершавшие все новые и новые подвиги, голодали жестоко. Кшановский делал глупости, которыми Радецкий талантливо пользовался Пьемонтския войска были уничтожены. Карл Альберт отрекся от престола и, переодетый, вышел за австрийскую линию. Он добровольно удалился в изгнание, где вскоре и умер.

Разгром неаполитанской республики Фердинандом далеко не был окончательным и к его удивлению палата, вновь собранная в середине июня, оказалась почти сплошь либеральной. В сентябре король решился нанести новый удар своей столице и напустить лаццарони квартала Санто-Луччия, в виде демонстрациии, на палату и город. Но ремесленники и рабочие квартала Монте Калварио на этот раз сплошною стеною бросились на лаццарони, которые, конечно, разбежались. Весьма возможно, что Фердинанду отлились бы слезы Неаполя и Сицилии, но к тому времени Австрия уже одолела северную Италию и это придало неаполитанской реакции духу.

В Гаетте, как нами уже было сказано, сидел папа, гостил Леопольд Тосканский и разные другие, лишившиеся головных уборов монархи. Фердинанд обещал в то самое время, как Австрия и Франция стали давить с севера, оказывать такое же давление с юга. После битвы при Новаре неаполитанские войска вошли в римскую республику, но на-голову были разбиты гарибальдийцами при Велетре. Это не спасло Неаполя. Король распустил палату и совершил окончательный черный переворот.

Труднее было покончить с Сицилией. Здесь даже Больтон Кинг, этот типичный либерал, говорит, что народное дело было погублено трусостью имущих классов. Мессина была подвергнута Фердинандом губительной бомбардировке, и ворвавшиеся королевские войска убивали население в церквах, разрубали на куски детей, резали стариков и больных в постелях. Все это говорит либеральный Больтон Кинг! Две трети города были разрушены, и все же Сицилия не сдавалась. Энергичный министр Кордова, несмотря на отказ герцога генуэзского от сицилийской короны, не хотел признавать Неаполя. Но он был низвергнут в феврале 49 года средней буржуазией, лавочниками, составлявшими национальную гвардию. Кинг говорит: „Этой победой национальной гвардии дело сицилийцев было осуждено на гибель" Народная толпа была лишена вождя, не только такого, каким был Манин или Гарибальди, но хоть какого-нибудь. Но тем не менее не только Палермо, но и Катанья и Джирдженти, вопреки воле своей буржуазии, готовились защищаться. 6-го апреля неаполитанский флот осадил Палермо. Имущие слои подписали капитуляцию. Низшие слои овладели городом. В течение двух дней с блистательным героизмом защищались они против подавляющих сил и только 11 мая народ сдался.

Крепче всего держался Рим. Без услуги французов папа не вернулся бы туда. Опять-таки умереннейший Больтон Кинг называет эти страницы французской дипломатии и военной славы „длинной историей обманов и наглости".

Орудием коварной и подлой политики Наполеона был маршал Удино. Он был направлен во главе значительных французских сил в Чивита-Веккию водворить порядок в римской республике. Мадзини предписал во что бы то ни стало сопротивляться высадке французов, которых так долго жаждали в качестве друзей и которых увидели наконец врагами. Но парламентер Удино давал честное слово начальнику гарнизона в Чивита-Веккио, что они приехали с дружескими намерениями. Дурачок поверил. Удино высадил войска и заговорил как хозяин. Он откровенно заявил, что его цель—восстановить власть папы. Удино хвастался, что его солдаты мигом справятся с итальянцами, не умеющими сражаться.

30 апреля, так сказать, посвистывая, с маршальской шапкой на бекрень, он начал наступать на Рим. Он атаковал его с двух сторон огромными силами по 10.000 солдат в каждом отряде. Тем не менее французские войска, потеряв 1000 человек убитыми, были отброшены с обоих концов. Маршал Ноздрев, как можно назвать Удино, сообщил, что „рекогносцировка выполнена блестяще"; но даже самые глупые французы видели, что это только бесстыдное хвастовство.

Лисица Наполеон не осмелился после этого удара действовать прямо. Он послал будущего героя Суэцкого канала Лессепса для переговоров. И Лессепс разговаривал с Мадзини в самом миролюбивом тоне, предлагая разные соглашения. Между тем австрийцы уже приближались к границе римской республики. Фактически французы помогали против Рима своему врагу—Австрии. В самой середине переговоров Лессепс получил приказ вернуться в Париж, а Удино приказ войти в Рим.

К этому времени Гарибальди, разбивший бурбонские войска при Велетре, вернулся в Рим. Он потребовал провозглашения себя диктатором. Он презирал парламент и даже Мадзини называл болтуном. Ему не удалось однако получить управление Римом в свои руки. Надо признать, впрочем, что все римское правительство было приблизительно на одной высоте с Гарибальди, т.-е. проявляло много мужества и много великодушия, хотя и совершало отдельные ошибки.

Удино начал приступ с подлого обмана. Он объявил перемирие до 4-го июня, но ночью на 3-е захватил два римских форпоста. Кардиналы умоляли Удино бомбардировать город, но на такое дело даже этот каналья не пошел. Добродетельные католики, восторгающиеся развалинами древнего Рима и пышными дворцами Рима папского, пусть помнят эту просьбу кардинальской коллегии сравнять все это с лицом земли во славу божию.

Зато Удино стал беспощадно бомбардировать Затибрье. Бедняки переносили бомбардировку стойко. Характерно, что церкви, бывшие до сих пор полными в Риме, стояли теперь совершенно пустыми.

Уго Басси, монах, постепенно ставший страстным поклонником Мадзини, в одной проповеди заявил: „Воистину говорю вам, когда папа жил в Риме, Рим был Вавилоном, ныне же это град божий“.

Мадзини проявлял нечеловеческую энергию. Некоторые представители высокой аристократии, в том числе один из последних отпрысков дома Медичи, проливали кровь вместе с республиканцами в качестве преданных офицеров. Юный герой Манара защищал виллу Спада против вдесятеро сильнейшего неприятеля и совершил подвиг вроде знаменитого Леонида Фермопильского: он сам и все его сподвижники пали, прежде чем вилла Спада была взята. Наконец, 1-го июля сам Гарибальди заявил, что держаться больше нельзя.

Кинг говорит, будто французские солдаты, вошедшие в Рим, шли опустив глаза и краснея от стыда. Клерикальная тирания вернулась в город. Мадзини не скрылся никуда. Он бесстрашно ходил по улицам, пока не был схвачен. Гарибальди собрал 3000 храбрейших и отступил от Рима, куда глаза глядят. Французы и австрийцы пресле-

довали его, крестьяне нападали на него. Все же он донес до республики Сан-Марино, где его отряд разоружился.

С двумя стами вернейших сам Гарибальди двинулся дальше. С ним шел бывший монах Басси и старый вождь римской черни Чичероваккио. Им удалось сесть на баркас, плывший в Венецию, но они наткнулись на австрийский корабль. Некоторые были взяты в плен, другие вплавь достигли берега. В лесу около Команио Гарибальди оказался один с женой, заболевшей от переутомления горячкой. Красавица Анита умерла на руках мужа вдали от всякого жилья. Гарибальди все же удалось бежать, хотя голова его была высоко оценена. Басси был взят и Горзовский, австрийский генерал, приговорил его к смертной казни. Австрийские солдаты содрали кожу с его рук и головы, так как этих мест коснулось священное масло при его посвящении, а затем расстреляли его.

Агонизировала и Венеция. Всеми силами венецианцев командовал неаполитанский генерал Пэпэ. В войсках был хороший дух. Поражение при Новаре вызвало только резолюцию защищаться до последней капли крови. 13-го июня началась бомбардировка Венеции. Хотя еще в мае жителей стал косить тиф, а потом холера, но даже и под бомбами веселая Венеция не прекращала празднеств и ядра иногда пробивали крыши театров во время спектаклей.

Осада Венеции стоила австрийцам 8000 солдат. Капитуляция была почетная, и последним словом Манина в Венеции были: „Иностранцы считают нас легкомысленными. Мое честолюбие заключается в том, чтобы никто больше не смел сказать этого о венецианцах“. Манин отправился в изгнание. Жил в различных странах Европы, почти нищим, но до конца своих дней остался верен своему делу и своими сочинениями создал себе репутацию крупного мыслителя и писателя.

ЛИТЕРАТУРА

Из популярных и небольших книжек можно указать только одну:

Ю. Стеклов. Французская революция 1848 года. Заканчивается печатанием новое издание.

Классическими работами до сих пор остаются следующие:

К. Маркс. Борьба классов во Франции 1848—1850 г. Новое издание изд-ва „Красная Новь".

К. Маркс. Восемнадцатое Брюмера Луи-Бонапарта.

Ф. Энгельс. Революция и контр-революция в Германии. Изд. „Красная Новь".

К. Маркс. Перед судом присяжных в Кельне. Изд. „Красная Новь".

К. Маркс. Разоблачения о Кельнском процессе коммунистов. Все эти основные работы Маркса и Энгельса, относящиеся к революции 1848 года, вошли в III т. „Собрания сочинений" Маркса и Энгельса. М. 1921.

Из больших работ о революциях 1848 года можно отметить следующие (из них Ренар, Эритье и Кинг очень и очень далеки от марксизма,—первый типичнейший реформист, а третий английский либерал).

Ж. Ренар. Республика 1848 года. Петербург 1907.

Л. Эритье. История Французской революции 1848 года и второй республики. Петербург 1907.

В. Блос. Германская революция 1848—1849 г. П. 1922 (в прежних изданиях книги назывались: „Очерки по Истории Германии в XIX веке. Т. I. Составили В. Базаров и И. Степанов. Петербург 1905 и 1906).

М. Бах. Австрия в первую половину XIX в. Петербург 1906 (выпущенная под таким названием по цензурным соображениям, книга заканчивается теперь повторным изданием под правильным названием: Австрийская революция 1848 г.).

Б. Кинг. История объединения Италии. Ч. 1. П. 1906.

